КЛАССИКА В ШКОЛЕ

В. Гюго



Козетта

Козетта
Виктор Гюго

Аннотация
Виктор Гюго. Козетта
Книга первая. Ватерлоо
Глава 1. Что можно встретить по дороге из Нивеля
Глава 2. Гугомон
Глава 3. 18 июня 1815 года
Глава 4. А
Глава 5. Quid obscurum сражений
Глава 6. Четыре часа пополудни
Глава 7. Наполеон в духе
Глава 8. Император задает вопрос проводнику Лакосту
Глава 9. Неожиданность
Глава 10. Плато Мон-Сен-Жан
Глава 11. Дурной проводник у Наполеона, хороший у Бюлова
Глава 12. Гвардия
Глава 13. Катастрофа
Глава 14. Последнее каре
Глава 15. Камброн
Глава 16. Quot libras in duce?

Глава 17. Следует ли считать Ватерлоо событием положительным?
Глава 18. Восстановление священного права
Глава 19. Поле битвы ночью
Книга вторая. Корабль «Орион»
Глава 1. Номер 24601 становится номером 9430
Глава 2,. В которой прочтут двустишие, сочиненное, быть может, дьяволом
Глава 3,. Из которой видно, что надо предварительно поработать над звеном цепи, чтобы разбить его одним ударом молотка
Книга третья. Исполнение обещания, данного умершей
Глава 1. Вопрос о водоснабжении в Монфермейле
Глава 2. Два законченных портрета
Глава 3. Людям вино, а лошадям вода
Глава 4. На сцене появляется кукла
Глава 5. Малютка одна
Глава 6,. которая, быть может, доказывает сообразительность Башки
Глава 7. Козетта в темноте бок о бок с незнакомцем
Глава 8. Как неприятно впустить в дом бедняка, который может оказаться богачом
Глава 9. Тенардье за делом

Глава 10. Кто ищет лучшего, может найти худшее
Глава 11. Номер 9430 появляется снова, и Козетта выигрывает его в лотерею
Книга четвертая. Лачуга Горбо
Глава 1. Хозяин Горбо
Глава 2. Гнездо совы и славки
Глава 3. Слившись, два несчастья дают счастье
Глава 4. Наблюдения главной жилицы
Глава 5. Пятифранковая монета, падая на пол, издает звон
Книга пятая. Ночная охота с немой сворой
Глава 1. Стратегические ходы
Глава 2. К счастью, по Аустерлицкому мосту проезжают повозки
Глава 3. Смотри план Парижа 1727 года
Глава 4. В поисках спасения
Глава 5. Что было бы немыслимо при газовом освещении
Глава 6. Начало загадки
Глава 7. Продолжение загадки
Глава 8. Загадка усложняется
Глава 9. Человек с бубенчиком
Глава 10,. в которой рассказано, как Жавер сделал ложную стойку
Книга шестая. Малый Пикпюс

Глава 1. Улица Пикпюс, номер 62
Глава 2. Устав Мартина Верга
Глава 3. Строгости
Глава 4. Веселье
Глава 5. Развлечения
Глава 6. Малый монастырь
Глава 7. Несколько силуэтов среди мрака
Глава 8. Post corda lapides
Глава 9. Сто лет под апостольником
Глава 10. Происхождение «Неустанного поклонения»
Глава 11. Конец Малого Пикпюса
Книга седьмая. В скобках
Глава 1. Монастырь как отвлеченное понятие
Глава 2. Монастырь как исторический факт
Глава 3. При каких условиях можно уважать прошлое
Глава 4. Монастырь с точки зрения принципов
Глава 5. Молитва
Глава 6. Неоспоримая благодать молитвы
Глава 7. Порицать следует с осторожностью
Глава 8. Вера, закон
Книга восьмая. Кладбища берут то, что им дают
Глава 1,. где говорится о способе войти в монастырь
Глава 2. Фошлеван в затруднительном поло-

жении
Глава 3. Мать Непорочность
Глава 4,. в которой может показаться, что Жан Вальжан читал Остена Кастильхо
Глава 5. Быть пьяницей еще не значит быть бессмертным
Глава 6. Меж четырех досок
Глава 7,. из которой читатель уяснит, как возникла поговорка: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь»
Глава 8. Удачный допрос
Глава 9. Жизнь в заточении

Аннотация

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которую собраны все произведения, изучаемые в начальной, средней и старшей школе. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.

«Козетта» – одна из частей романа В. Гюго «Отверженные», который изучают в средней школе.



Виктор Гюго
Козетта

Книга первая
Ватерлоо

Глава 1
Что можно встретить по дороге из Нивеля

В прошлом (1861) году, солнечным майским утром прохожий, рассказывающий эту историю, прибыв из Нивеля, направлялся в Ла-Гюльп. Он шел по широкому, обсаженному деревьями шоссе, которое тянулось по цепи холмов, то поднимаясь, то опускаясь как бы огромными волнами. Он миновал Лилуа и Буа-Сеньер-Исаак. На западе уже виднелась шиферная колокольня Брен-л'Алле, похожая на перевернутую вазу. Он оставил позади себя раскинувшуюся на холме рощу и на повороте проселка, около какого-то подобия виселицы, источенной червями, с надписью: «Старая застава № 4», — кабачок, фасад которого украшала вывеска: «На вольном воздухе. Частная кофейная Эшабо».

Пройдя еще четверть лье, он спустился в небольшую долину, куда из-под мостовой арки в дорожной насыпи струился ручей. Группы не густых, но ярко-зеленых деревьев, оживлявших долину по одну сторону шоссе, разбегались с про-

тивоположной стороны по лугам и в изящном беспорядке тянулись к Брен-л'Алле.

Направо, на краю дороги, виднелся постоялый двор, четырехколесная тележка перед воротами, большая вязанка жердей для хмеля, плуг, куча хворосту возле живой изгороди, дымящаяся в квадратной яме известь, лестница, прислоненная к старому открытому сараю с соломенными перегородками внутри. Молодая девушка полола в поле, где трепалась по ветру огромная желтая афиша, возвещавшая, по всей вероятности, о ярмарочном представлении по случаю храмового праздника. За углом постоялого двора, около лужи, в которой плескалась стая уток, вела в кустарники скверно вымощенная дорожка. Туда и направился прохожий.

Пройдя около сотни шагов вдоль ограды пятнадцатого столетия, увенчанной острым щипцом из цветного кирпича, он очутился перед большими каменными сводчатыми воротами, с прямым поперечным брусом над створками в суровом стиле Людовика XIV и двумя плоскими медальонами по сторонам. Фасад здания, такого же строгого стиля, возвышался над воротами; стена, перпендикулярная фасаду, почти вплотную подходила к воротам, образуя прямой угол. Перед ними на по-

ляне валялись три бороны, сквозь зубья которых пробивались вперемежку всевозможные весенние цветы. Ворота были закрыты. Затворялись они двумя ветхими створками, на которых висел старый заржавленный молоток.

Ярко светило солнце; ветви деревьев тихо покачивались с тем нежным майским шелестом, который, кажется, исходит скорее от гнезд, нежели от листвы, колеблемой ветерком. Маленькая смелая пташка, видимо влюбленная, звонко заливалась меж ветвей раскидистого дерева.

Прохожий нагнулся и внизу, с левой стороны правого упорного камня ворот, разглядел довольно широкую круглую впадину, похожую на внутренность шара. В эту минуту ворота распахнулись, и появилась крестьянка.

Она увидела прохожего и догадалась, на что он смотрит.

— Сюда попало французское ядро, — сказала она. Потом добавила: — А вот здесь повыше на воротах, около гвоздя, — это след картечи, но она не пробила дерева насквозь.

— Как называется это место? — спросил прохожий.

— Гугомон, — ответила крестьянка.

Прохожий выпрямился, сделал несколько ша-

гов и заглянул за изгородь. На горизонте, сквозь деревья, он заметил пригорок, а на этом пригорке нечто, похожее издали на льва.

Он находился на поле битвы при Ватерлоо.

Глава 2
Гугомон

Гугомон — вот то зловещее место, начало противодействия, первое сопротивление, встреченное при Ватерлоо великим лесорубом Европы, имя которого Наполеон; первый неподатливый сук под ударом его топора.

Некогда это был замок, ныне — всего только ферма. Гугомон для знатока старины — «Гюгомон». Этот замок был воздвигнут Гюго, сиром де Сомерель, тем самым, который сделал богатый дар шестому капелланству аббатства Вилье.

Прохожий толкнул ворота и, задев локтем стоявшую под их сводом старую коляску, вошел во двор.

Первое, что поразило его на этом внутреннем дворе, были ворота в стиле шестнадцатого века, похожие на арку, ибо все вокруг них обрушилось. Развалины часто производят впечатление величия. Близ арки в стене находились другие сводчатые ворота, времен Генриха IV, сквозь которые видны были деревья фруктового сада. Около этих ворот — навозная яма, мотыги и лопа-

ты, несколько тачек, старый колодец с каменной плитой на передней его стенке и железной вертушкой на вороте, резвящийся жеребенок, индюк, распускающий веером хвост, часовня с маленькой звонницей, шпалерное грушевое дерево в цвету, осеняющее ветвями стену этой часовни, — таков этот двор, завоевать который было мечтой Наполеона. Если бы он сумел овладеть им, то, быть может, этот уголок земли сделал бы его владыкой мира. Тут куры ворошат клювами пыль. Слышится рычание большой собаки, она щерит клыки и заменяет теперь англичан.

Англичане здесь достойны были изумления. Четыре гвардейские роты Кука в течение семи часов выдерживали ожесточенный натиск целой армии.

Гугомон, изображенный на карте в горизонтальном плане, включая все строения и огороженные участки, представляет собой неправильный прямоугольник со срезанным углом. В этом углу, под защитой стены, с которой можно было обстреливать в упор атакующих, и находятся южные ворота. В Гугомоне двое ворот: южные — ворота замка, и северные — ворота фермы. Наполеон направил против Гугомона своего брата Жерома; здесь столкнулись дивизии Гильемино,

Фуа и Башлю; почти весь корпус Рейля тут был введен в бой и погиб, Келлерман потратил весь свой запас ядер на эту героическую стену. Отряд Бодюэна лишь с трудом проник в Гугомон с севера, а бригада Суа хоть и ворвалась туда с юга, но овладеть им не могла.

Строения фермы окружают двор с юга. Часть северных ворот, разбитых французами, висит, зацепившись за стену. Это четыре доски, приколоченные к двум перекладинам, и на них отчетливо видны шрамы, полученные во время атаки.

В глубине двора видны полуоткрытые северные ворота с заплатой из досок на месте вышибленной французами и висящей теперь на стене створки. Они проделаны в кирпичной с каменным основанием стене, замыкающей двор с севера. Это обыкновенные четырехугольные проходные ворота, какие можно видеть на всех фермах: две широкие створки, сколоченные из необтесанных досок. За ними расстилаются луга. Яростен был бой за этот вход. На косяках ворот долго оставались следы окровавленных рук. Именно здесь был убит Бодюэн.

Еще до сей поры ураган боя ощущается на этом дворе; здесь запечатлен его ужас; неистовство

рукопашной схватки словно застыло в самом ее разгаре; это живет, а то умирает; кажется, все это было вчера. Рушатся стены, падают камни, стонут бреши; проломы похожи на раны; склонившиеся и дрожащие деревья будто силятся бежать отсюда.

Этот двор в 1815 году был застроен теснее, чем ныне. Постройки, которые позже были разрушены, образовали в нем выступы, углы, резкие повороты.

Англичане укрепились там; французы ворвались туда, но не смогли удержаться. Рядом с часовней сохранилось обрушившееся, вернее, развороченное, крыло здания — все, что осталось от Гугомонского замка. Замок послужил крепостью, часовня — блокгаузом. Здесь происходило взаимное истребление. Французы, обстреливаемые со всех сторон — из-за стен, с чердачных вышек, из глубины погребов, изо всех окон, изо всех отдушин, изо всех щелей в стенах, — притащили фашины и подожгли стены и людей. Пожар был ответом на картечь.

В разрушенном крыле замка сквозь забранные железными решетками окна видны остатки разоренных покоев главного кирпичного здания; в этих покоях засела английская гвардия. Винто-

вая лестница, вся рассевшаяся от нижнего этажа до самой крыши, кажется внутренностью разбитой раковины. Эта лестница проходила сквозь два этажа; осажденные на ней и загнанные наверх англичане разрушили нижние ступени. И теперь эти широкие плиты голубоватого камня лежат грудой среди разросшейся крапивы. Десяток ступеней еще держится в стене, на первой из них высечено изображение трезубца. Эти недосягаемые ступени крепко сидят в своих гнездах. Вся остальная часть лестницы похожа на челюсть, лишенную зубов. Тут же высятся два дерева. Одно засохло, другое повреждено у корня, но каждую весну зеленеет вновь. Оно начало прорастать сквозь лестницу с 1815 года.

Резня происходила в часовне. Теперь там снова тихо, но у нее странный вид. Со времени этой бойни богослужений в ней не совершали. Однако аналой там уцелел — грубый деревянный аналой, прислоненный к необтесанной каменной глыбе. Четыре стены, выбеленные известкой, против престола дверь, два маленьких полукруглых окна, на двери большое деревянное распятие, над распятием четырехугольная отдушина, заткнутая охапкой сена, в углу, на земле, старая разбитая оконная рама — такова эта часовня. Около аналоя

прибита деревянная, пятнадцатого века, статуя святой Анны; голова младенца Иисуса оторвана картечью. Французы, на некоторое время овладевшие часовней и затем вытесненные из нее, подожгли ее. Пламя охватило это ветхое строение. Оно превратилось в раскаленную печь. Сгорела дверь, сгорел пол, не сгорело лишь деревянное распятие. Пламя обуглило ноги Христа, превратив их в почерневшие обрубки, но дальше не пошло. По словам местных жителей, это было чудо. Младенцу Иисусу, которого обезглавили, посчастливилось меньше, чем распятию.

Стены все испещрены надписями. У ног Христовых можно прочесть: «Henquines»[1]. А дальше: «Conde de Rio Ma or[2]. Marques y Marquesa de Almagro (Habana)»[3]. Встречаются и французские имена с восклицательными знаками, говорящими о гневе. В 1849 году стены выбелили: здесь нации поносили друг друга.

Именно возле двери этой часовни подобрали труп, державший в руке топор. Это был труп под-

---

[1] Примечания: 1
Энкинес *(исп.).*

[2] Примечания: 2
Граф де Рио Майор *(исп.).*

[3] Примечания: 3
Маркиз и маркиза де Альмагро (Гаванна) *(исп.).*

поручика Легро.

Выходишь из часовни и направо замечаешь колодец. На этом дворе их два. Спрашиваешь: почему у этого колодца нет ведра и блока? А потому, что из него не черпают более воды. Почему же из него не черпают более воды? Потому что он набит скелетами.

Последний, кто брал воду из этого колодца, был Гильом ван Кильсом. Этот крестьянин проживал в Гугомоне и работал в замке садовником. 18 июня 1815 года его семья бежала и укрылась в лесу.

Лес, окружавший аббатство Вилье, давал в продолжение многих дней и ночей приют всему несчастному разбежавшемуся населению. Еще доныне сохранились ясные следы в виде старых обгоревших пней, отмечающих места этих жалких становищ, скрывавшихся в зарослях кустарника.

Гильом ван Кильсом, оставшийся в Гугомоне, чтобы «стеречь замок», забился в погреб. Англичане обнаружили его, вытащили из убежища и, избивая ножнами сабель, заставили этого запуганного насмерть человека служить себе. Их мучила жажда, и Гильом должен был приносить им пить, черпая воду из этого колодца. Для многих то был последний глоток в жизни. Колодец,

из которого пило столько обреченных на гибель, должен был и сам погибнуть.

После сражения очень торопились предать трупы земле. Смерть обладает повадкой, присущей ей одной, — дразнить победу, вслед за славой насылая болезни. Тиф — непременное дополнение к триумфу. Колодец был глубок, и его превратили в могилу. В него сбросили триста трупов. Быть может, это сделали слишком поспешно. Все ли были мертвы? Предание гласит, что не все. Говорят, что в ночь после погребенья из колодца слышались слабые голоса, взывавшие о помощи.

Этот колодец расположен особняком посредине двора. Три стены, наполовину из камня, наполовину из кирпича, поставленные наподобие ширм и напоминающие четырехугольную башенку, окружают его с трех сторон. Четвертая сторона свободна, и отсюда черпали воду. В задней стене имеется что-то вроде неправильного круглого оконца — вероятно, пробоина от разрывного снаряда. У башенки была когда-то крыша, от которой сохранились лишь балки. Железные подпорки правой стены образуют крест. Наклонишься, и взгляд тонет в глубине кирпичного цилиндра, наполненного мраком. Подножия стен вокруг колодца заросли крапивой.

Широкая голубая каменная плита, которая в Бельгии служит передней стенкой колодцев, заменена скрепленными перекладиной пятью или шестью бесформенными обрубками дерева, узловатыми и кривыми, похожими на огромные кости скелета. Нет больше ни ведра, ни цепи, ни блока, но сохранился еще каменный желоб, служивший стоком. В нем скапливается дождевая вода, и от времени до времени из соседних рощ залетает сюда какая-нибудь пичужка, чтобы попить из него и тут же улететь.

Единственный жилой дом среди этих развалин — ферма. Дверь дома выходит во двор. Рядом с красивой, в готическом стиле, пластинкой дверного замка прибита наискось железная ручка в виде трилистника. В то мгновение, когда ганноверский лейтенант Вильда взялся за нее, чтобы укрыться на ферме, французский сапер отсек ему руку топором.

Семья, ныне живущая в этом доме, является потомством давно умершего садовника ван Кильсома. Седая женщина рассказывала мне: «Я была свидетельницей происходившего. Мне исполнилось в ту пору три года. Моя старшая сестра боялась и плакала. Нас отнесли в лес. Я сидела на руках у матери. Чтобы лучше расслышать,

все припадали к земле ухом. А я повторяла за пушкой: «Бум, бум».

Ворота во дворе, те, что налево, как мы уже говорили, выходят в фруктовый сад.

Вид фруктового сада ужасен.

Он состоит из трех частей, вернее сказать — из трех актов драмы. Первая часть — цветник, вторая — фруктовый сад, третья — роща. Все они обнесены общей оградой: со стороны входа — строения замка и ферма, налево — плетень, направо — стена, в глубине — стена. Правая стена кирпичная, стена в глубине — каменная. Прежде всего входишь в цветник. Он расположен в самом низу, засажен кустами смородины, зарос сорными травами и заканчивается огромной, облицованной тесаным камнем террасой с круглыми балясинами. Это был господский сад в том раннем французском стиле, который предшествовал Ленотру; ныне же это руины и терновник. Пилястры увенчаны шарами, похожими на каменные ядра. Еще теперь насчитывают сорок три уцелевшие балясины на подставках, остальные валяются в траве. Почти на всех видны следы картечи. А одна, поврежденная, держится на перебитом своем конце, точно сломанная нога.

Вот в этот-то цветник, находящийся ниже

фруктового сада, проникли шесть солдат первого пехотного полка и, не имея возможности выйти оттуда, настигнутые и затравленные, словно медведи в берлоге, приняли бой с двумя ганноверскими ротами, из которых одна была вооружена карабинами. Ганноверцы расположились за этой балюстрадой и стреляли сверху. Неустрашимые пехотинцы, стреляя снизу, шесть против сотни, и не имея иного прикрытия, кроме кустов смородины, продержались четверть часа.

Поднимаешься на несколько ступеней и выходишь из цветника в фруктовый сад. Здесь, на пространстве в несколько квадратных саженей, в течение какого-нибудь часа пали тысяча пятьсот человек. Кажется, что стены тут и сейчас готовы ринуться в бой. Тридцать восемь бойниц, пробитых в них англичанами на различной высоте, еще уцелели. Против шестнадцатой бойницы находятся две могилы англичан с надгробными гранитными плитами. Бойницы есть лишь на южной стене, со стороны которой велось главное наступление. Снаружи эта стена скрыта высокой живой изгородью. Французы, наступая, предполагали, что им придется брать приступом лишь эту изгородь, а наткнулись на стену, на препятствие и на засаду — на английскую гвардию, на

тридцать восемь орудий, паливших одновременно, на ураган ядер и пуль; и бригада Суа была разгромлена. Так началась битва при Ватерлоо.

Однако фруктовый сад был взят. Лестниц не было, французы карабкались на стены, цепляясь ногтями. Под деревьями завязался рукопашный бой. Вся трава кругом обагрилась кровью. Батальон Нассау в семьсот человек был весь уничтожен. Наружная сторона стены, против которой стояли две батарея Келлермана, вся источена картечью.

Но и этот фруктовый сад, как всякий иной сад, не остается безучастным к приходу весны. И в нем распускаются лютики и маргаритки, растет высокая трава, пасутся рабочие лошади; протянутые между деревьями веревки с сохнущим на них бельем заставляют прохожих пригибаться; ступаешь по этой целине, и нога то и дело попадает в кротовые норы. В густой траве можно разглядеть сваленный, с вывороченными корнями, зеленеющий ствол дерева. К нему прислонился, умирая, майор Блакман. Под высоким соседним деревом пал немецкий генерал Дюпла, француз по происхождению, эмигрировавший с семьей из Франции после отмены Нантского эдикта. Совсем рядом склонилась старая, больная яблоня

с повязкой из соломы и глины. Почти все яблони пригнулись к земле от старости. Нет ни одной, в которой не засела бы ружейная или картечная пуля. Этот сад полон сухостоя. Среди ветвей летают вороны; вдали виднеется роща, где цветет множество фиалок.

Здесь убит Бодюэн, ранен Фуа, здесь были пожар, резня, бойня, здесь яростно бурлил смешанный поток английской, немецкой и французской крови; здесь колодец, битком набитый трупами; здесь уничтожены полк Нассау и полк Брауншвейгский, убит Дюпла, убит Блакман, искалечена английская гвардия, погублены двадцать французских батальонов из сорока, составлявших корпус Рейля, в одних только развалинах замка Гугомон изрублены саблями, искрошены, задушены, расстреляны, сожжены три тысячи человек, — и все это лишь для того, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог сказать путешественнику: «Сударь, дайте мне три франка, и, если хотите, я расскажу вам, как было дело при Ватерлоо!»

Глава 3
18 июня 1815 года

Возвратимся назад — это право каждого повествователя — и перенесемся в 1815 год и даже несколько ранее того времени, с которого начинаются события, рассказанные в первой части этой книги.

Если бы в ночь с 17 на 18 июня 1815 года не шел дождь, то будущее Европы было бы иным. Несколько лишних капель воды сломили Наполеона. Чтобы Ватерлоо послужило концом Аустерлица, провидению оказался нужным лишь легкий дождь; достаточно было тучи, пронесшейся по небу вопреки этому времени года, чтобы вызвать крушение целого мира.

Битва при Ватерлоо могла начаться лишь в половине двенадцатого, и это дало возможность Блюхеру прибыть вовремя. Почему? Потому что почва размокла и необходимо было переждать, пока дороги обсохнут, чтобы подвезти артиллерию.

Наполеон был артиллерийским офицером, он и сам это чувствовал. Вся сущность этого изуми-

тельного полководца сказалась в одной фразе его доклада Директории по поводу Абукира: «Такое-то из наших ядер убило шесть человек». Все его военные планы были рассчитаны на артиллерию. Стянуть в назначенное место всю артиллерию — вот что было для него ключом победы. Стратегию вражеского генерала он рассматривал как крепость и пробивал в ней брешь. Слабые места подавлял картечью, завязывал сражения и разрешал исход их пушкой. Его гений — гений точного прицела. Рассекать каре, распылять полки, разрывать строй, уничтожать и рассеивать плотные колонны войск — вот его цель; разить, разить, разить непрестанно — и это дело он доверил ядру. Устрашающая система, которая в союзе с гениальностью за пятнадцать лет сделала непобедимым этого мрачного мастера ратного дела.

18 июня 1815 года он тем более рассчитывал на артиллерию, что численное ее превосходство было на его стороне. В распоряжении Веллингтона было всего лишь сто пятьдесят девять орудий, у Наполеона — двести сорок.

Представьте себе, что земля была бы суха, артиллерия подошла бы вовремя и битва могла бы начаться в шесть утра. Она была бы закончена к

двум часам дня, то есть за три часа до прибытия пруссаков.

Велика ли доля вины Наполеона в том, что битва была проиграна? Можно ли обвинять в кораблекрушении кормчего?

Не осложнился ли явный упадок физических сил Наполеона в этот период упадком и его душевных сил? Не износились ли за двадцать лет войны клинок и ножны, не утомились ли его дух и тело? Не стал ли в полководце, как это ни прискорбно, брать верх уже отслуживший воин? Одним словом, не угасал ли уже тогда этот гений, как полагали многие видные историки? Не впадал ли он в неистовство лишь для того, чтобы скрыть от самого себя свое бессилие? Не начинал ли колебаться в предчувствии неверного будущего, дуновение которого ощущал? Перестал ли — что так важно для главнокомандующего — сознавать опасность? Не существует ли и для этих великих людей реальности, для этих гигантов действия возраст, когда их гений становится близоруким? Над совершенными гениями старость не имеет власти; для Данте, для Микеланджело стареть — значило расти; неужели же для Аннибала и Наполеона это означало увядать? Не утратил ли Наполеон верного чутья победы?

Не дошел ли он уже до того, что не распознавал подводных скал, не угадывал западни, не видел осыпающихся краев бездны? Не лишился ли он дара предвидения катастрофы? Неужели он, кому когда-то были ведомы все пути к славе и кто с высоты своей сверкающей колесницы перстом владыки указывал на них, теперь, в гибельном ослеплении, увлекал свои шумные, послушные легионы в бездну? Не овладело ли им в сорок шесть лет полное безумие? Не превратился ли этот подобный титану возничий судьбы просто в беспримерного сорвиголову?

Мы этого отнюдь не думаем.

Намеченный им план битвы был, по общему мнению, образцовым. Ударить в лоб союзным войскам, пробить брешь в рядах противника, разрезать неприятельское войско надвое, англичан оттеснить к Галю, пруссаков к Тонгру, разъединить Веллингтона с Блюхером, овладеть плато Мон-Сен-Жан, захватить Брюссель, сбросить немцев в Рейн, а англичан в море — вот что для Наполеона представляла собой эта битва. Дальнейший образ действий подсказало бы будущее.

Мы, конечно, не собираемся излагать здесь историю Ватерлоо; одно из основных действий рассказываемой нами драмы связано с этой

битвой, но история самой битвы не является предметом нашего повествования; к тому же она описана, и мастерски описана, Наполеоном — с одной точки зрения, и целой плеядой историков[4] — с другой. Что же касается нас, то мы, предоставляя историкам спорить между собою, сами останемся лишь отдаленным зрителем, идущим по долине любознательным прохожим, который наклоняется над этой землей, удобренной трупами, и принимает, быть может, видимость за реальность. Мы не вправе пренебречь во имя науки совокупностью фактов, в которых, несомненно, есть нечто иллюзорное; мы не обладаем ни военным опытом, ни знанием стратегии, которые могли бы оправдать ту или иную систему воззрений. Мы полагаем лишь, что действия обоих полководцев в битве при Ватерлоо были подчинены сцеплению случайностей. И если дело идет о роке — этом загадочном обвиняемом, — то мы судим его, как судит народ — этот простодушный судия.

---

[4] Примечания: 4

Вальтер Скотт, Ламартин, Волабель, Шарас, Кине, Тьер. *(Прим, автора)*

Глава 4
А

Тем, кто желает ясно представить себе сражение при Ватерлоо, надо лишь вообразить лежащую на земле громадную букву А. Левая палочка этой буквы — дорога на Нивель, правая — дорога на Женап, поперечная черточка буквы А — проложенная в ложбине дорога из Оэна в Брен-л'Алле. Верхняя точка буквы А — Мон-Сен-Жан, там находился Веллингтон; левая нижняя точка — Гугомон, там стояли Рейль и Жером Бонапарт; правая нижняя точка — Бель-Альянс, там находился Наполеон. Немного ниже, где поперечная черта пересекает правую палочку буквы А, расположен Ге-Сент. В центре поперечной черты находился пункт, где был решен исход сражения. Именно там позднее и водрузили льва — символ высокого героизма императорской гвардии.

Треугольник, заключенный в верхушке А, между двумя палочками и поперечной чертой, — это плато Мон-Сен-Жан. В борьбе за это плато и заключалось все сражение.

Фланги обеих армий тянулись вправо и влево

от дорог на Женап и Нивель. Д'Эрлон стоял против Пиктона, а Рейль — против Гиля.

За вершиной буквы А, позади плато Мон-Сен-Жан, находится Суаньский лес.

Что же касается самой равнины, то вообразите себе обширное волнообразное пространство, где каждый последующий вал встает над предыдущим, а все вместе поднимаются к Мон-Сен-Жан, доходя до самого леса.

Два неприятельских войска на поле битвы — это два борца. Это схватка врукопашную. Один старается повалить другого. Цепляются за все: любой куст — опора, угол стены — защита; отсутствие самого жалкого домишки для прикрытия тыла заставляет иногда отступать целый полк. Впадина в долине, неровность почвы, вовремя пробежавшая наперерез тропинка, лесок, овраг — все может задержать шаг исполина, именуемого армией, и помешать его отступлению. Покинувший поле битвы — побежден. Вот откуда вытекает обязанность командующего тщательно всматриваться во всякую группу деревьев, проверять малейший холмик.

Оба полководца внимательно изучили равнину Мон-Сен-Жан, ныне именуемую равниной Ватерлоо. Еще за год до того Веллингтон ее ис-

следовал с мудрой предусмотрительностью, на случай большого сражения. В этой местности и в этом бою лучшие условия оказались на стороне Веллингтона, худшие — на стороне Наполеона. Английская армия находилась наверху, а французская внизу.

Почти излишне изображать здесь Наполеона в утро 18 июня 1815 года, на коне, с подзорной трубой в руках, на возвышенности Россом. Его облик и так всем давно известен. Этот спокойный профиль под маленькой форменной шапочкой Бриеннской школы, этот зеленый мундир, белые отвороты, скрывающие орденскую звезду, редингот, скрывающий эполеты, кончик красной орденской ленты в вырезе жилета, лосины, белый конь под алым бархатным чепраком, по углам которого вышиты буквы N с короной и орлы, на шелковых чулках ботфорты для верховой езды, серебряные шпоры, шпага Маренго, — весь образ этого последнего Цезаря, превозносимого одними и осуждаемого другими, еще стоит у всех перед глазами.

Долгое время образ этот был окружен ореолом, что являлось следствием легендарного помрачения умов, вызываемого блеском славы многих героев и затмевающего на тот или иной срок

истину; но в настоящее время вместе с историей наступает и прояснение.

Ясность истории неумолима. История таит в себе то странное и божественное свойство, что, будучи сама светом, и именно в силу того, что она свет, она бросает тень туда, где до этого видели сияние. Одного человека она превращает в два различных призрака, один нападает на другого, вершит над ним правосудие, и мрачные черты деспота сталкиваются с обаянием полководца. Это дает народам более правильное мерило при решающей оценке. Опозоренный Вавилон умаляет славу Александра, порабощенный Рим умаляет славу Цезаря, разрушенный Иерусалим умаляет славу Тита. Тирания переживает тирана. Горе тому, кто позади себя оставил мрак, воплощенный в своем образе.

Глава 5
Quid obscurum[5] сражений

Всем хорошо известен первый этап этого сражения. Начало неустойчивое, неясное, нерешительное, угрожающее для обеих армий, но для англичан — в большей степени, чем для французов.

Всю ночь шел дождь. Земля была размыта ливнем. Там и сям в углублениях долины скопилась вода, словно в бассейнах; в некоторых местах вода заливала оси обозных повозок; с подпруг лошадей капала жидкая грязь. Если бы колосья пшеницы и ржи, примятые беспорядочным потоком этих двигающихся повозок, не заполнили выбоин и не образовали бы своего рода настил под колесами, то всякое движение, особенно в небольших долинах со стороны Папелота, оказалось бы невозможным.

Сражение началось поздно. Наполеон, как мы уже говорили, имел обыкновение сосредоточивать в своих руках всю артиллерию, целясь, словно из пистолета, то в одно, то в другое ме-

---

[5] Примечания: 5
Нечто темное, неизвестное *(лат.)*.

сто поля битвы; и теперь он поджидал, когда батареи, поставленные на колеса, смогут быстро и свободно передвигаться; для этого необходимо было выглянуть солнцу и обсушить землю. Но солнце не выглянуло. Под Аустерлицем оно встретило его по-другому! Когда раздался первый пушечный залп, английский генерал Кольвиль, взглянув на часы, отметил, что было тридцать пять минут двенадцатого.

Нападение левого французского фланга на Гугомон, более ожесточенное, быть может, чем того желал сам император, открыло сражение. Одновременно Наполеон атаковал центр, бросив бригаду Кио на Ге-Сент, а Ней двинул правый французский фланг против левого английского, имевшего в своем тылу Папелот.

Атака на Гугомон была до некоторой степени ложной. Заманить туда Веллингтона и заставить его отклониться влево — таков был план Наполеона. План этот удался бы, если бы четыре роты английских гвардейцев и мужественные бельгийцы дивизии Перпонше не стояли так твердо на своих позициях, благодаря чему Веллингтон, вместо того чтобы стянуть туда основные силы своих войск, послал им для подкрепления всего лишь еще четыре роты английских гвардейцев и

один брауншвейгский батальон.

Атака правого французского крыла на Папелот имела целью опрокинуть левое английское крыло, отрезать путь на Брюссель, загородить дорогу на случай появления пруссаков, захватить Мон-Сен-Жан, оттеснить Веллингтона к Гугомону, оттуда к Брен-л'Алле, оттуда к Галю, — ничего не могло быть яснее этого плана. За исключением некоторых несчастных случайностей, атака удалась. Папелот был отбит, Ге-Сент взят приступом.

Отметим следующую подробность. В английской пехоте, в частности в бригаде Кемпта, было много новобранцев. Эти молодые солдаты отважно сопротивлялись нашим грозным пехотинцам; отсутствие опыта восполняла неустрашимость; особенно блестяще проявили они себя как стрелки; солдат-стрелок, предоставленный отчасти собственной инициативе, является, так сказать, сам себе генералом; новобранцы выказали здесь чисто французскую сообразительность и боевой пыл. Новички пехотинцы сражались с воодушевлением. Это не понравилось Веллингтону.

После взятия Ге-Сента исход битвы стал сомнительным.

В этом дне от двенадцати до четырех часов

есть темный промежуток; средина этой битвы почти неуловима и напоминает мрачный хаос рукопашной схватки. Вдруг наступают сумерки. В тумане виднеется какая-то зыбь, какое-то причудливое марево: части военного снаряжения того времени, ныне почти уже не встречающиеся, высокие меховые шапки, ташки кавалеристов, перекрещенные на груди ремни, сумки для гранат, доломаны гусар, красные сапоги с набором, тяжелые кивера, украшенные витым шнуром, почти черная пехота Брауншвейга, смешавшаяся с ярко-красной английской, у солдат которой вместо эполет были толстые белые валики вокруг проймы рукавов, легкая ганноверская кавалерия в удлиненных кожаных касках с медными полосками и султанами из рыжего конского волоса, шотландцы с голыми коленками и в клетчатых пледах, высокие белые гетры наших гренадер, — все это представляется рядом картин, но не рядами войск, построенных по правилам стратегии, и интересно для Сальватора Розы, но не для Грибоваля.

Во всякой битве всегда есть что-то общее с бурей. Quid obscurum, quid divinum! Каждый историк изображает несколько поразивших его в этой схватке черт. Каким бы ни был расчет

полководцев, при столкновении вооруженных масс неизбежны бесчисленные отступления от первоначального замысла; приведенные в действие планы обоих полководцев вклиниваются один в другой и искажают друг друга. На поле боя вот это место пожирает большее количество сражающихся, чем вон то, как рыхлый грунт — здесь быстрее, а там медленнее — поглощает льющуюся на него воду. Это вынуждает бросать туда больше солдат, чем предполагалось. Вот издержки, которые нельзя предвидеть.

Линия расположения войск колышется и извивается, словно нить; бесцельно проливаются потоки крови; фронт армий колеблется; выбывающие или прибывающие полки образуют в нем заливы или мысы, людские рифы непрерывно перемещаются, одни впереди других; там, где только что была пехота, появляется артиллерия; туда, где находилась артиллерия, примчалась кавалерия. Батальоны словно дымки: только сейчас здесь было что-то, теперь ищите — его уж нет. Просветы в рядах передвигаются; черные валы налетают и откатываются назад. Какой-то могильный ветер гонит, отбрасывает, вздувает и рассеивает эти трагические скопища людей. Что такое рукопашная схватка? Колебание. Устойчи-

вость математического плана выражает лишь минуту, а не целый день. Чтобы изобразить битву, нужен один из тех могучих художников, кисти которых был бы послушен хаос. Рембрандт напишет ее лучше Вандермелена, ибо Вандермелен, точный в полдень, лжет в три часа пополудни. Геометрия обманывает, только ураган правдив. Это-то и дает право Фолару противоречить Полибию. Добавим, что всегда наступает минута, когда битва словно мельчает, переходя в стычку, она дробится и распыляется на множество мелких фактов, которые, по выражению самого Наполеона, «относятся скорее к биографии полков, чем к истории армий». В таком случае историк имеет неоспоримое право на краткое общее изложение. Он может схватить лишь основные контуры борьбы, и ни одному повествователю, каким бы добросовестным он ни был, не дано запечатлеть полностью облик той грозной тучи, имя которой — битва.

Замечание это, справедливое по отношению ко всем великим вооруженным столкновениям, особенно применимо к Ватерлоо.

Но все же после полудня, в известный момент, исход битвы начал определяться.

Глава 6
Четыре часа пополудни

К четырем часам положение английской армии стало серьезным. Принц Оранский командовал центром, Гиль — правым крылом, Пиктон — левым. Смелый принц Оранский, вне себя, кричал бельгийцам и голландцам: «Нассау! Брауншвейг! Не сметь отступать!» Уже слабевший Гиль стал под защиту Веллингтона, Пиктон был убит. В ту самую минуту, когда англичане захватили у французов знамя 105-го линейного полка, французы сразили пулей в голову навылет генерала Пиктона. У Веллингтона в этой битве были две точки опоры: Гугомон и Ге-Сент: Гугомон еще держался, но весь пылал; Ге-Сент был взят. От защищавшего его немецкого батальона осталось в живых только сорок два человека; все офицеры, за исключением пяти, были убиты или захвачены в плен. Три тысячи сражающихся перебили друг друга на этом молотильном току. Сержант английской гвардии, лучший боксер своей страны, слывший среди товарищей непобедимым, был убит маленьким французским барабанщиком.

Беринг был вынужден оставить свои позиции, Альтен зарублен. Множество знамен было потеряно, в том числе знамя дивизии Альтена и знамя Люнебургского батальона, которое нес принц из рода де Пон. Серых шотландцев не существовало более; могучие драгуны Понсонби были искрошены. Эту храбрую кавалерию смяли уланы Бро и кирасиры Траверса; от тысячи двухсот коней уцелело шестьсот; из трех полковников двое погибли. Гамильтон был ранен, Матер убит. Понсонби пал, пронзенный семью ударами копья. Гордон умер, Марх умер. Две дивизии — пятая и шестая — разгромлены.

Гугомон был обречен, Ге-Сент взят, оставался еще один оплот, центр. Он держался непоколебимо. Веллингтон усилил его. Он туда вызвал Гиля, находившегося в Мерб-Брене, он туда вызвал Шассе, находившегося в Брен-л'Алле.

Центр английской армии, слегка вогнутый, очень плотный и мощный, был расположен на сильно укрепленной позиции. Он занимал плато Мон-Сен-Жан, имея в тылу деревню, а впереди — откос, в ту пору довольно крутой. Он опирался на массивное каменное здание, которое в описываемую эпоху было государственным имуществом, принадлежавшим Нивелю, и отмечало

пересечение дорог. Вся эта постройка шестнадцатого века была такая крепкая, что пушечные ядра отскакивали, не пробивая ее. Вокруг всего плато там и сям англичане поставили изгороди, сделали амбразуры в боярышнике, установили пушку между ветвей, в кустах устроили бойницы. Их артиллерия была помещена в засаде, в густом кустарнике. Этот вероломный прием, безусловно допускаемый войной, разрешающей западню, был так искусно осуществлен, что Таксо, посланный в девять часов утра для разведки неприятельских батарей, ничего не заметил и, вернувшись, доложил Наполеону, что никаких препятствий нет, за исключением двух баррикад, преграждающих путь на Нивель и на Женап. В эту пору рожь уже начинала колоситься; на краю плато в высоких хлебах залег 95-й батальон бригады Кемпта, вооруженный карабинами.

Таким образом, центр англо-голландской армии, укрепленный и обеспеченный поддержкой, был в выгодном положении.

Уязвимое место этой позиции представлял Суаньский лес, смежный в то время с полем боя и перерезанный прудами Гренандаля и Буафора. Армия, отступая, должна была расколоться, полки — расстроиться, артиллерия — погибнуть в

болотах. По мнению многих специалистов, правда, оспариваемому, отступление здесь явилось бы беспорядочным бегством.

Веллингтон присоединил к своему центру бригаду Шассе, снятую с правого крыла, бригаду Уинки, снятую с левого крыла, и, сверх того, дивизию Клинтона. Своим англичанам, бригаде Митчела, полкам Галкета и гвардии Метленда, он дал как прикрытие и фланговое подкрепление брауншвейгскую пехоту, нассауские части, ганноверцев Кильмансегге и немцев Омптеды. Благодаря этому у него под рукой оказалось двадцать шесть батальонов. Правое крыло, как говорит Шарас, было отведено за центр. Мощную батарею замаскировали мешками с землей в том месте, где ныне помещается так называемый «Музей Ватерлоо». Кроме того, в резерве у Веллингтона оставались укрытые в лощине тысяча четыреста гвардейских драгун Сомерсета. Это была другая половина заслуженной прославленной английской кавалерии. Понсонби был уничтожен, зато оставался Сомерсет.

Батарея эта, которая представляла бы собой почти редут, будь она закончена, находилась за низкой садовой оградой, наскоро укрепленной мешками с песком и широким земляным

откосом. Но работа над этим укреплением не была завершена; не хватило времени обнести его палисадом.

Веллингтон, встревоженный, но внешне бесстрастный, верхом на коне, не трогаясь с места, весь день простоял чуть впереди существующей и доныне старой мельницы Мон-Сен-Жан, под вязом, который впоследствии какой-то англичанин, вандал-энтузиаст, купил за двести франков, спилил и увез. Веллингтон сохранял героическое спокойствие. Вокруг сыпались ядра. Рядом с ним был убит адъютант Гордон. Лорд Гиль, указывая на разорвавшуюся вблизи гранату, спросил: «Милорд, каковы же ваши инструкции и какие распоряжения вы нам даете, раз вы сами ищете смерти?» — «Поступать так, как я», — ответил Веллингтон. Клинтону он коротко приказал: «Держаться до последнего человека». Было очевидно, что день кончится неудачей. «Можно ли думать об отступлении, ребята? Вспомните о старой Англии!» — кричал Веллингтон своим старым боевым товарищам по Талавере, Виттории и Саламанке.

Около четырех часов английские войска дрогнули и отошли назад. На гребне плато остались только артиллерия и стрелки, все другое вдруг

исчезло; полки, преследуемые французскими гранатами и ядрами, отступили в глубину, туда, где и теперь еще пролегает тропинка для рабочих фермы Мон-Сен-Жан; произошло попятное движение, фронт английской армии скрылся, Веллингтон подался назад. «Начало отступления!» — воскликнул Наполеон.

Глава 7
Наполеон в духе

Император, хотя ему и нездоровилось и трудно было держаться в седле, никогда не был в таком великолепном расположении духа, как в этот день. С раннего утра он, обычно непроницаемый, улыбался. 18 июня 1815 года эта глубокая, скрытая под мраморной маской душа беспричинно сияла. Человек, который был мрачен под Аустерлицем, в день Ватерлоо был весел. Самые высокие избранники судьбы часто поступают противно здравому смыслу. Наши земные радости призрачны. Последняя, блаженная наша улыбка принадлежит Богу.

«Ridet Caesar, Pompeius flebit»[6], — говорили воины легиона Fulminatrix[7]. На этот раз Помпею не суждено было плакать, но достоверно, что Цезарь смеялся.

Накануне, в час ночи, под грозой и дождем, объезжая с Бертраном холмы, смежные с Россо-

---

[6] Примечания: 6
Смеется Цезарь, Помпей заплачет *(лат.),*

[7] Примечания: 7
Молниевержца *(лат.).*

мом, удовлетворенный видом длинной линии английских огней, озарявших весь горизонт от Фришмона до Брен-л' Алле, Наполеон не сомневался, что судьба его, которую в назначенный день он вызвал на поле сражения при Ватерлоо, прибудет в срок; он придержал коня и несколько минут стоял неподвижно, глядя на молнии, прислушиваясь к громам; и спутник его услышал, как этот фаталист бросил в ночь загадочные слова: «Мы заодно». Наполеон ошибался. Они уже не были больше заодно.

Ни на секунду он не сомкнул глаз, каждое мгновение этой ночи было отмечено для него радостью. Он объехал всю линию кавалерийских полевых постов, задерживаясь время от времени, чтобы поговорить с часовыми. В половине третьего ночи около Гугомонского леса он услышал шаг движущейся вражеской колонны; ему показалось, что это отступает Веллингтон. Он пробормотал: «Это снялся с позиций арьергард английских войск. Я захвачу в плен шесть тысяч англичан, которые только что прибыли в Остенде». Он говорил с жаром, он вновь обрел то одушевление, которое владело им 1 марта, во время высадки в бухте Жуан, когда, указывая маршалу Бертрану на восторженно встретив-

шего его крестьянина, он воскликнул: «Ну что, Бертран, вот и подкрепление!» В ночь с 17 на 18 июня он трунил над Веллингтоном. «Этот маленький англичанин нуждается в уроке!» — говорил Наполеон. Дождь усиливался, и все время, пока император говорил, гремел гром.

В половине четвертого утра он лишился одной из своих иллюзий: посланные в разведку офицеры донесли, что в неприятельском лагере никакого движения не наблюдается. Все спокойно, ни один из бивуачных костров не погашен. Английская армия спала. На земле царила глубокая тишина, гул стоял лишь в небесах. В четыре часа лазутчики привели к нему крестьянина, который был проводником у бригады английской кавалерии, по всей вероятности, бригады Вивьена, отправившейся на позиции в деревню Оэн, в самом конце левого крыла. В пять часов два бельгийских дезертира донесли, что они сейчас бежали из своего полка и что английская армия ожидает боя. «Тем лучше! — воскликнул Наполеон. — Мне гораздо больше по душе разбитые полки, чем отступающие».

Утром на откосе, там, где дорога поворачивает на Плансенуа, спешившись прямо в грязь, он приказал доставить себе с россомской фермы

кухонный стол и простой стул, уселся, с охапкой соломы под ногами вместо ковра, и, развернув на столе карту, сказал Сульту: «Вот забавная шахматная доска!»

Вследствие ночного дождя обоз с продовольствием, увязший в размытых дорогах, не мог прибыть к утру, солдаты не спали, промокли и были голодны, однако это не помешало Наполеону весело крикнуть Нею: «У нас девяносто шансов из ста!» В восемь часов императору принесли завтрак. Он пригласил нескольких генералов. Во время завтрака кто-то рассказал, что третьего дня Веллингтон был в Брюсселе на балу у герцогини Ричмонд, и Сульт, этот суровый воин, лицом похожий на архиепископа, заметил: «Настоящий бал — сегодня». Император подсмеивался над Неем, который сказал ему: «Веллингтон не до такой степени прост, чтобы дожидаться вашего величества». Впрочем, то была манера Наполеона. «Он охотно шутил», — говорит о нем Флери де Шабулон. «В сущности, у него был веселый нрав», — говорит Гурго. «Он так и сыпал шутками, скорее своеобразными, нежели остроумными», — говорит Бенжамен Констан. Эти шутки исполина стоят того, чтобы на них остановиться. Это он называл своих гренадер «ворчунами»; он щипал их

за уши, дергал за усы. «Император только и делал, что шутки шутил над нами» — вот фраза одного из них. Во время тайного переезда с острова Эльбы во Францию, 27 февраля, военный французский бриг «Зефир», встретив в открытом море бриг «Неверный», на котором скрывался Наполеон, спросил, как чувствует себя император. Наполеон, все еще сохранявший на своей шляпе белую с красным кокарду, усеянную пчелами, которую он стал носить на острове Эльба, смеясь, схватил рупор и сам ответил: «Император чувствует себя отлично». Кто способен на подобную шутку, тот запанибрата с судьбой. Во время завтрака под Ватерлоо Наполеоном несколько раз овладевал приступ смеха. Позавтракав, он с четверть часа предавался размышлениям, а затем два генерала уселись на соломенную подстилку, вооружившись перьями и положив лист бумаги на колени, и Наполеон продиктовал им план сражения.

В девять часов, в ту минуту, когда французская армия, построенная пятью колоннами, развернулась и двинулась вперед, сохраняя боевой порядок в две линии, с артиллерией между бригадами, с играющим походный марш оркестром во главе, барабанной дробью, звучаньем сигнальных труб, могучая, огромная, ликую-

щая, — император, взволнованный видом этого моря касок, сабель и штыков, заколыхавшихся на горизонте, дважды воскликнул: «Великолепно! Великолепно!»

С девяти часов и до половины одиннадцатого вся армия, что может показаться невероятным, успела занять позиции и выстроилась в шесть линий, образуя, по выражению самого императора, «фигуру шести римских цифр V». Несколько мгновений спустя после приведения фронта войск в боевой порядок, среди глубокого предгрозового затишья, этого предвестника большого сражения, видя, как проходят три батареи из двенадцатифунтовых орудий, отведенные по его приказу от трех корпусов — д'Эрлона, Рейля и Лобо и предназначенные открыть бой, ударив на Мон-Сен-Жан в том месте, где пересекались дороги на Нивель и Женап, император, ударив по плечу Таксо, сказал: «Вот двадцать четыре прелестные девушки, генерал».

Не сомневаясь в исходе сражения, он подбодрял улыбкой проходивших мимо него саперов первого корпуса, которые должны были окопаться в Мон-Сен-Жан, как только деревня будет взята. Вся эта безмятежность была только один раз нарушена высокомерными словами сожаления:

заметив влево от себя, в том месте, где ныне возвышается большой могильный курган, этих изумительных, строящихся сомкнутой колонной серых шотландцев на великолепных лошадях, он промолвил: «Как жаль».

Затем, вскочив на коня, он направился к Россому и выбрал себе наблюдательным пунктом узкий гребень поросшего травой холмика, вправо от дороги из Жена-па в Брюссель; это была вторая его стоянка за время битвы. Третья — в семь часов вечера — между Бель-Альянс и Ге-Сент была очень опасна; это довольно высокий пригорок, существующий еще и теперь; позади него, в ложбине, расположилась гвардия. Вокруг пригорка ядра, падая на мощенную камнем дорогу, отскакивали рикошетом к ногам Наполеона. Как и при Бриенне, над его головой свистели пули и картечь. Впоследствии, почти на том самом месте, где стоял его конь, нашли словно источенные червями ядра, старые сабельные клинки и исковерканные гранаты, изъеденные ржавчиной — scabra rubigine. Несколько лет тому назад здесь откопали невзорвавшийся шестидесятисантиметровый снаряд, запальная трубка которого была сломана у своего основания. Именно на этой последней остановке император сказал

проводнику Лакосту, враждебно настроенному, испуганному и привязанному к седлу гусара крестьянину, который вертелся при каждом залпе картечи, стараясь спрятаться за спиной всадника: «Дурачина, как тебе не стыдно? Ведь ты получишь пулю в спину». Пишущий эти строки, разрывая песок, нашел сам в сыпучем грунте откоса остатки горлышка бомбы, изъязвленные сорокашестилетней ржавчиной, и старые обломки железа, ломавшиеся между пальцами, как веточки бузины.

Теперь холмистых неровностей долины, где состоялась встреча Наполеона и Веллингтона, уже не существует, но всем известно, каковы они были 18 июня 1815 года. Взяв у этого мрачного поля материал для возведения ему памятника, его тем самым лишили характерного рельефа, и приведенная в замешательство история не могла в нем более разобраться. Чтобы прославить это поле, его обезобразили. Два года спустя Веллингтон, увидев поле Ватерлоо, воскликнул: «Мне подменили мое поле боя». Там, где ныне высится огромная земляная пирамида, увенчанная фигурой льва, тогда тянулись холмы, переходившие в отлогий откос по направлению к нивельской дороге, но почти отвесный со стороны женап-

ской дороги. Высоту его можно определить и теперь еще по высоте двух холмов, двух огромных могильных курганов, стоящих по обе стороны дороги из Женапа в Брюссель; слева могила англичан, справа — немцев. Могилы французов нет вовсе. Для Франции вся эта равнина — усыпальница. Благодаря тысячам и тысячам возов земли, употребленной для насыпи, высотой в сто пятьдесят футов и около полумили в окружности, взобраться по отлогому откосу на плато Мон-Сен-Жан сейчас нетрудно, а в день битвы подступ к нему, особенно со стороны Ге-Сента, был крут и неровен. Склон его в этом месте был так обрывист, что английские пушкари не видели фермы, расположенной внизу, в глубине долины, и являвшейся средоточием битвы. К тому же 18 июня 1815 года ливни так сильно изрыли эту крутизну, грязь так затрудняла подъем, что взбираться на нее означало тонуть в грязи. Вдоль гребня плато тянулось нечто вроде рва, о существовании которого издали нельзя было и подозревать.

Что же это был за ров? Поясним. Брен-л'Алле — одна бельгийская деревня. Оэн — другая. Обе деревушки, скрытые в глубоких извилинах местности, соединены дорогой длиной мили в полторы, которая пересекает волнообразную

поверхность равнины и часто, словно борозда, прорезает холмы, вследствие чего во многих местах превращается в овраг. В 1815 году дорога, как и теперь, перерезала гребень плато Мон-Сен-Жан между женапским и нивельским шоссе; сейчас она в этом месте на одном уровне с долиной, а в ту пору пролегала глубоко внизу. Оба ее откоса были срыты, и земля оттуда пошла на возвышение для памятника. На большей части протяжения эта дорога, как и когда-то, представляет собою траншею, доходящую порой до двенадцати футов глубины; слишком крутые откосы ее местами оползали, особенно зимой, во время проливных дождей. Иногда там происходили несчастные случаи. При въезде в Брен-л'Алле дорога так узка, что однажды какой-то прохожий был там раздавлен проезжавшей телегой, о чем напоминает каменный крест на погосте, с указанием имени погибшего: «Господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя», и даты его гибели: «февраль 1637»[8] «февраля 1637»... Дорога настолько глубоко прорезала плато Мон-Сен-Жан, что в 1783 году там

---

[8] Примечания: 8

Вот эта надпись:

«Превеликий, преблагой господь бог с тобою.

Здесь волей несчастного случая был раздавлен телегой господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя» (неразборчиво)

погиб под обвалившимся откосом крестьянин Матье Никез, о чем свидетельствует второй каменный крест, верхушка которого исчезла в распаханной земле, но опрокинутое подножье можно и сейчас различить на скате, поросшем травою, с левой стороны дороги между Ге-Сент и фермой Мон-Сен-Жан.

В день битвы эта дорога, на присутствие которой тогда ничего не указывало, идущая вдоль гребня Мон-Сен-Жан и напоминающая ров на вершине крутого откоса или глубокую колею, скрытую среди пашен, была невидима, — иначе говоря, страшно опасна.

Глава 8
Император задает вопрос проводнику Лакосту

Итак, утром в день Ватерлоо Наполеон был доволен.

Он имел для этого все основания: разработанный им план сражения, как мы уже отмечали, был действительно великолепен.

И вот сражение началось; однако все его разнообразнейшие перипетии — упорное сопротивление Гугомона и Ге-Сента; гибель Бодюэна; Фуа, выбывший из строя; непредвиденное препятствие в виде стены, о которую разбилась бригада Суа; роковое легкомыслие Гильемино, не запасшегося ни петардами, ни пороховницами; увязшие в грязи батареи; пятнадцать орудий без прикрытия, сброшенные Угсбриджем на пролегающую внизу дорогу; слишком слабое действие бомб, которые, попадая в место расположения англичан, зарывались в размытую ливнем землю, вздымая грязевые вулканы и превращая картечь в брызги грязи; бесполезный маневр Пирэ при Брен-л'Алле, почти полностью уничтоженные

пятнадцать эскадронов его кавалерии; сорвавшаяся атака против правого английского крыла, неудавшийся прорыв левого; странная ошибка Нея, сосредоточившего в одной колонне четыре дивизии первого корпуса, вместо того чтобы построить их эшелонами, уплотненность их двадцати семи рядов по двести человек каждый, обреченных в тесном строю стоять под огнем картечи, страшные бреши, произведенные ядрами в этих плотных рядах; разъединение штурмовых колонн; внезапная демаскировка фланговой, расположенной наискосок, батареи; замешательство Буржуа, Донзело, Дюрюта; отброшенный назад Кио; ранение лейтенанта Вье — этого геркулеса, воспитанника Политехнической школы — как раз в тот момент, когда он, под навесным огнем с баррикады противника, преграждавшей дорогу из Женапа на повороте ее к Брюсселю, ударами топора взламывал ворота Ге-Сента; дивизия Марконье, зажатая между пехотой и кавалерией, в упор расстрелянная во ржи Бестом и Пактом и изрубленная Понсонби, заклепанные семь орудий его батареи; принц Саксен-Веймарский, взявший и, несмотря на усилия графа д'Эрлона, удерживавший Фришмон и Смоэн; захваченные знамена 105-го и 45-го полков; тревожное

сообщение черного гусара-пруссака, пойманного разведчиками летучей колонны из трехсот стрелков, разъезжавших между Вавром и Планценуа; опоздание Груши; тысяча пятьсот человек, убитых в гугомонском фруктовом саду менее чем за час; тысяча восемьсот человек, павших в еще более короткий срок вокруг Ге-Сента, — все эти бурные события, словно грозовые облака, проносившиеся перед Наполеоном в урагане сражения, почти не затуманили его взор и нисколько не омрачили царственно-спокойное чело. Наполеон привык глядеть войне прямо в глаза. Он никогда не занимался сложением, цифра за цифрой, прискорбных подробностей; цифры слагаемых были ему безразличны, лишь бы они составили нужную ему сумму — победу. Пусть неудачным оказалось начало, это его нисколько не тревожило, ибо он мнил себя господином и владыкой исхода битвы; он умел, не теряя веры в свои силы, выжидать и стоял перед судьбой, как равный перед равным. «Ты не посмеешь!» — казалось, говорил он року.

Представляя собою сочетание света и тьмы, Наполеон, творя добро, чувствовал покровительство высшей силы, а творя зло — ее терпимость к себе. Он имел — или верил в то, что имеет, — на

своей стороне потворство, можно почти сказать сообщничество обстоятельств, равноценное древней неуязвимости.

Однако тому, у кого были позади Березина, Лейпциг и Фонтенебло, казалось, не надлежало бы доверять Ватерлоо. Уже зловеще хмурилось небо над его головой.

В тот момент, когда Веллингтон двинул войска назад, Наполеон вздрогнул. Он вдруг заметил, что плато Мон-Сен-Жан как бы облысело и что фронт английской армии исчезает. Стягиваясь, она скрывалась. Император привстал на стременах. Победа молнией сверкнула перед его глазами.

Загнать Веллингтона в Суаньский лес и там разгромить — вот что было бы окончательной победой французов над англичанами. Это явилось бы мщением за

Креси, Пуатье, Мальплаке, Рамильи. Победитель при Маренго зачеркивал Азенкур.

Тогда император, обдумывая эту грозную развязку, в последний раз оглядел в подзорную трубку все поле битвы. Его гвардия, стоя позади него с ружьями к ноге, взирала на него снизу вверх с каким-то благоговением. Он размышлял; он изучал откосы, отмечал склоны, внимательно вглядывался в группы деревьев, в квадраты ржи,

тропинки; казалось, он считал каждый куст. Особенно пристально он всматривался в английские баррикады на обеих дорогах, в эти широкие засеки из сваленных деревьев — одну на женапской, повыше Ге-Сента, снабженную двумя пушками, единственными во всей английской артиллерии, которые могли простреливать насквозь все поле битвы, и другую — на нивельской дороге, где поблескивали штыки голландской бригады Шассе. Около этой баррикады Наполеон заметил старую, выкрашенную в белый цвет часовню Святого Николая, что на повороте дороги в Брен-л'Алле. Наклонившись, он о чем-то вполголоса спросил проводника Лакоста. Тот отрицательно покачал головой, по всей вероятности, тая коварный умысел.

Император выпрямился и задумался.

Веллингтон отступил.

Это отступление оставалось лишь довершить полным разгромом.

Внезапно обернувшись. Наполеон спешно отправил в Париж нарочного с эстафетой, извещавшей, что битва выиграна.

Наполеон был одним из гениев-громовержцев.

И вот теперь молния ударила в него самого.

Он отдал приказ кирасирам Мило взять плато

Мон-Сен-Жан.

Глава 9
Неожиданность

Их было три тысячи пятьсот человек. Они растянулись по фронту на четверть мили. Это были люди-гиганты на конях-исполинах. Их было двадцать шесть эскадронов, а в тылу за ними, как подкрепление, стояли: дивизия Лефевра-Денуэта, сто шесть отборных кавалеристов, гвардейские егеря — тысяча сто девяносто семь человек, и гвардейские уланы — восемьсот восемьдесят пик. У них были каски без султанов и кованые кирасы, седельные пистолеты в кобурах и кавалерийские сабли. Утром вся армия любовалась ими, когда они в девять часов, под звуки рожков и гром оркестров, игравших «Будем на страже», появились сомкнутой колонной, с одной батареей во фланге, с другой в центре, и, развернувшись в две шеренги между женапским шоссе и Фришмоном, заняли свое боевое место в той могучей, столь искусно задуманной Наполеоном второй линии, которая, сосредоточив на левом своем конце кирасир Келлермана, а на правом — кирасир Мило, обладала, так сказать, двумя железными

крылами.

Адъютант Бернар передал им приказ императора. Ней обнажил шпагу и стал во главе их. Громадные эскадроны тронулись.

Тогда представилось грозное зрелище.

Вся эта кавалерия, с саблями наголо, с развевающимися по ветру штандартами, с поднятыми вверх трубами, сформированная в колонны по дивизионам, единым духом, как один человек, с точностью бронзового тарана, пробивающего брешь, спустилась по холму Бель-Альянс, ринулась в роковую глубь, поглотившую уже стольких людей, скрылась там в дыму, потом, вырвавшись из этого мрака, появилась на противоположной стороне долины, такая же сомкнутая и плотная, и стала подниматься крупной рысью, сквозь облако сыпавшейся на нее картечи, по страшному, покрытому грязью склону плато Мон-Сен-Жан. Они поднимались, сосредоточенные, грозные, непоколебимые; в промежутках между ружейными залпами и артиллерийским обстрелом слышался тяжкий топот. Состоя из двух дивизий, они двигались двумя колоннами: дивизия Ватье — справа, дивизия Делора — слева. Издали казалось, будто на гребень плато вползают два громадных стальных ужа. Они возникли в битве

словно некое чудо.

Ничего подобного не было видано со времени взятия тяжелой кавалерией большого московского редута. Недоставало Мюрата, но Ней был тут. Казалось, что вся эта масса людей превратилась в сказочного дива и обрела единую душу. Эскадроны, видневшиеся сквозь разорванное местами огромное облако дыма, извивались и вздувались, как кольца полипа. Среди пушечных залпов и звуков фанфар — хаос касок, криков, сабель, резкие движения лошадиных крупов, страшная и вместе с тем послушная воинской дисциплине сумятица. А над всем этим — кирасы, как чешуя гидры.

Можно подумать, что описываемое зрелище принадлежит иным векам. Нечто подобное этому видению являлось, вероятно, в древних орфических эпопеях, повествовавших о полулюдях-полуконях, об античных гипантропах, этих титанах с человечьими головами и лошадиным туловищем, которые вскачь взбирались на Олимп, страшные, неуязвимые, великолепные; боги и звери одновременно.

Странное совпадение чисел: двадцать шесть батальонов готовились к встрече этих двадцати шести эскадронов. За гребнем плато, в тени

скрытой батареи, английская инфантерия, построенная в тринадцать каре, по два батальона в каждом, и в две линии: семь каре на первой, шесть — на второй, взяв ружья на изготовку и целясь в то, что должно было перед ней появиться, ожидала спокойная, безмолвная, неподвижная. Она не видела кирасир, кирасиры не видели ее. Она прислушивалась к нараставшему приливу этого моря людей. Она все яснее различала топот трех тысяч лошадей, бежавших крупной рысью, попеременный и мерный стук их копыт, бряцанье сабель, звяканье кирас и какое-то могучее, яростное дыхание. Наступила грозная тишина, потом внезапно над гребнем возник длинный ряд поднятых рук, потрясающих саблями, каски, трубы, штандарты и три тысячи седоусых голов, кричавших: «Да здравствует император!» Вся эта кавалерия обрушилась на плато. Это походило на начинающееся землетрясение.

Вдруг — о ужас! — налево от англичан, направо от нас, среди раздавшегося страшного вопля, кони кирасир, мчавшиеся во главе колонны, встали на дыбы.

Очутившись на самом гребне плато, кирасиры, отдавшиеся необузданной ярости и готовые к смертоносной атаке на неприятельские каре и

батареи, внезапно увидели между собой и англичанами провал, пропасть. То была пролегавшая в ложбине дорога на Оэн.

Мгновение это было ужасно. Перед ними, непредвиденный, круто обрываясь вниз под самыми копытами лошадей, меж двух своих откосов зиял овраг глубиной в две туазы. Второй ряд конницы столкнул туда передний, а третий столкнул туда второй; кони взвивались на дыбы, откидывались назад, падали на круп, скользили по откосу ногами вверх, сбрасывали и подминали под себя всадников. Отступить не было никакой возможности, вся колонна словно превратилась в метательный снаряд; сила, собранная для того, чтобы раздавить англичан, раздавила самих французов. Преодолеть неумолимый овраг можно было, лишь набив его доверху; всадники и кони, смешавшись, скатывались вниз, давя друг друга, образуя в этой пропасти сплошное месиво тел, и только когда овраг наполнился живыми людьми, то, ступая по ним, перешли все уцелевшие. Почти треть бригады Дюбуа погибла в этой пропасти.

Это было началом проигрыша сражения.

Местное предание, которое, вероятно, преувеличивает потери, гласит, что на этой оэнской

дороге нашли себе могилу две тысячи коней и полторы тысячи всадников. Цифры эти включают, по-видимому, и все прочие трупы, сброшенные в овраг на следующий день.

Заметим мимоходом, что это была та самая, так жестоко пострадавшая бригада Дюбуа, которая за час перед тем, самостоятельно атакуя Люнебургский батальон, захватила его знамя.

Наполеон, прежде чем отдать кирасирам Мило приказ идти в атаку, тщательно исследовал местность, но дорогу в ложбине, ничем не выдававшую себя на поверхности плато, он увидеть не мог. Однако, предупрежденный видом маленькой белой часовни на пересечении этой дороги с нивельским шоссе, он насторожился и спросил проводника Лакоста о возможности какого-либо препятствия. Проводник отрицательно покачал головой. Можно почти с уверенностью сказать, что безмолвный ответ этого крестьянина породил катастрофу Наполеона.

Суждено было последовать и другим роковым обстоятельствам.

Мог ли Наполеон выиграть это сражение? Мы отвечаем: нет. Почему? Был ли тому помехой Веллингтон? Блюхер? Нет. Помехой тому был Бог.

Победа Бонапарта при Ватерлоо не входила

больше в расчеты девятнадцатого века. Подготавливался другой ряд событий, где Наполеону уже не было места. Немилость рока давала о себе знать задолго до того.

Пробил час падения этого необыкновенного человека.

Чрезмерный вес его в судьбе народов нарушал общее равновесие. Его личность сама по себе значила больше, чем все человечество в целом. Этот избыток жизненной силы человечества, сосредоточенной в одной голове, целый мир, представленный, в конечном итоге, мозгом одного человека, стали бы губительны для цивилизации, если бы такое положение продолжалось. Наступила минута, когда высшая, неподкупная справедливость должна была обратить на это свой взор. Возможно, к этой справедливости вопияли те правила и те основы, которым подчинены постоянные силы тяготения как в нравственном, так и в материальном порядке вещей. Дымящаяся кровь, переполненные кладбища, материнские слезы — все это грозные обвинители. Когда мир страждет от чрезмерного бремени, мрак испускает таинственные стенания, и бездна внемлет им.

На императора вознеслась жалоба небесам, и

падение его было предрешено.

Он мешал Богу.

Ватерлоо отнюдь не битва. Это изменение облика всей вселенной.

Глава 10
Плато Мон-Сен-Жан

Почти в то же самое мгновение, когда обнаружился овраг, обнаружилась и батарея.

Шестьдесят пушек и тринадцать каре открыли огонь в упор по кирасирам. Неустрашимый генерал Де лор отдал военный салют английской батарее.

Вся английская конная артиллерия галопом вернулась к своим каре. Кирасиры не остановились ни на мгновение. Катастрофа во рву сократила их ряды, но не лишила мужества. Они были из тех людей, доблесть коих возрастает с уменьшением их численности.

Колонна Ватье одна пострадала от бедствия. Колонна Делора, которой Ней, будто предчувствуя западню, приказал идти стороной, влево, пришла в целости.

Кирасиры ринулись на английские каре.

Они неслись во весь опор, отпустив поводья, с саблями в зубах, с пистолетами в руках, — такова была эта атака.

В сражениях бывают минуты, когда душа че-

ловека до того ожесточается, что превращает солдата в статую, и тогда вся эта масса плоти становится гранитом. Английские батальоны не дрогнули перед отчаянным натиском.

Тогда наступило нечто страшное.

Весь фронт английских каре был атакован сразу. Неистовый вихрь налетел на них. Но эта стойкая пехота оставалась непоколебимой. Первый ряд, опустившись на колено, встречал кирасир в штыки, второй расстреливал их; за вторым рядом канониры заряжали пушки; фронт каре разверзался, пропуская шквал картечного огня, и смыкался вновь. Кирасиры отвечали на это новой атакой. Огромные кони вздымались на дыбы, перескакивали через ряды каре, перепрыгивали через штыки и падали, подобные гигантам, среди этих четырех живых стен. Ядра пробивали бреши в рядах кирасир, а кирасиры пробивали бреши в каре. Целые шеренги солдат исчезали, раздавленные лошадьми. Штыки вонзались в брюхо кентавров. Вот причина тех уродливых ран, которых, быть может, никогда не видали при других битвах. Каре, как бы прогрызаемые этой бешеной кавалерией, стягивались, но не поддавались. Их запасы картечи были неистощимы, и взрыв следовал за взрывом среди самой

массы штурмующих. Чудовищна была картина этого боя! Каре были уже не батальоны, а кратеры; кирасиры — не кавалерия, а ураган. Каждое каре превратилось в вулкан, атакованный тучей; лава боролась с молнией.

Крайнее каре справа, лишенное защиты с двух сторон и подвергшееся наибольшей опасности, было почти полностью уничтожено при первом же столкновении. Оно состояло из 75-го полка шотландских горцев. В то время как вокруг шла резня, в центре атакуемых волынщик, сидевший на барабане, в глубоком спокойствии опустив меланхолический взор, полный отражений родных озер и лесов, играл песни горцев. Шотландцы умирали с мыслью о Бен Лотиане, подобно грекам, вспоминавшим об Аргосе. Сабля кирасира, отсекшая волынку вместе с державшей ее рукой, заставила смолкнуть песню, убив певца.

Кирасирам, сравнительно немногочисленным, к тому же понесшим потери при катастрофе в овраге, противостояла чуть ли не вся английская армия, но они словно умножились, ибо каждый из них стоил десяти. Между тем несколько ганноверских батальонов отступило. Веллингтон заметил это и вспомнил о своей кавалерии. Если бы Наполеон в этот же момент вспомнил о своей

пехоте, он выиграл бы сражение. То, что он забыл о ней, было его великой, роковой ошибкой.

Атакующие внезапно превратились в атакуемых. В тылу у кирасир оказалась английская кавалерия. Впереди — каре, позади — Сомерсет; Сомерсет означал тысячу четыреста гвардейских драгун. У Сомерсета по правую руку был Дорнберг с немецкой легкой кавалерией, по левую — Трип с бельгийскими карабинерами; кирасиры, атакуемые с фланга и с фронта, спереди и с тыла пехотой и кавалерией, должны были отбиваться во все стороны. Но не все ли равно им было? Они стали вихрем. Их доблесть перешла границы возможного.

Кроме того, в тылу у них непрерывно гремела батарея. Только при таком условии эти люди могли быть ранены в спину. Одна из их кирас, пробитая у левой лопатки, находится в коллекции музея Ватерлоо.

Против таких французов могли устоять только такие же англичане.

То была уже не сеча, а мрак, неистовство, головокружительный порыв душ и доблестей, ураган сабельных молний. В одно мгновение из тысячи четырехсот драгун осталось лишь восемьсот; их командир, подполковник Фуллер, пал мертвым.

Ней подоспел с уланами и егерями Лефевра-Денуэта. Плато Мон-Сен-Жан было взято, отбито и взято вновь. Кирасиры оставляли кавалерию, чтобы снова обрушиться на пехоту, — вернее говоря, в этой ужасающей давке люди сошлись грудь с грудью, схватились врукопашную. Каре продолжали держаться.

Они выдержали двенадцать атак. Под Неем было убито четыре лошади. Половина кирасир полегла на плато. Битва длилась два часа.

Войска англичан были сильно потрепаны. Без сомнения, не будь кирасиры ослаблены при первой же своей атаке катастрофой на дороге в ложбине, они опрокинули бы центр и одержали бы победу. Эта необыкновенная кавалерия поразила Клинтона, видевшего Талаверу и Бадахос. Веллингтон, на три четверти побежденный, героически отдавал им должное, повторяя вполголоса: «Великолепно!»[9]

Кирасиры уничтожили семь каре из тринадцати, захватили или заклепали шестьдесят пушек и отняли у англичан шесть знамен, которые были отнесены императору, к ферме Бель-Альянс, тремя кирасирами и тремя гвардейскими егерями.

---

[9] Примечания: 9
Splendid! — подлинное его выражение. *(Прим, автора)*

Положение Веллингтона ухудшилось. Это страшное сражение было похоже на поединок между двумя остервенелыми ранеными бойцами, когда оба они, продолжая нападать и отбиваться, истекают кровью. Кто падет первый?

Борьба на плато продолжалась.

Докуда дошли кирасиры? Никто не мог бы определить этого. Достоверно лишь одно: на следующий день после сражения, в том месте, где перекрещиваются четыре дороги — на Нивель, Женап, Ла-Гюльп и Брюссель, на площадке монсенжанских весов для взвешивания повозок были найдены трупы кирасира и его коня. Этот всадник пробился сквозь английские линии. Один из людей, поднявших труп, до сих пор проживает в Мон-Сен-Жан. Его зовут Дегаз. Тогда ему было восемнадцать лет.

Веллингтон чувствовал, что почва ускользает из-под его ног. Развязка приближалась.

Кирасиры не достигли желаемой цели в том смысле, что не прорвали центра. Так как плато принадлежало тем и другим, то оно не принадлежало никому, однако большая часть его оставалась в конечном счете за англичанами. Веллингтон удерживал деревню и верхнюю часть плато. Ней держал только гребень и склон. Обе

стороны словно пустили корни в эту могильную землю.

Но поражение англичан казалось неизбежным: армия ужасающим образом истекала кровью. Кемпт на левом крыле требовал подкреплений. «Их нет, — отвечал Веллингтон, — пусть даст себя убить!» Почти в ту же самую минуту — и это странное совпадение свидетельствует об истощении обеих армий — Ней требовал у Наполеона пехоты, и Наполеон восклицал: «Пехоты! А где я ее возьму? Сотворить мне ее, что ли!»

Однако английская армия была более истощена. Яростные броски этих исполинских эскадронов в кованых кирасах со стальными нагрудниками смяли пехоту. Лишь по кучке солдат, окружавших знамя, можно было судить о том, что здесь был полк; иными батальонами командовали теперь только капитаны или лейтенанты; дивизия Альтена, уже сильно пострадавшая при Ге-Сенте, была почти истреблена; неустрашимые бельгийцы из бригады Ван-Клузе устилали своими трупами ржаное поле вдоль нивельской дороги. Не оставалось почти ни единого человека от тех голландских гренадер, которые в 1811 году в одних рядах с французами сражались с Веллингтоном в Испании, а в 1815 году, примкнув

к англичанам, сражались с Наполеоном. Потери среди командиров были очень значительны. У лорда Угсбриджа, который на другой день велел похоронить свою отрезанную ногу, было раздроблено колено. Если у французов во время атаки кирасир выбыли из строя

Делор, Леритье, Кольбер, Дноп, Траверс и Бланкар, то у англичан Альтен был ранен, Барн ранен, Делансе убит, Ван-Меерен убит, Омптеда убит, генеральный штаб Веллингтона опустошен, и на долю Англии выпала горшая участь в этом кровавом равновесии. 2-й полк гвардейской пехоты лишился пяти подполковников, четырех капитанов и трех прапорщиков; первый батальон 30-го пехотного полка потерял двадцать четыре офицера и сто двенадцать солдат; у 79-го полка горцев было ранено двадцать четыре офицера, убито восемнадцать офицеров, уничтожено четыреста пятьдесят рядовых. Целый полк ганноверских гусар Камберленда, с полковником Гаке во главе, — его впоследствии судили и разжаловали, — повернул вспять, испугавшись рукопашной схватки, и бежал Суаньским лесом, сея смятение до самого Брюсселя. Увидев, что французы продвинулись вперед и приближаются к лесу, фурштат, фуражные повозки, обозы, фургоны,

переполненные ранеными, тоже ринулись назад; голландцы под саблями французской кавалерии вопили: «Спасите!» От Вер-Куку до Гренандаля, на протяжении почти двух миль в направлении Брюсселя, вся местность, по свидетельству очевидцев, которые живы еще и теперь, была запружена беглецами. Паника была так сильна, что докатилась до принца Конде в Мехельне и Людовика XVIII — в Генте. За исключением слабого резерва, построенного эшелонами позади лазарета на ферме Мон-Сен-Жан, и бригад Вивиана и Ванделера, прикрывавших левый фланг, у Веллингтона кавалерии больше не было. Целые батареи валялись на земле, сбитые с лафетов.

Эти факты подтверждены Сиборном, а Прингль, преувеличивая бедствие, говорит даже, будто численность англо-голландской армии была сведена к тридцати четырем тысячам человек. Железный герцог оставался невозмутимым, однако губы его побледнели. Австрийский кригс-комиссар Винцент, испанский кригс-комиссар Алава, присутствовавшие при сражении в английском генеральном штабе, считали герцога погибшим. В пять часов Веллингтон вынул часы, и окружающие услышали, как он прошептал мрачные слова: «Блюхер или ночь!»

Именно в эту минуту и сверкнул ряд штыков вдалеке на высотах, в стороне Фришмона.

И тут наступил перелом в этой исполинской драме.

Глава 11
Дурной проводник у Наполеона, хороший у Бюлова

Трагическое заблуждение Наполеона всем известно; он ждал Груши, а явился Блюхер — смерть вместо жизни.

Судьба порой делает такие крутые повороты: человек рассчитывал на мировой трон, а перед ним возникает остров Св. Елены.

Если бы пастушок, служивший проводником Бюлову, генерал-лейтенанту при Блюхере, посоветовал ему выйти из лесу повыше Фришмона, а не ниже Плансенуа, быть может, судьба девятнадцатого века была бы иной. Наполеон выиграл бы сражение при Ватерлоо. Следуя любым иным путем, кроме пролегающего ниже Плансенуа, прусская армия встретила бы непроходимый для артиллерии овраг, и Бюлов не подоспел бы вовремя.

Между тем один лишь час промедления (так говорит генерал Мюфлинг) — и Блюхер не застал бы уже прежнего Веллингтона: «Битва при Ватерлоо была бы проиграна».

Как явствует из всего, Блюхеру пора было явиться. Однако он сильно запоздал. Он стоял бивуаком на Дион-ле-Мон и выступил с зарей. Но дороги были непроезжие, и его дивизии застревали в грязи. Пушки вязли в колеях по самые ступицы. Кроме того, пришлось переправляться через реку Диль по узкому Ваврскому мосту; улица, ведущая к мосту, была подожжена французами; зарядные ящики и артиллерийский обоз не могли пробиться сквозь двойной ряд пылающих домов и должны были ждать, пока кончится пожар. К полудню авангард Бюлова все еще не достиг Шапель-Сен-Ламбер.

Если бы сражение началось двумя часами ранее, оно окончилось бы к четырем часам, и Блюхер подоспел бы к победе Наполеона. Таковы эти великие случайности, соразмерные с бесконечностью, которую мы не в силах постичь.

Еще в полдень император первый в зрительную трубу заметил на горизонте нечто, приковавшее его внимание. «Я вижу там вдали облако, мне кажется, это войско», — сказал он. Затем, обратившись к герцогу Дальматскому, спросил: «Сульт, что вы видите в направлении Шапель-Сен-Ламбер?» Маршал, приставив к глазам свою зрительную трубу, ответил: «Четыре или пять

тысяч человек, ваше величество. Очевидно, Груши!» Между тем все это хранило неподвижность, утопая в тумане. Зрительные трубы генерального штаба внимательно изучали «облако», замеченное императором. Некоторые утверждали: «Это колонны на бивуаке». Большинство же говорило: «Это деревья». Несомненно было лишь то, что облако не двигалось. Император отправил на разведку к этому темному пятну дивизион легкой кавалерии Домона.

Бюлов действительно не двигался. Его авангард был очень слаб и не мог принять боя. Он принужден был дожидаться главных сил корпуса и получил приказ сосредоточить войска, прежде чем построиться в боевом порядке; но в пять часов, при виде бедственного положения Веллингтона, Блюхер приказал Бюлову наступать и произнес знаменитые слова: «Надо дать передышку английской армии».

Вскоре дивизии Лостена, Гиллера, Гаке и Рисселя развернулись перед корпусом Лобо, кавалерия принца Вильгельма Прусского выступила из Парижского леса, Плансенуа запылало, и прусские ядра посыпались градом, залетали даже в ряды гвардии, стоявшей в резерве позади Наполеона.

Глава 12
Гвардия

Остальное известно: вступление в бой третьей армии, дислокация сражения, восемьдесят шесть внезапно загрохотавших пушечных жерл, появление вместе с Бюловом Пирха 1-го, предводительствуемая самим Блюхером кавалерии Цитена, оттесненные французы, сброшенный с оэнского плато Марконье, выбитый из Папелота Дюрют, отступающие Донзело и Кио, окруженный Л обо, стремительно разворачивающаяся к ночи новая битва, наши беззащитные полки, переходящая в наступление и двинувшаяся вперед вся английская пехота, огромная брешь во французской армии, дружные усилия английской и прусской картечи, истребление, разгром фронта, разгром флангов, и среди этого ужасного развала — вступающая в бой гвардия.

Идя навстречу неминуемой смерти, гвардия кричала: «Да здравствует император!» История не знает ничего более волнующего, чем эта агония, исторгающая приветственные клики.

Весь день небо было пасмурно. Вдруг, в тот

самый момент — а было восемь часов вечера, — тучи на горизонте разорвались и пропустили сквозь ветви вязов, росших вдоль нивельской дороги, зловещий ярко-багровый отблеск заходящего солнца. Под Аустерлицем оно всходило.

Каждый гвардейский батальон к развязке этой драмы был под началом генерала. Фриан, Мишель, Роге, Гарле, Мале, Поре де Морван — все были тут! Когда высокие шапки гренадеров с изображением орла на широких бляхах показались во мгле этой сечи стройными, ровными, невозмутимыми, величественно-гордыми рядами, неприятель почувствовал уважение к Франции. Казалось, двадцать богинь победы с развернутыми крылами вступили на поле боя, и те, что были победителями, считая себя побежденными, отступили; но Веллингтон крикнул: «Ни с места, гвардейцы, и целься вернее!» Полк красных английских гвардейцев, залегших позади плетней, поднялся, туча картечи пробила трехцветное знамя, реявшее над нашими орлами, солдаты сшиблись друг с другом, и началась беспримерная резня. В темноте императорская гвардия почувствовала, как дрогнули вокруг нее войска, как всколыхнулась огромная волна беспорядочного отступления, услышала крики:

«Спасайся кто может!» — вместо прежнего: «Да здравствует император!» и, зная, что за ее спиной бегут, все же продолжала наступать, осыпаемая все возраставшим градом снарядов, теряя все больше людей с каждым своим шагом. Тут не было ни робких, ни нерешительных. Всякий солдат в этом полку был героем, равно как и генерал. Ни один человек не уклонился от самоубийства.

Ней, вне себя, величественный в своей решимости принять смерть, подставлял грудь всем ударам этого шквала. Под ним убили пятую лошадь. Весь в поту, с пылающим взором, с пеной на губах, в расстегнутом мундире, с одной эполетой, полуотсеченной сабельным ударом английского конногвардейца, со сплющенным крестом Большого орла, окровавленный, забрызганный грязью, великолепный, со сломанной шпагой в руке, он восклицал: «Смотрите, как умирает маршал Франции на поле битвы!» Но тщетно: он не умер. Он был растерян и возмущен. «А ты? Неужели ты не хочешь, чтобы тебя убили?» — крикнул он Друэ д'Эрлону. Под этим сокрушительным артиллерийским огнем, направленным против горсточки людей, он кричал: «Значит, на мою долю ничего? О, я хотел бы заполучить в живот все эти английские ядра!» Несчастный, ты уцелел,

чтобы пасть от французских пуль!

Глава 13
Катастрофа

Отступление в тылу гвардии носило зловещий характер.

Армия вдруг дрогнула со всех сторон одновременно — у Гугомона, Ге-Сента, Папелота, Плансенуа. За криками: «Измена!» раздалось: «Спасайся!» Разбегающаяся армия подобна оттепели. Все оседает, дает трещины, колеблется, ломается, катится, рушится, сталкивается, торопится, мчится. Это неописуемый распад целого. Ней хватает у кого-то коня, вскакивает на него и, без шляпы, без шейного платка, без шпаги, становится поперек брюссельского шоссе, задерживая и англичан и французов. Он пытается остановить армию, он призывает ее вернуться, он оскорбляет ее, он цепляется за убегающих, он рвет и мечет. Солдаты, обегая его, кричат: «Да здравствует маршал Ней!» Два полка Дю-рюта мечутся в замешательстве, как мяч, перебрасываемый то туда, то сюда, между саблями уланов и огнем бригад Кемпта, Беста, Пакка и Риландта. Опаснейшая из схваток — это бегство; друзья

убивают друг друга ради собственного спасения, эскадроны и батальоны разбиваются друг о друга и рассеиваются, словно гигантская пена битвы. Лобо на одном конце, Рейль на другом втянуты в этот поток. Тщетно Наполеон ставит ему преграды с помощью остатков своей гвардии, напрасно в последнем усилии жертвует последними эскадронами личной охраны. Кио отступает перед Вивианом, Келлерман — перед Ванделером, Лобо — перед Бюловом, Моран — перед Пирхом, Домон и Сюбервик — перед принцем Вильгельмом Прусским. Гийо, который повел в атаку императорские эскадроны, падает, затоптанный конями английских драгун. Наполеон галопом проносится вдоль вереницы беглецов, увещевает, настаивает, угрожает, умоляет. Все уста, еще утром кричавшие: «Да здравствует император!» — теперь безмолвствуют; его почти не узнают. Только что прибывшая прусская кавалерия налетает, несется, сечет, рубит, режет, убивает, истребляет. Упряжки сталкиваются, орудия мчатся прочь, обозные выпрягают лошадей из артиллерийских повозок и бегут, фургоны, опрокинутые вверх колесами, загромождают дорогу и служат причиной новой бойни. Люди давят, теснят друг друга, ступают по живым и по

мертвым. Руки разят наугад, что и как попало. Несметные толпы наводняют дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины, леса — все запружено этой обращенной в бегство сорокатысячной массой людей. Вопли, отчаяние, брошенные в рожь ружья и ранцы, расчищенные ударами сабель проходы; нет уже ни товарищей, ни офицеров, ни генералов, — царит один невообразимый ужас. Там — Цитен, крошащий Францию в свое удовольствие. Там — львы, превращенные в ланей. Таково было это бегство!

В Женапе сделали попытку задержаться, укрепиться, дать отпор врагу. Лобо собрал триста человек. Построили баррикады при входе в селение; но при первом же залпе прусской артиллерии все снова бросились бежать, и Лобо был взят в плен. До сих пор видны следы этого залпа на коньке полуразвалившегося кирпичного дома по правую сторону дороги, в нескольких минутах езды от Женапа. Пруссаки ринулись на Женап, разъяренные, по-видимому, такой бесславной победой. Преследование французов приняло чудовищные формы. Блюхер отдал приказ о поголовном истреблении. Мрачный пример подал этому Роге, угрожавший смертью всякому французскому гренадеру, который привел бы к нему

прусского пленного. Блюхер превзошел Роге. Дюгем, генерал молодой гвардии, прижатый к двери одной женапской харчевни, отдал свою шпагу гусару смерти, тот взял оружие и убил пленного. Победа закончилась резней побежденных. Вынесем же приговор, коль скоро мы олицетворяем собою историю: старик Блюхер опозорил себя. Эта жестокость довершила бедствие. Отчаявшиеся беглецы миновали Женап, миновали Катр-Бра, миновали Госели, Фран и Шарлеруа, миновали Тюэн и остановились лишь на границе. Увы! Но кто же это так позорно бежал? Великая армия.

Неужели эта растерянность, этот ужас, это крушение величайшего, невиданного в истории мужества были беспричинны? Нет. Громадная тень десницы божьей простирается над Ватерлоо. Это день свершения судьбы. Сила нечеловеческая предопределила этот день. Оттого-то в ужасе склонились все эти головы; оттого-то все эти великие души сложили оружие. Победители Европы пали, повергнутые во прах, не зная ни что сказать, ни что предпринять, ощущая во мраке присутствие чего-то страшного. Hoc erat in fatis[10]. В этот день перспективы всего рода

---

[10] Примечания: 10
Так было суждено *(лат.).*

человеческого изменились. Ватерлоо — это тот стержень, на котором держится девятнадцатый век. Исчезновение великого человека необходимо было для наступления великого столетия. И это взял на себя тот, кому не прекословят. Паника героев объяснима. В сражении при Ватерлоо появилось нечто более значительное, нежели облако: появился метеор. Там побывал Бог.

В сумерки, в поле, неподалеку от Женапа, Бернар и Бертран схватили за полу редингота и остановили угрюмого, погруженного в думы, мрачного человека, который, будучи занесен до этого места потоком беглецов, только что спешился и, сунув поводья под мышку, брел одиноко, с блуждающим взором, назад к Ватерлоо. То был Наполеон, еще пытавшийся идти вперед, — великий лунатик, влекомый этой погибшей мечтой.

Глава 14
Последнее каре

Несколько каре гвардии, неподвижные в бурлящем потоке отступающих, подобно скалам среди водоворота, продолжали держаться до ночи. Наступала ночь, а с нею вместе смерть; они ожидали этого двойного мрака и, непоколебимые, дали ему себя окутать. Каждый полк, оторванный от другого и лишенный связи с разбитой наголову армией, умирал одиноко. Чтобы свершить этот последний подвиг, одни каре расположились на высотах Россома, другие на равнине Мон-Сен-Жан. Там, покинутые, побежденные, грозные, эти мрачные каре встречали страшную смерть. С ними умирали Ульм, Ваграм, Иена и Фридланд.

В сумерках, около девяти часов вечера, у подошвы плато Мон-Сен-Жан все еще держалось одно каре. В этой зловещей долине у подножия склона, преодоленного кирасирами, а сейчас занятого войсками англичан, под перекрестным огнем победоносной неприятельской артиллерии, под плотным ливнем снарядов, каре продолжало бороться. Командовал им незаметный офицер по

имени Камброн. При каждом залпе каре уменьшалось, но продолжало отбиваться. На картечь оно отвечало ружейной пальбой, непрерывно стягивая свои четыре стороны. Останавливаясь на мгновение, запыхавшиеся беглецы прислушивались издали, в ночной тьме, к этим затихающим мрачным громовым раскатам.

Когда от всего легиона осталась лишь горсть людей, когда их знамя превратилось в лохмотья, когда их ружья, расстрелявшие все пули, превратились в простые палки, когда количество трупов превысило количество оставшихся в живых, тогда победителей объял некий священный ужас перед этими полными божественного величия умирающими воинами, и английская артиллерия, словно переводя дух, умолкла. То была как бы отсрочка. Казалось, вокруг сражавшихся толпились призраки, силуэты всадников, черные профили пушек; сквозь колеса и лафеты просвечивало белесоватое небо. Чудовищная голова смерти, которую герои всегда смутно различают сквозь дым сражений, надвигалась на них, глядела им в глаза. В сумеречной темноте они слышали, как заряжают орудия; зажженные фитили, похожие на глаза тигра в ночи, образовали вокруг их голов кольцо, к пушкам всех англий-

ских батарей приблизились запальники. И тогда английский генерал Кольвиль — по словам одних, а по словам других — Метленд, задержав смертоносный меч, уже занесенный над этими людьми, крикнул, взволнованный: «Сдавайтесь, храбрецы!» Камброн ответил: «Merde!»

Глава 15
Камброн

Из уважения к французскому читателю это слово, быть может самое прекрасное, которое когда-либо было произнесено французом, не должно повторять. Свидетельствовать в истории о сверхчеловеческом воспрещено.

На свой страх и риск мы преступим этот запрет.

Итак, среди этих исполинов был титан — Камброн.

Крикнуть это слово и затем умереть, что может быть величественнее? Ибо желать умереть — это и есть умереть, и не его вина, если этот человек, расстрелянный картечью, пережил себя.

Человек, выигравший сражение при Ватерлоо, — это не обращенный в бегство Наполеон, не Веллингтон, отступавший в четыре часа утра и пришедший в отчаяние в пять, это не Блюхер, который совсем не сражался; человек, выигравший сражение при Ватерлоо, — это Камброн.

Поразить подобным словом гром, который вас убивает, — это значит победить!

Дать такой ответ катастрофе, сказать это судьбе, заложить такое основание для будущего льва, бросить эту реплику дождю, ночи, предательской стене Гугомона, оэнской дороге, опозданию Груши, прибытию Блюхера, иронизировать даже в могиле, не пасть, будучи поверженным наземь, в двух слогах утопить европейскую коалицию, предложить королям известное отхожее место цезарей, сделать из последнего слова первое, придав ему весь блеск Франции, дерзко завершить Ватерлоо карнавалом Леонидаса, дополнить Рабле, подвести итог этой победе тем грубейшим словом, которое не произносят вслух, утратить свое место на земле, но сохранить его в истории, после такой бойни привлечь на свою сторону насмешников — это непостижимо!

Это оскорбить молнию. В этом эсхиловское величие.

Слово Камброна подобно звуку, сопровождающему образование трещины. Это треснула грудь под напором презрения; это избыток смертной муки, вызвавший взрыв. Кто же победил?

Веллингтон? Нет. Без Блюхера он бы погиб. Блюхер? Нет. Если бы Веллингтон не начал сражения, Блюхер не закончил бы его. Камброн, этот пришелец последнего часа, этот никому не ведомый

солдат, эта бесконечно малая частица войны, чувствует, что здесь скрывается ложь, ложь в самой катастрофе, вдвойне непереносимая; и в ту минуту, когда он дошел до бешенства, ему предлагают это посмешище — жизнь. Как не выйти из себя? Вот они, все налицо, эти короли Европы, удачливые генералы, Юпитеры-громовержцы, у них сто тысяч победоносного войска, а позади этих ста тысяч еще миллион, их пушки с зажженными фитилями уже разверзли свои пасти, императорская гвардия и великая армия у них под пятой, они только что сокрушили Наполеона, — и остался один Камброн; чтобы протестовать, остался только этот жалкий земляной червь. Он будет протестовать! И вот он подбирает слово, как подбирают шпагу. Рот его наполняется слюной, эта слюна и есть нужное ему слово. Перед лицом этой величайшей и жалкой победы, перед этой победой без победителей, он, отчаявшийся, воспрянул духом; он несет на себе ее чудовищное бремя, но он же подтверждает всю ее ничтожность; он не только плюет на нее, больше того, изнемогая под гнетом численности, силы и грубой материи, он находит в душе слово, обозначающее мерзкий отброс. Повторяем, сказать это, сделать это, найти это — значит быть победителем!

В роковую минуту дух великих дней проник в этого неизвестного человека. Камброн нашел слово, воплотившее Ватерлоо, как Руже де Лиль нашел «Марсельезу», — это произошло по вдохновению свыше. Дыхание божественного урагана долетело до этих людей, пронзило их, они затрепетали, и один запел священную песнь, другой испустил чудовищный вопль. Свое свидетельство титанического презрения Камброн бросает не только Европе от имени Империи, — этого было бы недостаточно, — он бросает его прошлому от имени революции. Его услышали, и в Камброне распознали душу гигантов былых времен. Казалось, будто снова заговорил Дантон или зарычал Клебер.

В ответ на слово Камброна голос англичанина скомандовал: «Огонь!» Сверкнули батареи, дрогнул холм, все эти медные пасти изрыгнули последний залп губительной картечи; заклубился густой дым, слегка посеребренный восходящей луной, и когда он рассеялся, все исчезло. Остатки грозного воинства были уничтожены, гвардия умерла. Четыре стены живого редута лежали недвижимо, лишь кое-где среди трупов можно было заметить последнюю судорогу агонии. Так погибли французские легионы, еще более вели-

кие, чем римские легионы. Они пали на плато Мон-Сен-Жан, на промокшей от дождя и крови земле, среди почерневших колосьев, на том месте, где ныне, в четыре часа утра, посвистывая и весело погоняя лошадь, проезжает Жозеф, кучер почтовой кареты, направляющейся в Нивель.

Глава 16
Quot libras in duce?[11]

Сражение при Ватерлоо — загадка. Оно одинаково непонятно и для тех, кто выиграл его, и для тех, кто его проиграл. Для Наполеона — это паника[12], Блюхер видит в нем лишь сплошную пальбу; Веллингтон ничего в нем не понимает. Просмотрите рапорты. Сводки туманны, пояснительные примечания сбивчивы. Одни запинаются, другие что-то невнятно лепечут. Жомини разделяет битву при Ватерлоо на четыре фазы; Мюфлинг расчленяет ее на три эпизода; один Шарас — хотя в оценке некоторых вещей мы с ним и расходимся — уловил своим острым взглядом характерные черты этой катастрофы, которую потерпел человеческий гений в борьбе со случайностью, предначертанной свыше. Все прочие историки как бы ослеплены, и, ослеплен-

---

[11] Примечания: 11
Какая цена полководцу? *(лат.)*

[12] Примечания: 12
«Оконченный бой, завершенный день, исправление ошибочных мер, огромный успех, обеспеченный назавтра, — все было потеряно из-за мгновения панического страха» (Наполеон. Мемуары, продиктованные на острове Св. Елены).

ные, они движутся ощупью. Действительно, то был день, подобный вспышке молнии, то была гибель военной монархии, увлекшей за собой, к великому изумлению королей, все королевства, то было крушение силы, поражение войны.

В этом событии, отмеченном высшей необходимостью, человек не играл никакой роли.

Разве отнять Ватерлоо у Веллингтона и Блюхера — значит, лишить чего-то Англию и Германию? Нет. Ни о прославленной Англии, ни о величественной Германии нет и речи при обсуждении проблемы Ватерлоо. Благодарение небу, величие народов не зависит от мрачных похождений меча и шпаги. Германия, Англия и Франция славны не силой оружия. В эпоху, когда Ватерлоо не более как бряцание сабель, в Германии над Блюхером возвышается Гете, а в Англии над Веллингтоном — Байрон. Нашему веку присуще широкое возникновение идей; в сияние этой утренней зари вливают свой сверкающий луч и Англия и Германия. Они полны величия, ибо они мыслят. Повышение уровня цивилизации является их прирожденным свойством, оно вытекает из их сущности и нисколько не зависит от случая. Возвышение их в девятнадцатом веке отнюдь не имело своим источником Ватерлоо. Лишь наро-

ды-варвары внезапно вырастают после победы. Так вздувается после грозы ненадолго поток. Цивилизованные народы, особенно в современную нам эпоху, не возвышаются и не падают из-за удачи или неудачи полководца. Их удельный вес среди рода человеческого является следствием чего-то более значительного, нежели сражение. Слава богу, их честь, их достоинство, их просвещенность, их гений не являются выигрышным билетом, на который герои и завоеватели — эти игроки — могут рассчитывать в лотереях сражений. Случается, что битва проиграна, а прогресс выиграл. Меньше славы, зато больше свободы. Умолкает дробь барабана, и возвышает свой голос разум. Это игра, в которой выигрывает тот, кто проиграл. Обсудим же хладнокровно Ватерлоо с двух точек зрения. Припишем случайности то, что было случайностью, и воле божьей то, что было волей божьей. Что такое Ватерлоо? Победа? Нет. Квинта в игре.

Выигрыш достался Европе, но оплатила его Франция.

Водружать там льва не стоило.

Впрочем, Ватерлоо — это одно из самых своеобразных столкновений в истории. Наполеон и Веллингтон. Это не враги — это противоположно-

сти. Никогда Бог, которому нравятся антитезы, не создавал контраста более захватывающего и очной ставки более необычайной. С одной стороны — точность, предусмотрительность, математический расчет, осторожность, обеспеченные пути отступления, сбереженные резервы, непоколебимое хладнокровие, невозмутимая методичность, стратегия, извлекающая выгоду из местности, тактика, согласующая действия батальонов, резня, строго соблюдающая предписанные правила, война, ведущаяся с часами в руках, никакого упования на случайность, старинное классическое мужество, безошибочность во всем; с другой — интуиция, провиденье, своеобразие военного мастерства, нечеловеческое чутье, блистающий взор, нечто, обладающее орлиной зоркостью и разящее подобно молнии, чудесное искусство в сочетании с высокомерной пылкостью, все тайны глубокой души, союз с роком, река, равнина, лес, холм, собранные воедино и словно принужденные к повиновению, деспот, доходящий до того, что подчиняет своей тирании даже поля брани, вера в свою звезду, соединенная с искусством стратегии, возвеличенным ею, но в то же время смущенным. Веллингтон — это Барем войны, Наполеон — ее Микеланджело; и на этот

раз гений был побежден расчетом.

Один и другой кого-то поджидали. И тот, кто рассчитал правильно, восторжествовал. Наполеон ждал Груши — тот не явился. Веллингтон ждал Блюхера — тот прибыл.

Веллингтон — это война классическая, мстящая за давний проигрыш. На заре своей военной карьеры Наполеон столкнулся с такой войной в Италии и одержал тогда блистательную победу. Старая сова спасовала перед молодым ястребом. Прежняя тактика была не только разбита наголову, но и посрамлена. Кто был этот двадцатишестилетний корсиканец, что представлял собой этот великолепный невежда, который, имея все против себя и ничего за себя, без провианта, без боевых припасов, без пушек, без обуви, почти без армии, с горстью людей против целых полчищ, обрушивался на все объединенные силы Европы и самым нелепым образом одерживал победы там, где это казалось совершенно невозможным? Откуда явился этот грозный безумец, который, почти не переводя дыхания и с теми же картами в руках, распылил одну за другой пять армий германского императора, опрокинув за Альвицем Больe, за Больe Вурмсера, за Вурмсером Меласа, за Меласом Макка? Кто был этот

новичок в боях, обладавший дерзкой самоуверенностью небесного светила? Академическая школа военного искусства отлучила его, доказав этим собственную несостоятельность. Вот откуда вытекает неукротимая злоба старого цезаризма против нового, злоба вымуштрованной сабли против огненного меча, злоба шахматной доски против гения. 18 июня 1815 года за этой упорной злобой осталось последнее слово, и под Лоди, Монтебелло, Монтенотом, Мантуей, Маренго и Арколем она начертала: «Ватерлоо». То был приятный большинству триумф посредственности. Судьба допустила эту иронию. На закате своей жизни и славы Наполеон снова встретился лицом к лицу с молодым Вурмсером.

Чтобы получить настоящего Вурмсера, было бы достаточно выбелить волосы Веллингтона.

Ватерлоо — это первостепенная битва, выигранная второстепенным полководцем.

Но кем следует восхищаться в сражении при Ватерлоо — это Англией, английской твердостью, английской решимостью, английским темпераментом. Самое великолепное, что было в этой битве, — это, не во гнев ей будь сказано, сама Англия. Не ее полководец, но ее армия.

Веллингтон с поразительной неблагодарно-

стью заявляет в своем письме к лорду Батгерсту, что его армия, армия, сражавшаяся 18 июня 1815 года, была «отвратительной армией». Что думает об этом мрачное скопище человеческих костей, зарытых на полях Ватерлоо?

Англия была слишком скромна по отношению к Веллингтону. Возвеличить подобным образом Веллингтона — это умалить Англию. Веллингтон такой же герой, как и прочие, не больше. Эти серые шотландцы, эти конные гвардейцы, эти полки Метленда и Митчела, эта пехота Пакка и Кемпта, эта кавалерия Понсонби и Сомерсета, эти горцы, играющие на волынке под картечью, эти батальоны Риландта, эти только что призванные новобранцы, едва умеющие владеть оружием, но давшие отпор испытанным рубакам Эслинга и Риволи, — вот кто велик. Веллингтон был стоек, в этом его заслуга, и мы этого не оспариваем; но самый незаметный из его пехотинцев и кавалеристов был не менее тверд, чем он. Железные солдаты стоили своего железного герцога. Что же касается нас, то все наши хвалы мы отдадим английскому солдату. Если кто и заслуживает памятника в честь победы, то это Англия. Было бы правильнее, если бы колонна Ватерлоо вместо фигуры одного человека возносила к облакам

статую, символизирующую народ.

Но наши слова возмутят эту великую Англию. Несмотря на свой 1688-й и наш 1789 годы, она все еще не утратила феодальных иллюзий. Она продолжает верить в право наследования и в иерархию. Этот народ, которого никто не превзошел в могуществе и славе, уважает себя как нацию, но не как народ. Как народ он добровольно подчиняется лорду, признавая его своим господином. Как рабочий он позволяет презирать себя; как солдат он позволяет бить себя палкой.

Припомним, что после сражения при Инкермане сержант, который, как известно, спас армию, не мог быть упомянут лордом Рагланом, ибо английская военная иерархия не позволяет вносить в рапорт имена героев, не имеющих офицерского чина.

Но что всего сильнее поражает нас в сражении при Ватерлоо — это изумительное искусство, проявленное случаем. Ночной дождь, стена в Гугомоне, оэнская дорога, Груши, не слыхавший пушечной пальбы, проводник, обманувший Наполеона, проводник, указавший правильный путь Бюлову, — все это стихийное бедствие было превосходно подготовлено и проведено.

В итоге, следует это отметить, в битве при Ва-

терлоо преобладала резня, а не бой.

Из всех битв, подготовленных согласно принятым правилам, Ватерлоо отличалось наименьшим протяжением фронта сравнительно с числом сражавшихся. У Наполеона три четверти мили, у Веллингтона полмили; по семьдесят две тысячи сражающихся с каждой стороны. Следствием этой тесноты и явилась резня.

Был сделан подсчет, и установлено следующее соотношение. Потеря людьми при Аустерлице: у французов четырнадцать процентов, у русских тридцать процентов, у австрийцев сорок четыре процента; при Ваграме: у французов тринадцать процентов, у австрийцев четырнадцать; под Москвой: у французов тридцать семь процентов, у русских сорок четыре; при Бауцене: у французов тринадцать процентов, у русских и пруссаков четырнадцать; при Ватерлоо: у французов пятьдесят шесть процентов, у союзников тридцать один. Общий итог потерь для Ватерлоо — сорок один процент. Сто сорок четыре тысячи сражавшихся; шестьдесят тысяч убитых.

Поле Ватерлоо ныне дышит тем покоем, который присущ земле — этой бесстрастной опоре человека, и оно похоже теперь на любую равнину.

Но по ночам встает над ней какой-то призрачный туман, и если там окажется какой-либо путник, если он вглядывается, если он вслушивается, если грезит, подобно Вергилию на мрачных Филиппских полях, то им овладевает галлюцинация, он словно присутствует при этой катастрофе. Перед ним вновь оживает страшное 18 июня: исчезает искусственный курган-памятник, пропадает лев, поле битвы вновь обретает свой настоящий облик; колышутся на равнине ряды пехоты, на горизонте стремительно проносится конница; потрясенный мечтатель видит сверкание сабель, блеск штыков, вспышки взрывающихся бомб, чудовищную перекличку громов; ему слышится хрипение в глубине могилы, смутный гул призрачной битвы. Вот эти тени — гренадеры; вон те мерцающие огоньки — кирасиры; этот скелет — Наполеон; тот скелет — Веллингтон. Все уже давно истлело, но продолжает сшибаться и бороться, и овраги обагряются кровью, и дрожат деревья, и до самых облаков вздымается неистовство битвы, и смутно возникают во мраке все эти зловещие высоты, Мон-Сен-Жан, Гугомон, Фришмон, Папелот и Плансенуа, покрытые роями истребляющих друг друга привидений.

Глава 17
Следует ли считать Ватерлоо событием положительным?

Существует весьма почтенная либеральная школа, которая отнюдь не осуждает Ватерлоо. Мы к ней не принадлежим. Для нас Ватерлоо — лишь поразительная дата рождения свободы. То, что из подобного яйца мог вылупиться подобный орел, было полной неожиданностью.

В сущности, Ватерлоо по замыслу должно было явиться победой контрреволюции. Это Европа — против Франции; Петербург, Берлин, Вена — против Парижа; это status quo[13] — против дерзанья; это штурм 14 июля 1789 года путем атаки 20 марта 1815 года; это сигнал к боевым действиям монархических держав против не поддающегося обузданию мятежного духа французов. Унять, наконец, этот великий народ, погасить этот вулкан, действующий уже двадцать шесть лет, — такова была мечта. Здесь проявилась солидарность Брауншвейгов, Нассау, Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов с Бурбонами. Ватерлоо несло на своем

---

[13] Примечания: 13
Существующее положение вещей, застой *(лат.).*

хребте «священное право». Правда, если Империя была деспотической, то королевская власть, в силу естественной реакции, должна была по необходимости стать либеральной, и невольным следствием Ватерлоо, к великому сожалению победителей, явился конституционный порядок. Ведь революция не может быть побеждена до конца; будучи предопределенной и совершенно неизбежной, она возникает снова и снова: до Ватерлоо — в лице Бонапарта, опрокидывающего старые троны, а после Ватерлоо — в лице Людовика XVIII, дарующего хартию и подчиняющегося ей. Бонапарт сажает на неаполитанский престол форейтора, а на шведский — сержанта, используя неравенство для доказательства равенства; Людовик XVIII подписывает в Сент-Уэне декларацию прав человека. Если вы желаете уяснить себе, что такое революция, назовите ее Прогрессом; а если вы желаете уяснить себе, что такое прогресс, назовите его Завтра. Это Завтра неотвратимо творит свое дело и начинает его с сегодняшнего дня. Пусть самым необыкновенным образом, но оно всегда достигает своей цели. Это Завтра, пользуясь Веллингтоном, делает из Фуа, бывшего всего только солдатом, — оратора. Фуа повержен наземь у Гугомона — и вновь поднимается на

трибуне. Так действует прогресс. Для этого рабочего не существует негодных инструментов. Не смущаясь, он приспосабливает для божественной своей работы и человека, перешагнувшего через Альпы, и немощного старца, нетвердо стоящего на ногах, исцеленного ветхозаветным Елисеем. Он пользуется подагриком, равно как и завоевателем: завоевателем вовне, подагриком — внутри государства. Ватерлоо, одним ударом покончив с мечом, разрушающим европейские троны, имело следствием лишь то, что дело революции перешло в другие руки. Воины кончили свое дело, наступила очередь мыслителей. Тот век, движение которого Ватерлоо стремилось остановить, перешагнул через него и продолжал свой путь. Эта мрачная победа была в свою очередь побеждена свободой.

Одним словом, бесспорно лишь одно: все, что торжествовало при Ватерлоо, все, что весело ухмылялось за спиной Веллингтона, что поднесло ему маршальские жезлы всей Европы, включая, как говорят, и маршальский жезл Франции, что радостно катило полные тачки земли, смешанной с костями убитых, чтобы воздвигнуть холм для льва, и победно начертало на этом пьедестале «18 июня 1815 года», все, что поощряло Блюхера

рубить саблями отступающих, что с высоты плато Мон-Сен-Жан наклонялось над Францией, словно над своей добычей, — все это было контрреволюцией, бормочущей гнусное слово: «расчленение». Прибыв в Париж, контрреволюция увидела кратер вблизи, она почувствовала, что пепел жжет ей ноги, и тогда она одумалась. Она вновь обратилась к косноязычному лепету хартии.

Будем же видеть в Ватерлоо лишь то, что есть в Ватерлоо. Завоевание свободы отнюдь не было преднамеренной его целью. Контрреволюция была поневоле либеральной, так же как Наполеон благодаря сходному феномену был поневоле революционером. 18 июня 1815 года этот новый Робеспьер был выбит из седла.

Глава 18
Восстановление священного права

Конец диктатуре. Вся европейская система рухнула.

Империя погрузилась во тьму, подобную той, в которой исчез гибнущий античный мир. Можно восстать даже из бездны, как это бывало в варварские времена. Но только у варварства 1815 года, уменьшительное название которого — контрреволюция, не хватило дыхания, оно быстро запыхалось и остановилось. Надо сказать, что Империю оплакивали, и оплакивали герои. Если слава заключается в мече, превращенном в скипетр, то Империя была сама слава. Она распространила по земле весь свет, на какой только способна тирания; но то был мрачный свет. Скажем больше: черный свет. В сравнении с днем — это ночь. Но когда эта ночь исчезла, казалось, наступило затмение.

Людовик XVIII вернулся в Париж. Хороводы 8 июля изгладили из памяти восторги 20 марта. Корсиканец стал антитезой Беарнца. Над куполом Тюильри взвился белый флаг. Настало царство

изгнанников. Еловый стол из Гартвелла занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. Так как Аустерлиц устарел, стали говорить о Бувине и Фонтенуа, словно эти победы были только вчера одержаны. Трон и алтарь торжественно вступили в братский союз. Одна из самых общепризнанных в девятнадцатом веке форм общественного благоденствия водворилась во Франции и на континенте. Европа надела белую кокарду. Трестальон прославился. Девиз non pluribus impar[14] вновь появился в ореоле лучей, высеченных из камня, на фасаде казармы Орсейской набережной, изображая солнце. Там, где прежде помещалась императорская гвардия, теперь разместились мушкетеры. Сбитая с толку всеми этими новшествами, триумфальная арка на Карусельной площади, сплошь уставленная словно занемогшими изображениями побед, быть может, даже испытывая некоторый стыд перед Маренго и Арколем, выпуталась из положения с помощью статуи герцога Ангулемского.

Кладбище Мадлен, страшная братская могила 93-го года, украсилось мрамором и яшмой, ибо с его землей был смешан прах Людовика XVI и

---

[14] Примечания: 14
Превыше всего *(лат.)* — девиз «Короля Солнца», Людовика XIV.

Марии-Антуанетты. В Венсенском рву поднялась из глубины надгробная колонна с усеченным верхом, напоминающая о том, что герцог Энгиенский умер в тот самый месяц, когда был коронован Наполеон. Папа Пий VII, совершивший это помазание на царство незадолго до этой смерти, благословил падение с тем же спокойствием, с каким благословил возвышение. В Шенбрунне появился маленький четырехлетний призрак, именовать которого Римским королем считалось государственным преступлением. И все это свершилось, и все короли снова заняли свои места, и властелин Европы был заточен в тюрьму, и старая форма правления была заменена новой, и все, что было светом, и все, что было мраком на земле, переместилось, потому что однажды летом, после полудня, пастух сказал в лесу прусаку: «Пройдите здесь, а не там».

Этот 1815 год походил на хмурый апрель. Старая, ядовитая и нездоровая действительность приняла вид весеннего обновления. Ложь сочеталась браком с 1789 годом, «священное право» замаскировалось хартией, то, что было фикцией, прикинулось конституцией, предрассудки, суеверия и тайные умыслы, уповая на 14-ю статью, перекрасились и покрылись лаком либерализма.

Так змеи меняют кожу.

Наполеон одновременно и возвысил и унизил человека. Во время этого блистательного владычества материи идеал получил странное название идеологии. Какая неосторожность со стороны великого человека отдать на посмеяние будущее! А между тем народ — это пушечное мясо, так влюбленное в своего канонира, — искал его глазами. Где он? Что он делает? «Наполеон умер», — сказал один прохожий инвалиду, участнику Маренго и Ватерлоо. «Это он — да умер? — воскликнул солдат. — Много вы знаете!» Народное воображение обожествляло этого поверженного во прах героя. Фон Европы после Ватерлоо стал мрачен. С исчезновением Наполеона долгое время ощущалась какая-то огромная, зияющая пустота.

И в эту пустоту, как в зеркало, гляделись короли. Старая Европа воспользовалась ею для своего преобразования. Возник Священный союз. «Прекрасный союз!» — как было заранее предсказано роковым полем Ватерлоо[15].

Перед лицом этой старинной преобразованной

---

[15] Примечания: 15

Sainte Alliance — Священный союз; «Belle Alliance» («Бель Альянс») — «Прекрасный союз» — название постоялого двора и холма, места третьей стоянки Наполеона в битве при Ватерлоо.

Европы наметились очертания новой Франции. Будущее, осмеянное императором, вступило в свои права. На челе его сияла звезда — Свобода. Молодое поколение обратило к нему свой восторженный взор. Странное явление: увлекались одновременно и этим будущим — Свободой, и этим прошедшим — Наполеоном. Поражение возвеличило пораженного. Бонапарт в падении казался выше Наполеона в славе. Те, кто торжествовал победу, ощутили страх. Англия приказала сторожить Бонапарта Гудсону Лоу, а Франция поручила следить за ним Моншеню. Его спокойно скрещенные на груди руки внушали тревогу тронам. Александр прозвал его: «моя бессонница». Страх этот внушало им то, что было в нем от революции. Именно в этом находит свое объяснение и оправдание бонапартистский либерализм. Этот призрак заставлял трепетать старый мир. Королям не любо было и царствовать, когда на горизонте маячила скала Св. Елены.

Пока Наполеон томился в Лонгвуде, шестьдесят тысяч человек, павших на поле Ватерлоо, мирно истлевали в земле, и что-то от их покоя передалось всему миру. Венский конгресс, пользуясь этим, создал трактаты 1815 года, и Европа назвала это Реставрацией.

Вот что такое Ватерлоо.

Но какое дело до него вечности? Весь этот ураган, вся эта туча, эта война, затем этот мир, весь этот мрак ни на мгновение не затмили сияния того великого ока, перед которым травяная тля, переползающая с одной былинки на другую, равна орлу, перелетающему с башни на башню Собора Парижской богоматери.

Глава 19
Поле битвы ночью

Вернемся — этого требует наша книга — на роковое поле битвы.

18 июня 1815 года было полнолуние. Светлая ночь благоприятствовала яростной погоне Блюхера, она выдавала следы беглецов и, предавая злосчастные войска во власть озверевшей прусской кавалерии, помогала резне. В бедствиях можно проследить иногда это ужасное сообщничество ночи.

Когда последний пушечный залп умолк, равнина Мон-Сен-Жан опустела.

Англичане заняли лагерную стоянку французов; ночевать в лагере побежденного — обычай победителя. Свой бивуак они разбили по ту сторону Россома. Пруссаки, увлекшись преследованием, ушли дальше. Веллингтон направился в деревню Ватерлоо составлять рапорт лорду Батгерсту.

Изречение «Sic vos non vobis»[16] как нельзя

---

[16] Примечания: 16

«Так вы не для себя» *(лат.)* — начало стиха, который приписывался Вергилию.

более удачно применимо к деревушке Ватерлоо. Там не происходило никакого сражения; деревня расположена на расстоянии полумили от поля битвы. Мон-Сен-Жан был обстрелян из пушек, Гугомон сожжен, Папелот сожжен, Плансенуа сожжено, Ге-Сент взят приступом. Бель-Альянс был свидетелем дружеского объятия двух победителей; однако названия всех этих мест смутно удержались в памяти, а на долю Ватерлоо, стоявшего в стороне, достались все лавры.

Мы не принадлежим к числу поклонников войны. При случае мы всегда говорим ей правду в глаза. Есть у войны своя устрашающая красота, о которой мы не умалчиваем, но есть у нее, признаемся в том, и свое уродство. Одна из самых невероятных его форм — это поспешное ограбление мертвых вслед за победой. Утренняя заря, занимающаяся после битвы, освещает обычно обнаженные трупы.

Кто совершает это? Кто подобным образом порочит торжество победы? Чья подлая рука украдкой скользит в ее карман? Кто те мошенники, которые обделывают свои делишки за спиною славы? Некоторые философы, в том числе и Вольтер, утверждали, будто ими являются сами же творцы славы. Это все те же солдаты, говорят

они, и никто другой; оставшиеся в живых грабят мертвых. Днем — герой, ночью — вампир. Они, мол, имеют некоторое право слегка обшарить того, кого собственной рукой превратили в труп. Мы держимся иного мнения. Пожинать лавры и стаскивать башмаки с мертвецов — на это неспособна одна и та же рука.

Достоверно лишь то, что вслед за победителями всегда крадутся грабители. Однако солдаты к этому непричастны, и особенно солдаты современные.

За каждой армией тянется хвост, и вот где следует искать виновников. Существа, родственные летучим мышам, полуразбойники, полулакеи, все разновидности нетопырей, возникающие в тех сумерках, которые именуются войной, люди, облаченные в военные мундиры, но никогда не сражавшиеся, мнимые больные, злобные калеки, подозрительные маркитанты, разъезжающие в тележках, иногда даже со своими женами, и ворующие то, что сами продали, нищие, предлагающие себя офицерам в проводники, обозная прислуга, мародеры — весь этот сброд волочился во время похода вслед за армией прежнего времени (мы не имеем в виду армию современную) и даже получил на специальном языке кличку

«ползунов». Никакая армия и никакая нация не ответственны за них. Они говорили по-итальянски — и следовали за немцами; говорили по-французски — и следовали за англичанами. Именно один из таких подлецов, испанский «ползун», болтавший по-французски натарабарско-пикарском наречии, и обманул маркиза де Фервака, полагавшего, что это француз. Маркиз был убит и ограблен на самом поле битвы при Серизоле в ночь после победы. Узаконенный грабеж породил грабителя. Следствием отвратительного принципа: «жить на счет врага» — явилась язва, исцелить которую могла лишь суровая дисциплина. Существуют обманчивые репутации; порой трудно понять, чему приписать необыкновенную популярность иных полководцев, хотя бы и великих. Тюренн был любим своими солдатами за то, что допускал грабеж; дозволенное зло является одним из проявлений доброты; Тюренн был настолько добр, что разрешил предать Палатинат огню и мечу. Количество присосавшихся к армии мародеров зависело от большей или меньшей строгости главнокомандующего. В армиях Гоша и Марсо «ползунов» совсем не было; следует отдать справедливость Веллингтону, что и в его армии их было мало.

Тем не менее в ночь с 18 на 19 июня мертвецов раздевали. Веллингтон был суров; он издал приказ беспощадно расстреливать каждого, кто будет пойман на месте преступления. Но привычка грабить пускает глубокие корни. Мародеры воровали на одном конце поля, в то время как на другом их расстреливали.

Зловеще светила луна над этой равниной.

Около полуночи какой-то человек брел, вернее, полз по направлению к оэнской дороге. Это был, по-видимому, один из тех, о которых мы только что говорили: не француз, не англичанин, не солдат, не землепашец, не человек, а вурдалак, привлеченный запахом мертвечины и пришедший обобрать Ватерлоо, понимая победу как грабеж.

На нем была блуза, смахивающая на солдатскую шинель, он был труслив и дерзок, он продвигался вперед, но то и дело оглядывался назад. Кто же был этот человек? Вероятно, ночь знала о нем больше, чем день. Мешка при нем не было, очевидно, его заменяли вместительные карманы шинели. От времени до времени он останавливался, оглядывал поле, словно желая убедиться в том, что за ним не следят, быстро нагибался, ворошил на земле что-то безмолвное

и неподвижное, затем выпрямлялся и незаметно уходил. Его скользящая походка, его позы, его быстрые и таинственные движения придавали ему сходство с теми злыми духами ночи, которые водятся среди развалин и которых древние нормандские предания окрестили «шатунами».

Иные голенастые ночные птицы такими же силуэтами вырисовываются на фоне болот.

Внимательно вглядевшись в окружающий туман, можно было заметить на некотором расстоянии неподвижную и как бы спрятанную за лачугой, стоящей у нивельского шоссе, на повороте дороги из Мон-Сен-Жан в Брен-л'Алле, небольшую повозку маркитанта, с верхом, крытым просмоленными прутьями ивняка. В повозку впряжена была тощая кляча, щипавшая через удила крапиву. Внутри фургона на ящиках и узлах сидела какая-то женщина. Быть может, существовала какая-то связь между этой повозкой и этим бродягой.

Ночь была ясная. Ни облачка в вышине. Пусть обагренная кровью лежала внизу земля, луна все так же отливала серебром. В этом проявлялось безучастие неба. В лугах ветви деревьев, подбитые картечью, но удерживаемые корой от падения, тихо покачивались на ночном ветру.

Легкое дуновение, почти дыхание, шевелило густые кустарники. По траве пробегала зыбь, словно последнее содрогание отлетающих душ.

Издали смутно доносились шаги ходивших взад и вперед патрулей да оклики дозорных в лагере англичан.

Гугомон и Ге-Сент все еще пылали, образуя на западе и на востоке два ярких зарева, связанных между собою цепью сторожевых огней английского лагеря, растянувшейся по холмам громадным полукругом на горизонте, напоминая развернутое рубиновое ожерелье с двумя карбункулами на концах.

Мы уже говорили о бедствии на оэнской дороге. При одной мысли о том, сколько храбрецов там погибло и какою смертью, сердце содрогается от ужаса.

Если существует на свете что-либо ужасное, если есть действительность, превосходящая самый страшный сон, то это: жить, видеть солнце, быть в расцвете сил, быть здоровым и радостным, смеяться над опасностью, лететь навстречу ослепительной славе, которую видишь впереди, ощущать, как дышат легкие, как бьется сердце, как послушна разуму воля, говорить, думать, надеяться, любить, иметь мать, иметь жену,

иметь детей, обладать знаниями, — и вдруг, даже не вскрикнув, в мгновение ока рухнуть в бездну, свалиться, скатиться, раздавить кого-то, быть раздавленным, видеть хлебные колосья над собой, цветы, листву, ветви и быть не в силах удержаться за что-нибудь, сознавать, что сабля твоя бесполезна, ощущать под собой людей, над собой лошадей, тщетно бороться, чувствовать, как, брыкаясь, лошадь в темноте ломает тебе кости, как в глаз тебе вонзается чей-то каблук, яростно хватать зубами лошадиные подковы, задыхаться, реветь, корчиться, лежать внизу и думать: «Ведь только что я еще жил!»

Там, где во время этого ужасного бедствия раздавались хрипение и стоны, теперь царила тишина. Дорога в ложбине была доверху забита трупами лошадей и всадников. Жуткое зрелище! Откосы исчезли. Трупы сравняли дорогу с полем и лежали в уровень с краями ложбины, как плотно утрясенный четверик ячменя. Груда мертвецов на более возвышенной части, река крови в низменной — такова была эта дорога вечером 18 июня 1815 года. Кровь текла даже через нивельское шоссе, образуя огромную лужу перед засекой, преграждавшей шоссе в том месте, на которое до сей поры обращают внимание путе-

шественников. Как помнит читатель, кирасиры обрушились в овраг оэнской дороги с противоположной этому месту стороны — со стороны женапского шоссе. Количество трупов на дороге зависело от большей или меньшей ее глубины. Около середины, где дорога становилась ровной и где прошла дивизия Делора, слой мертвых тел был тоньше.

Ночной бродяга, виденный нами мельком, шел в этом направлении. Он рылся в этой огромной могиле. Он разглядывал ее. Он делал какой-то отвратительный смотр этим мертвецам. Он шагал по крови.

Вдруг он остановился.

В нескольких шагах от него, на дороге, там, где кончалось нагромождение трупов, из-под груды лошадиных и людских останков выступала рука, освещенная луной.

На одном из пальцев этой руки что-то блестело; то был золотой перстень.

Бродяга нагнулся, присел на мгновение на корточки, а когда встал, то перстня на пальце уже не было.

Собственно, он не встал, а остался на коленях, в неловкой и испуганной позе, спиной к мертвецам, всматриваясь в даль, всей тяжестью тела

навалившись на пальцы, которыми упирался в землю, настороженный, с приподнятой над краем рва головой. Повадки шакала вполне уместны при свершении некоторых действий.

Затем он выпрямился, но тут же подскочил на месте. Он почувствовал, как кто-то ухватил его сзади. Он оглянулся. Вытянутые пальцы руки сжались, вцепившись в полу его шинели.

Честный человек испугался бы, а этот ухмыльнулся.

— Гляди-ка! — сказал он. — Это, оказывается, покойничек! Ну, мне куда милее выходец с того света, чем жандарм.

Рука между тем ослабела и выпустила его. Усилие не может быть длительным в могиле.

— Вон оно что! — пробормотал бродяга. — Мертвец-то жив! Ну-ка, посмотрим!

Он снова наклонился, разбросал кучу, отвалил то, что мешало, ухватился заруку, высвободил голову, вытащил тело и спустя несколько минут поволок во тьме дороги если не бездыханного, то, во всяком случае, потерявшего сознание человека. Это был кирасир, офицер и даже, как видно, в высоком чине: из-под кирасы виднелся толстый золотой эполет; каски на нем не было. Глубокая рана от удара саблей пересекала лицо, залитое

кровью. Впрочем, руки и ноги, по-видимому, у него остались целы благодаря тому, что по какой-то счастливой, если это слово употребимо здесь, случайности мертвецы образовали над ним что-то вроде свода, предохранившего его от участи быть раздавленным. Глаза его были сомкнуты.

На кирасе у него висел серебряный крест Почетного легиона.

Бродяга сорвал этот крест, исчезнувший тут же в одном из глубоких тайников его шинели.

Затем он нащупал карман для часов, обнаружил часы и взял их. Потом обшарил жилетные карманы, нашел кошелек и присвоил его себе.

Когда его старания помочь умирающему достигли этой стадии, офицер внезапно открыл глаза.

— Спасибо, — пробормотал он слабым голосом.

Резкость движений прикасавшегося к нему человека, ночная прохлада, свободно вдыхаемый свежий воздух вернули ему сознание.

Бродяга ничего не ответил. Он насторожился. В отдалении послышался шум шагов: вероятно, приближался какой-нибудь патруль.

— Кто выиграл сражение? — чуть слышным от смертельной слабости голосом спросил офицер.

— Англичане, — ответил грабитель.

Офицер продолжал:

— Поищите в моих карманах. Вы найдете там часы и кошелек. Возьмите их себе.

Это было уже сделано.

Однако бродяга сделал вид, что ищет, потом ответил:

— Карманы пусты.

— Меня ограбили, — сказал офицер, — жаль. Это досталось бы вам.

Шаги патрульных слышались все отчетливее.

— Кто-то идет, — прошептал бродяга, собираясь встать.

Офицер, с трудом приподняв руку, удержал его:

— Вы спасли мне жизнь. Кто вы?

Грабитель быстро, шепотом, ответил:

— Я, как и вы, служу во французской армии. Сейчас я должен вас оставить. Если меня здесь схватят, я буду расстрелян. Я спас вам жизнь. Теперь сами выпутывайтесь из беды, как знаете.

— В каком вы чине?

— Сержант.

— Ваша фамилия?

— Тенардье.

— Я не забуду ее, — сказал офицер. — А вы запомните мою. Моя фамилия Понмерси.

Книга вторая
Корабль «Орион»

Глава 1
Номер 24601 становится номером 9430

Жан Вальжан был опять арестован.

Читатель не посетует, если мы не станем задерживаться на печальных подробностях этого события. Мы ограничимся лишь тем, что приведем здесь две краткие заметки, опубликованные газетами того времени несколько месяцев спустя после поразительного происшествия в Монрейле-Приморском.

Эти заметки несколько кратки, но не следует забывать, что в то время еще не существовало «Судебной газеты».

Первую заметку мы заимствуем из газеты «Белое знамя». Она датирована 25 июля 1823 года:

«Один из округов Па-де-Кале явился ареной довольно необычайного происшествия. Неизвестно откуда появившийся человек по имени Мадлен несколько лет тому назад благодаря новым способам производства возобновил старинный местный промысел — выделку искусственного гагата и мелких изделий из черного стекла. На этом он нажил значительное состояние и, не

будем скрывать, обогатил одновременно округ. В благодарность за его заслуги его избрали мэром. Полиция обнаружила, что Мадлен был не кто иной, как нарушивший распоряжение о месте жительства бывший каторжник, приговоренный в 1796 году за кражу, по имени Жан Вальжан. Жан Вальжан был снова заключен в острог. По-видимому, до своего ареста ему удалось получить в банкирской конторе г-на Лафита свой вклад, превышавший полмиллиона, который он нажил, впрочем, как говорят, вполне законно, из доходов от своего производства. Узнать, куда спрятал он эти деньги, после того как его отправили на галеры в Тулон, установить не удалось».

Вторая заметка, несколько более подробная, взята из «Парижской газеты» от того же числа:

«Отбывший срок и освобожденный каторжник по имени Жан Вальжан предстал перед уголовным судом Вара при обстоятельствах, заслуживающих внимания. Этому негодяю удалось обмануть бдительность полиции; он переменил свое имя и добился того, что его избрали мэром одного из наших северных городков. В этом городе он открыл довольно крупное предприятие. Но в конце концов он был разоблачен и задержан благодаря неутомимому усердию прокурорско-

го надзора. Он сожительствовал с публичной женщиной, которая в момент его ареста от потрясения скончалась. Этот негодяй, обладающий геркулесовской силой, нашел способ бежать, но спустя три-четыре дня полиция вновь задержала его, уже в Париже, в тот момент, когда он садился в один из небольших дилижансов, курсирующих между деревней Монфермейль (округ Сены и Уазы) и столицей. Говорят, что он воспользовался этими тремя-четырьмя днями свободы и вынул значительную сумму денег, помещенную им у одного из наших виднейших банкиров. Эту сумму исчисляют в шестьсот-семьсот тысяч франков. Согласно обвинительному акту, он запрятал эти деньги в таком месте, которое было известно лишь ему одному, и захватить деньги не удалось. Как бы там ни было, вышеупомянутый Жан Вальжан был доставлен в уголовный суд Барского округа, где ему было предъявлено обвинение в вооруженном нападении на большой дороге, около восьми лет тому назад, на одного из тех славных малых, которые, как говорит в своих бессмертных строках фернейский патриарх, —

Приходят из Савойи каждый год
И сажею забитый дымоход

Искусно в вашем доме прочищают.

Этот бандит отказался от защиты. В мастерски построенном и красноречивом выступлении государственного прокурора было установлено, что кража совершена при содействии сообщников и что Жан Вальжан является членом воровской шайки, орудующей на юге. На основании этого Жан Вальжан был признан виновным и приговорен к смертной казни. Преступник отказался подать кассационную жалобу. Король, в бесконечном милосердии своем, пожелал смягчить наказание, заменив смертную казнь бессрочной каторгой. Жан Вальжан был тотчас же направлен в Тулон на галеры».

Еще не было забыто, что у Жана Вальжана в Монрейле-Приморском существовали связи с духовными лицами. Некоторые газеты, и среди них «Конституционалист», изобразили это смягчение приговора как торжество партии духовенства.

Жан Вальжан переменил на каторге номер. Он стал зваться номером 9430.

Чтобы уже более не возвращаться к этому вопросу, заметим, однако, что вместе с господином Мадленом из Монрейля-Приморского исчезло и благосостояние города. Во всяком случае, все

то, что предвидел он в тревожную, полную сомнений ночь, сбылось; не стало его, не стало и души города. После его падения в Монрейле начался тот жестокий дележ, неизбежный при жизненном крушении выдающегося человека, тот роковой распад процветающих дел, который ежедневно втихомолку совершается в обществе и который история заметила только однажды, ибо произошел он после смерти Александра Великого. Лейтенанты возводят себя в сан королей; подмастерья объявляют себя хозяевами. Возникли зависть и соперничество. Обширные мастерские г-на Мадлена были закрыты, строения превратились в руины, рабочие разбрелись. Одни оставили страну, другие оставили ремесло. Отныне все начало делаться в малых, а не в больших масштабах; для наживы, но не для всеобщего блага. Связующее начало исчезло; всюду возникли конкуренция и ожесточение. Г-н Мадлен стоял во главе всего и всем управлял. Он пал — и каждый принялся тянуть в свою сторону. Дух созидания сразу сменился духом борьбы, сердечность — черствостью, благожелательное ко всем отношение организатора — взаимной ненавистью. Нити, завязанные г-ном Мадленом, спутались и порвались, способ производства

подменили, продукцию обесценили, доверие убили; с уменьшением заказов снизился и сбыт, заработок рабочих упал, мастерские остановились, наступило разорение. И ничего больше не делалось для бедных. Исчезло все.

Само государство заметило, что где-то кого-то не стало. Менее чем через четыре года после приговора уголовного суда, который засвидетельствовал в интересах каторжных тюрем тождество г-на Мадлена с Жаном Вальжаном, издержки по взиманию налогов в округе Монрейля-Приморского удвоились, и г-н де Виллель сделал об этом публичное заявление в феврале 1827 года.

Глава 2,
В которой прочтут двустишие, сочиненное, быть может, дьяволом

Прежде чем продолжить нашу повесть, будет кстати рассказать с некоторыми подробностями об одном странном случае, происшедшем в Монфермейле приблизительно в то же время и, быть может, подтверждающем некоторые предположения государственного прокурора.

В окрестностях Монфермейля сохранилось старинное поверье, тем более примечательное и любопытное, что народное поверье в такой непосредственной близости от Парижа — это то же, что алоэ в Сибири. Мы принадлежим к числу тех, кто почитает все, что можно рассматривать как редкое растение. Вот оно, это монфер-мейльское поверье. Дьявол с незапамятных времен избрал монфермейльский лес местом, где он укрывал свои сокровища. Кумушки утверждали, будто не диво встретить здесь в сумерки, в глуши леса, черного человека, в сабо, в холщовых шароварах и блузе, похожего не то на ломового извозчика, не то на дровосека. Приметен он тем, что на голове у

него вместо колпака или шляпы — огромные рога. Это действительно важная примета. Обычно этот человек занят тем, что роет яму. Существуют три способа извлечь выгоду из этой встречи. Первый — приблизиться к нему и заговорить с ним. Тогда ты замечаешь, что этот человек — обыкновенный крестьянин, что черным он кажется от сгустившихся сумерек, что никакой ямы он не роет, а косит траву для своих коров; то же, что принимают за его рога, — просто-напросто торчащие у него за спиной навозные вилы, зубья которых в измененной вечерним освещением перспективе кажутся рогами на его голове. Ты возвращаешься домой и умираешь в течение недели. Второй способ — наблюдать за ним, дождаться, когда он выроет яму, опять засыплет ее и уйдет; тогда надо быстро подбежать к ней, разрыть и овладеть «сокровищем», которое туда, без сомнения, спрятал черный человек. В этом случае ты уже умрешь в течение месяца. Наконец, третий способ — совсем не заговаривать с черным человеком, не глядеть на него, а убежать со всех ног. Тогда ты проживешь до года.

Поскольку все три способа равно имеют свои неудобства, то второй представляет по крайней мере то преимущество, что, правда, всего лишь

на месяц, но ты овладеешь сокровищем, и потому этот способ считается предпочтительным. Смельчаки, которые всюду пытают удачу, нередко, как уверяют люди, раскапывали ямы, вырытые черным человеком, и пробовали обокрасть дьявола. По-видимому, результаты подобных действий оказывались весьма скромными, если доверять преданию и особенно двум загадочным стихам на варварской латыни, которые по этому поводу сочинил зловредный нормандский монах по имени Трифон, кое-что смекавший в колдовстве. Этот Трифон погребен в аббатстве Сен-Жермен в Бошервиле, близ Руана, и на его могиле родятся жабы.

Итак, приходится затрачивать огромные усилия, ибо эти ямы обычно очень глубоки; потеешь, роешь, трудишься целую ночь (потому что это делается именно ночью), рубаха вся взмокнет, свеча сгорит, мотыга зазубрится, и когда, наконец, докопаешься до дна ямы, когда «сокровище» — твое, что же ты находишь? Что представляет собой это сокровище дьявола? Иногда су, иногда экю или камень, а то скелет или окровавленный труп; порой это привидение, сложенное вчетверо, как лист бумаги, лежащий в бумажнике, а бывает и так, что вообще ничего не находишь. Вот обо всем

этом, по-видимому, и сообщают нескромным и любопытным людям стихи Трифона:

Fodit, et in fossa thesauros condit opaca

As, nummos, lapides, cadaver, simulacra, nihilque[17].

Как будто и доныне там находят то пороховницу с пулями, то старую засаленную и порыжевшую колоду карт, которой, несомненно, играл сам дьявол. О последних двух находках Трифон не упоминает ни слова, но следует принять во внимание, что Трифон жил в двенадцатом веке и что вряд ли у дьявола хватило бы ума изобрести порох до Роджера Бэкона, а карты — до Карла VI.

Впрочем, тот, кто будет играть в эти карты, может быть уверен, что он проиграется в пух и в прах; что же касается пороха из пороховницы, то он обладает свойством взрывать ружья вам в лицо.

Так вот, вскоре после того как прокурорскому надзору показалось, что бывший каторжник Жан Вальжан во время своего кратковременного побега бродил вблизи Монфермейля, люди в этой самой деревушке заметили, что один старый шос-

[17] Примечания: 17

Он копает яму и прячет в этот тайник сокровища: деньги, монеты, камни, трупы, призраки и ничто *(лат.)*.

сейный рабочий, по прозвищу Башка, частенько «делает вылазки» в лес. В той местности ходили слухи, будто Башка был когда-то на каторге; он состоял под наблюдением полиции, и так как он нигде не находил себе работы, то администрация нанимала его за пониженную плату на починку шоссейной дороги между Ганьи и Ланьи.

На этого Башку все местные жители поглядывали косо. Он был слишком почтительный, слишком смиренный, перед каждым ломал шапку, трепетал перед жандармами и заискивающе им улыбался. Поговаривали, что он, видимо, связан с разбойничьей шайкой, его подозревали и в том, что он с наступлением темноты устраивает засады в кустах. В его пользу говорило лишь то, что он был пьяницей.

А заметили за ним вот что.

С некоторых пор Башка очень рано кончал настилку щебня и починку дороги и уходил в лес со своей киркой. Его встречали под вечер на самых пустынных лужайках, в самой дикой лесной чаще, где он как будто что-то искал, а иногда рыл ямы. Проходившие мимо кумушки принимали его с первого взгляда за Вельзевула, а потом хоть и узнавали Башку, но это отнюдь не успокаивало их. Такие встречи, казалось, сильно раздражали

его. Не было сомнений, что он избегал чужих глаз и что в его поступках кроется какая-то тайна.

В деревне говорили: «Ясно, как божий день, что где-то появился дьявол. Башка видел его и теперь разыскивает. По правде сказать, у него хватит смекалки заграбастать кубышку Люцифера». А вольнодумцы добавляли: «Еще посмотрим, кто кого надует: Башка сатану или сатана Башку». Старухи при этом усиленно крестились.

Однако блуждания Башки по лесу кончились, он вернулся к своей обычной работе на шоссе. Люди стали судачить о другом.

Все же некоторые продолжали любопытствовать, полагая, что за этим, вероятно, что-то кроется, — отнюдь не баснословные сокровища, упоминаемые в легенде, но какая-нибудь неожиданная находка, более основательная и осязаемая, чем банковые билеты дьявола, и что в какой-то степени тайну ее этот шоссейный рабочий несомненно узнал. Больше всех заинтересованы были школьный учитель и трактирщик Тенардье, друживший с кем попало и не погнушавшийся сблизиться с Башкой.

— Правда, он был на каторге, — говорил Тенардье. — Но, господи боже мой, никогда нельзя знать, кто там сейчас и кому там быть суждено!

Однажды вечером школьный учитель заявил, что в былое время правосудие занялось бы вопросом о том, что делал Башка в лесу, и, конечно, принудило бы его заговорить, а в случае необходимости подвергло бы его пытке водой.

— Подвергнем его пытке вином, — сообразил Тенардье.

Приложили все старания и заставили старого бродягу пить. Башка выпил очень много, но сказал очень мало. С изумительным искусством и в точной пропорции он сумел сочетать жажду пропойцы со сдержанностью судьи. Все же, упорно возвращаясь к интересующему их предмету, а также соединяя и сопоставляя некоторые вырвавшиеся у него туманные слова, Тенардье и школьный учитель представили себе следующую картину.

Однажды Башка, отправившись рано утром на работу, очень удивился, заметив в лесу под кустом лопату и кирку, «вроде как припрятанные». Но он решил, что эта лопата и кирка принадлежат водовозу, дядюшке Шестипечному, и на этом успокоился было. Однако вечером того же дня, притаившись за большим деревом так, что сам не мог быть никем замечен, он увидел, как по дороге, ведущей в лесную глубь, шел «один

человек, не из местных жителей, которого он, Башка, прекрасно знал». В переводе Тенардье это означало: *товарищ по каторге*. Башка наотрез отказался назвать его имя. Этот его знакомец нес какой-то сверток четырехугольной формы, вроде большой коробки или маленького сундучка. Башка удивился. Однако только спустя семь-восемь минут ему пришло на ум последовать за «знакомцем». Но было уже поздно, тот скрылся в лесной чаще, тьма сгустилась, и Башка не мог бы догнать его. Тогда он решил наблюдать за лесной опушкой. «Ночь была месячная». Спустя два или три часа Башка заметил, как тот человек выходил из кустарников, неся с собой уже не сундучок, а кирку и лопату. Башка дал ему возможность удалиться, не подумав даже заговорить с ним, ибо знал, что тот втрое сильнее его, вооружен киркой и, конечно, убьет его, если припомнит и если увидит, что и его самого узнали. Трогательное излияние чувств у двух повстречавшихся старых друзей! Но лопата и кирка были для Башки как бы лучом света. Он помчался к тому кусту, где был утром, но не нашел там ни того, ни другого. Из этого он заключил, что знакомец его, углубившись в лес, вырыл киркой яму, запрятал в нее сундучок и закопал яму лопатой. Так как сунду-

чок был слишком мал для того, чтобы в нем мог поместиться труп, значит, в нем были деньги. Вот почему Башка предпринял свои розыски. Он обследовал, изрыл и обыскал весь лес, обшарил все места, где ему казалось, что земля свежевскопана. Напрасно!

Он ничего не «добыл». В Монфермейле стали забывать об этом. Только некоторые бесстрашные кумушки все еще повторяли: «Уж будьте уверены, что шоссейный рабочий из Ганьи всю эту кутерьму не зря затеял: тут наверняка объявился дьявол».

Глава 3,
Из которой видно, что надо предварительно поработать над звеном цепи, чтобы разбить его одним ударом молотка

В конце октября того же 1823 года жители Тулона увидели, как после жестокой бури в их гавань вошел корабль «Орион», чтобы исправить некоторые повреждения. Впоследствии этот корабль нес службу учебного судна в Бресте, а в то время он еще числился в средиземноморской эскадре.

Это судно, как оно ни было разбито, ибо море основательно потрепало его, все же произвело впечатление, выйдя на рейд. На нем развевался — не вспомню уже какой — флаг, и в его честь по уставу полагался салют из одиннадцати пушечных залпов, на которые «Орион» отвечал выстрелом на выстрел; итого двадцать два выстрела. Было подсчитано, что вместе с орудийными залпами для воздания королевских и военных почестей, для обмена изысканно вежливыми приветствиями, согласно с правилами этикета, а также с установленным порядком на рейдах и

цитаделях, вместе с ежедневными пушечными салютами всех крепостей и всех военных кораблей при восходе и закате солнца, при открытии и закрытии ворот и пр., и пр., цивилизованный мир на всем земном шаре каждые двадцать четыре часа производит сто пятьдесят тысяч холостых выстрелов. Считая по шести франков каждый пушечный выстрел, это составляет девятьсот тысяч франков в день, триста миллионов в год, превращающихся в дым. Это только небольшая подробность. Тем временем бедняки умирают с голоду.

1823 год был годом, который Реставрация окрестила «эпохой Испанской войны».

Эта война заключала в себе одной много событий и множество особенностей. Здесь дело шло о важнейших семейных интересах дома Бурбонов; о его французской ветви, помогающей и покровительствующей ветви мадридской, — иначе говоря, выполняющей долг старшинства; об очевидном возврате к нашим национальным традициям, осложненным зависимостью и подчинением северным кабинетам; о господине герцоге Ангулемском, прозванном либеральными газетами «героем Андюжара», который в позе триумфатора, идущей несколько вразрез с его без-

мятежным обликом, укрощал старый реальный терроризм инквизиции, схватившийся с химерическим терроризмом либералов; о воскресших, к великому ужасу знатных вдов, санкюлотах под именем descamisados[18]; о монархизме, ставящем препоны прогрессу, получившему название анархии; о внезапно прерванной подспудной деятельности теорий 89-го года; о запрете, наложенном Европой на совершающую свое кругосветное путешествие французскую мысль; о стоящем рядом с престолонаследником Франции генералиссимусе принце Кариньяне — впоследствии Карле-Альберте, который принимал участие в этом крестовом походе королей против народов, пойдя добровольцем и пристегнув гренадерские красной шерсти эполеты. Здесь дело шло о вновь выступивших в поход солдатах Империи, постаревших после восьмилетнего отдыха, грустных и уже под белой кокардой; о трехцветном знамени, развевающемся на чужбине над героической горсточкой французов, подобно тому как развевалось тридцать лет тому назад в Кобленце белое знамя; о монахах, присоединившихся к нашим ветеранам; об усмиренном штыками духе

[18] Примечания: 18
Безрубашечники *(исп.)*.

свободы и нововведений; о принципах, уничтоженных пушечными выстрелами; о Франции, разрушающей своим оружием то, что было создано собственной ее мыслью. Наконец, здесь дело шло о продажности вражеских генералов, о нерешительности солдат, о городах, осажденных не столько тысячами штыков, сколько миллионами франков; о полном отсутствии военной опасности, наряду с возможностью взрыва, как это случается во внезапно захваченном и занятом неприятелем минированном подкопе. Здесь было мало пролитой крови, мало чести для завоевателей, позор для некоторых, а славы — ни для кого. Такова была эта война, затеянная принцами королевской крови, потомками Людовика XIV, и руководимая полководцами, преемниками Наполеона. Ей выпала печальная участь: она не осталась в памяти ни как пример великой войны, ни как пример великой политики.

В ней было совершено несколько смелых нападений — взятие Трокадеро является среди них одной из блестящих военных операций; но в целом, повторяем, трубы этой кампании звучали надтреснуто, все вместе внушало сомнение, и история одобряет то, что Франция не сразу согласилась признать этот ложный три-

умф. Бросалось в глаза, что некоторые испанские офицеры, обязанные сопротивляться, сдавались слишком поспешно, к победе примешивалась мысль о лихоимстве: казалось, здесь скорее имеет место подкуп генералов, чем выигранные сражения, и солдаты-победители возвращались униженными. Эта война действительно умаляла достоинство нации, в складках ее знамени читалось: «Французский банк».

Солдаты войны 1808 года, на которых так страшно обрушилась осажденная ими Сарагосса, в 1823 году хмурились от того, что перед ними так легко распахивались ворота крепостей, и начинали жалеть о Пала-фоксе. Таков нрав французов, предпочитающих лучше видеть перед собой Растопчина, чем Баллестероса.

С точки зрения еще более серьезной, должно также подчеркнуть, что, оскорбляя во Франции дух армии, эта война возмущала и дух демократии. То был замысел порабощения. В этой кампании конечной целью французского солдата, этого сына демократии, было завоевание рабства для других. Отвратительное противоречие. Франция рождена для того, чтобы пробуждать дух народов, а не подавлять его. С 1792 года все революции в Европе — это Французская рево-

люция: сияние свободы излучает Франция. Это излучение подобно солнечному. «Слепец, кто этого не видит!» — воскликнул Бонапарт.

Таким образом, война 1823 года была одновременно покушением на великодушную испанскую нацию и покушением на Французскую революцию. И именно Франция творила это чудовищное насилие; правда, по принуждению, ибо, исключая войны освободительные, все, что совершают армии, они совершают по принуждению. «Пассивное повиновение» — вот слово, определяющее их действия. Армия представляет собою необычайный и мастерской образчик расчета, при котором сила извлекается из огромной суммы бессилия. Так объясняется война, затеянная человечеством против человечества вопреки человечеству.

Что же касается Бурбонов, то война 1823 года была для них роковой. Они приняли ее за успех. Они совершенно упустили из виду, какая опасность таится в удушении идеи путем запрета. В своей наивности они забылись до такой степени, что, придя к власти, узаконили, как одну из основ своей силы, широчайшую терпимость к преступлению. Дух злого умысла вторгся в их политику. 1830 год зародился в 1823 году. Испанский поход

в их решениях стал аргументом в пользу насилия и рискованных авантюр «священного права». Франция, восстановив el rey neto[19] в Испании, легко могла восстановить неограниченную королевскую власть и у себя. Приняв послушание солдата за согласие нации, Бурбоны совершили опасную ошибку. Подобное легковерие губит троны. Не следует дремать ни под тенью манценилового дерева, ни под крылом армии.

Но возвратимся к кораблю «Орион».

Во время маневров армии под командованием принца-генералиссимуса в Средиземном море крейсировала эскадра. Мы уже упоминали, что «Орион» принадлежал к этой эскадре и что буря вынудила его зайти в Тулонский порт.

Появление военного корабля в гавани таит в себе какую-то притягательную силу и занимает воображение толпы. Это зрелище — величественно, а толпа любит все величественное.

Линейный корабль, борющийся со стихией, — пример одного из самых великолепных столкновений человеческого гения с могуществом природы.

Линейный корабль представляет собой соче-

[19] Примечания: 19

Единственно достойный король *(исп.)* — формула испанского абсолютизма.

тание частей, от самых тяжелых, какие только существуют, до самых невесомых, ибо ему приходится сталкиваться сразу с тремя состояниями вещества — твердым, жидким и газообразным — и бороться против всех трех. У него есть одиннадцать железных когтей, чтобы цепляться за гранит на дне морском, и больше крыльев и надкрылий, чем у летучих насекомых, чтобы ловить в облаках попутный ветер. Его дыхание вылетает из ста двадцати пушек, словно из чудовищных оркестровых труб, и надменно вторит грому. Океан пытается сбить его с пути устрашающим однообразием своих волн, но у корабля есть душа — компас, дающий ему совет и неизменно указывающий на север. В темные ночи его сигнальные фонари заменяют звезды. Итак, против ветра у него есть канат и парус, против волн — дерево, против скал — железо, медь и свинец, против мрака — свет, против беспредельного простора — магнитная стрелка.

Чтобы получить представление о гигантских размерах всех этих отдельных частей, которые в совокупности составляют линейный корабль, достаточно в гавани Бреста или Тулона войти внутрь шестиэтажного стапеля. Это, так сказать, защитный колпак над строящимся судном. Вон

та огромная балка — рея; эта массивная деревянная колонна, лежащая на земле и видная, насколько хватает глаз, — грот-мачта. Ее длина, если считать от основания в трюме до верхушки, теряющейся в облаках, равна шестидесяти саженям, а ее диаметр у основания равен трем футам. Английская грот-мачта возвышается на двести семнадцать футов над грузовой линией судна. Во флоте наших предков употреблялись якорные канаты, у нас — якорные цепи. Обыкновенный круг корабельных цепей с одного стопушечного судна имеет четыре фута в высоту, двадцать футов в ширину и восемь футов в толщину. А сколько требуется строительного материала, чтобы построить такой корабль? — спросите вы. Три тысячи кубических метров. Это настоящий плавучий лес.

Кроме того, необходимо заметить, что здесь идет речь о военном судне, построенном сорок лет тому назад, о простом парусном судне; паровой двигатель, находившийся в те времена еще в младенческом состоянии, добавил позднее новые чудеса к этому диковинному сооружению, именуемому военным кораблем. В нынешнее время, например, смешанного типа винтовое судно представляет собою изумительную машину

под парусами, поверхность которых равна трем тысячам квадратных метров, и с паровым котлом в две тысячи пятьсот лошадиных сил.

Не говоря уже об этих поразительных новинках в судостроительном искусстве, даже старинное судно Христофора Колумба или Рюитера представляет собою один из величайших образцов человеческой изобретательности. Силы его так же неистощимы, как неистощимы дуновения воздуха, посылаемые бесконечностью; оно собирает ветер в свои паруса, оно не теряется среди необъятного разлива волн, оно плывет, оно царит.

Но наступает час, когда буря переламывает эту рею длиною в шестьдесят футов, словно соломинку, когда ветер гнет, словно тростник, эту грот-мачту вышиною в четыреста футов, когда этот якорь, который весит десять тысяч фунтов, ломается в пасти волн, как крючок рыболова в челюстях щуки, когда эти чудовищные пушки испускают жалобный и бессильный рев, уносимый ветром в мрак и пустоту, когда вся эта мощь и все это величие исчезают перед лицом высшего величия и высшей мощи.

Зрелище величайшей силы, пришедшей в состояние величайшей слабости, всегда заставляет людей задумываться. Вот почему в гаванях

наблюдается такое множество любопытных, которые, сами хорошо не понимая зачем, толкутся около этих удивительных орудий войны и мореходства.

И вот ежедневно, с утра до вечера, набережные, мол и откосы шлюза Тулонской гавани были усеяны толпами праздношатающихся и «зевак», как говорят в Париже, у которых только и было дела, что глазеть на «Орион».

Корабль был поврежден уже давно. Во время предшествовавших плаваний на его подводную часть налипли такие толстые слои раковин, что скорость его наполовину уменьшилась. В прошлом году корабль вытащили на сушу, чтобы соскоблить эти раковины, и затем он вновь ушел в море. Но соскабливание повредило крепления подводной части. Вблизи Балеарских островов наружная обшивка судна пострадала от ветра и отстала, а так как внутреннюю обшивку тогда не делали из листового железа, то судно дало течь. Бешено налетевший на него полуденный ветер пробил пушечный порт на бакборте и решетчатый помост на гальюне, а также повредил руслени фок-мачты. Вследствие этих повреждений «Орион» и возвратился в Тулонскую гавань.

Он бросил якорь около арсенала. Судно снаря-

жали и чинили. Со стороны штирборта корпус корабля поврежден не был, но несколько досок обшивки были, как это обычно делается, кое-где оторваны, чтобы внутрь мог проникнуть свежий воздух.

Однажды утром толпа, глазевшая на корабль, оказалась свидетельницей несчастного случая.

Экипаж занят был креплением парусов. Марсовой, который должен был взять верхний угол грот-марселя на штирборте, потерял равновесие. Он вдруг покачнулся, толпа, собравшаяся на набережной Арсенала, испустила крик; голова перевесила туловище, и человек повернулся вокруг реи, простирая руки к бездне. Падая, он успел ухватиться за перты под реей, сначала одной, а затем и другой рукой, и повис в воздухе. Под ним, на головокружительной глубине, расстилалось море. От сильного толчка при его падении перты стали раскачиваться, словно качели. Человек летал на этой веревке из стороны в сторону, подобно камню в праще.

Помочь ему — значило подвергнуться страшному риску. Ни один матрос — все это были недавно призванные на военную службу местные рыбаки — не отважился на это. Тем временем несчастный марсовой начал уставать; разглядеть его лицо,

искаженное смертельным ужасом, было нельзя, но по всем его движениям ясно было, что силы его иссякают. Руки его словно вывертывались в страшных судорогах. Каждое усилие, которое он делал, чтобы подтянуться вверх, только усиливало колебание снасти. Он не кричал, опасаясь утратить остаток сил. Все ожидали, что он вот-вот выпустит веревку, и иногда отворачивались, чтобы не видеть его падения. Бывают такие минуты, когда конец веревки, жердь, ветка дерева олицетворяют собою жизнь, и страшно наблюдать, как отделяется от них живое существо и падает наподобие спелого плода.

Вдруг все заметили человека, карабкавшегося по снастям с ловкостью оцелота. Человек этот был в красной одежде — значит, каторжник; на нем была зеленая шапка — значит, приговорен к каторге пожизненно. Когда он достиг марса, порыв ветра сорвал с него зеленую шапку и обнажил седую голову; человек этот не был молод.

Действительно, один из каторжников, посланных из острога работать на судне, сразу же подбежал к вахтенному офицеру и, среди смятения и суматохи экипажа, в то время как все матросы дрожали и не двигались с места, попросил офицера разрешить ему рискнуть жизнью

для спасения марсового. По утвердительному знаку офицера он одним ударом молотка разбил цепь, прикованную к кольцу на его ноге, взял веревку и бросился на ванты. В ту минуту никто не заметил, с какой легкостью была разбита эта цепь. Об этом вспомнили лишь впоследствии.

В мгновение ока он был уже на рее. На несколько секунд приостановившись, он, казалось, взглядом измерял ее длину. Эти секунды, пока ветер раскачивал марсового на конце веревки, показались вечностью тем, кто смотрел на него. Наконец каторжник взглянул на небо, потом сделал шаг вперед. Толпа перевела дыхание. Он бегом побежал по рее. Добравшись до ее края, он привязал к ней один конец веревки, которую он захватил с собою, другой же оставил висеть свободным, затем начал на руках скользить по этой веревке вниз. Всеми овладела невыразимая тревога: вместо одного человека теперь над бездной висели двое.

Казалось, паук готовился схватить муху; только здесь паук нес жизнь, а не смерть. Десять тысяч глаз были прикованы к этим людям. Ни единого возгласа, ни единого слова, все испытывают тот же трепет, у всех одинаково сдвинуты брови. Все затаили дыхание, словно боясь усилить ма-

лейшим дуновением ветер, который раскачивал двух несчастных.

Между тем каторжнику удалось спуститься к матросу. И как раз вовремя: еще минута, и изнемогший, отчаявшийся человек сорвался бы в бездну. Каторжник одной рукой крепко обвязал его веревкой, за которую сам держался другою, и вот все увидели, как он снова взобрался на рею и подтянул к себе наверх матроса. С минуту он подержал его там, чтобы дать ему собраться с силами, потом схватил его на руки и понес по рее до эзельгофта, а оттуда до марса, где передал на руки товарищей.

Толпа принялась рукоплескать; некоторые из старых надзирателей смены каторжников заплакали, женщины на набережной обнимались, слышен был единодушный, звучавший какой-то яростью умиления крик: «Помиловать его!»

А он, считая своим долгом немедленно сойти вниз, чтобы присоединиться к партии каторжников, и желая побыстрее это сделать, скользнул по такелажу и побежал по нижней рее. Все взоры устремились на него. Было мгновение, когда толпу охватил страх: то ли от усталости, то ли по причине головокружения, но он вдруг приостановился и как будто покачнулся. Вдруг толпа

испустила громкий вопль — каторжник упал в море.

Падение это грозило ему гибелью. Фрегат «Альжези-рас» стоял на якоре возле «Ориона», и несчастный упал между двух кораблей. Боялись, как бы он не попал под один из них. Четыре человека поспешно бросились к шлюпке. Толпа подбадривала их, всех снова охватила тревога. Человек не выплывал. Он канул в море, не возмутив поверхности, словно упал в бочку с маслом. Погружали лот, ныряли. Тщетно! Искали до самого вечера, но ни живым, ни мертвым его не нашли.

На следующий день в тулонской газете появилась заметка: «17 ноября 1823 года. Вчера каторжник из партии, работавшей на борту «Ориона», спасая матроса, упал в море и утонул. Тело его найти не удалось. Предполагают, что он попал между свай головной части арсенала. В тюремных списках человек этот числился под № 9430, имя его — Жан Вальжан».

Книга третья
Исполнение обещания, данного умершей

Глава 1
Вопрос о водоснабжении в Монфермейле

Монфермейль расположен между Ливри и Шелем, на южном конце высокого плато, отделяющего Урк от Марны. Ныне это довольно большое торговое местечко, украшенное выбеленными виллами, а по воскресным дням — и жизнерадостными горожанами. В 1823 году в Монфермейле не было ни такого количества белых вилл, ни такого множества довольных горожан: это была затерянная в лесах деревенька. Правда, там и сям в ней попадались дачи в стиле минувшего столетия, которые легко можно было узнать по их барскому виду, по характерным для той эпохи балконам витого железа и продолговатым окнам, маленькие стекла которых переливались на белом фоне закрытых внутренних ставней всевозможными зелеными оттенками. Тем не менее Монфермейль был только деревенькой. Ни ушедшие на покой торговцы сукном, ни отдыхающие на даче стряпчие еще не набрели на нее. Это был тихий, прелестный уголок, ничего более собой

не представлявший. Там вели сельский образ жизни, привольный, дешевый и простой. Только воды было мало, так как местечко находилось на возвышенности.

За ней приходилось идти довольно далеко. Конец деревни, который поближе к Ганьи, черпал воду из великолепных лесных прудов; противоположный конец, со стороны Шеля, там, где была церковь, питьевую воду мог брать только из небольшого родника на склоне косогора, близ дороги на Шель, приблизительно в четверти часа ходьбы от Монфермейля.

Таким образом, запасти воду было для каждой семьи довольно тяжелой обязанностью. Зажиточные дома, аристократия, в том числе и хозяин трактира Тенардье, платили по лиару за ведро воды одному старичку, который занимался ремеслом водовоза в Монфермейле и этим зарабатывал около восьми су в день. Но старичок летом работал до семи часов вечера, а зимой до пяти, и как только темнело, как только закрывались ставни в нижних этажах, тот, у кого не оставалось воды для питья, должен был идти за ней сам или обходиться без воды до утра.

Это и было постоянным источником ужаса для несчастного создания, которое читатель,

быть может, не забыл, — для маленькой Козетты. Вспомните, что держать Козетту было выгодно для супругов Тенардье по двум причинам: они брали плату с матери и заставляли работать дитя. И когда мать перестала присылать деньги, а из предыдущих глав читатель знает почему, Тенардье все же оставили девочку у себя. Она заменяла им служанку. Когда воды не хватало, за ней посылали Козетту. И девочка, умиравшая от страха при одной только мысли о том, что ей придется ночью идти к роднику, тщательно следила, чтобы в доме всегда была вода.

Рождество 1823 года праздновалось в Монфермейле особенно оживленно. В первую половину зимы погода стояла мягкая: не было еще ни морозов, ни снегопада. Приехавшие из Парижа фокусники получили от мэра разрешение поставить свои балаганы на главной улице села, а компания странствующих торговцев, в силу такой же льготы, построила будки на церковной площади до самой улицы Хлебопеков, где находилась, как известно, харчевня Тенардье. Весь этот люд наводнял постоялые дворы и кабаки, внося шумную и веселую струю жизни в эту глухую, спокойную деревушку. В качестве добросовестного историка мы должны даже упомянуть о том,

что среди всевозможных диковин, появившихся на площади, был зверинец, где уродливые шуты в лохмотьях, неизвестно откуда взявшиеся, показывали крестьянам Монфермейля в 1823 году одного из тех ужасных бразильских кондоров, которых королевский музей приобрел лишь в 1845 году и у которых глаза похожи на трехцветную кокарду. Если не ошибаюсь, зоологи называют эту птицу Caracara Polyborus; она принадлежит к разряду хищников и семейству ястребиных. Несколько бравых старых солдат-бонапартистов, живших на покое в деревушке, приходили с благоговением поглядеть на эту птицу. Шуты уверяли, что такая трехцветная кокарда — исключительный феномен, созданный господом богом специально для их зверинца.

В рождественский сочельник несколько возчиков и странствующих торговцев сидели вокруг стола, на котором горело четыре или пять свечей, в низкой зале харчевни Тенардье. Эта зала ничем не отличалась от залы любого кабачка: столы, оловянные жбаны, бутылки, пьяницы, курильщики, мало света, много шума. Впрочем, два модных в ту пору среди горожан предмета на другом столе свидетельствовали о том, что это был 1823 год, а именно: калейдоскоп и лампа из узор-

чатой белой жести. Кабатчица присматривала за ужином, поспевавшим в ярко пылавшей печи; супруг ее пил с гостями, толкуя о политике.

Кроме разговоров политических, главной темой которых были война в Испании и господин герцог Ангулемский, среди громкого гомона слышались замечания, имевшие чисто местный интерес, вроде:

— Вон сколько выжали вина кругом Нантера и Сюрена, — кто считал, что получит бочек десять, получил все двенадцать. Из-под давила ручьями текло. — Как же так? Виноград-то ведь еще не поспел? — В этих местах не к чему ждать, пока он поспеет. Если собираешь спелый, так вино, чуть весна, и загустело. — Стало быть, это совсем слабое вино? — У них вина еще послабее, чем тут. А виноград собирать нужно, когда он зеленый.

И т. д.

Потом слышались выкрики мельника:

— Разве мы можем отвечать за то, что насыпано в мешки? Там попадается пропасть мелких зерен, копаться с ними нам недосуг, вот и приходится пускать все как есть под жернов. Там и куколь, и медунка, и ржавинка, и вика, и журавлиный горох, и конопля, и лисий хвост, и видимо-невидимо всякой другой дряни, не считая мелких

камешков, которых другой раз полно в зерне, особенно в бретонском. Мне такая же охота молоть эту бретонскую рожь, как пильщику распиливать бревна, в которые набито гвоздей. Посудите сами, сколько скверной трухи попадает в помол. А потом народ жалуется на плохую муку. И зря! Мы в этом не виноваты.

В простенке между окнами косарь, сидевший за столиком с землевладельцем, который торговался с ним из-за цены на весенние луговые работы, говорил:

— Что трава сырая, беды никакой нет. Ее даже спорей косить. Роса полезна, сударь. Но все одно, трава эта ваша молоденькая да неподатливая пока что. Уж очень нежна, так и клонится под косой.

И т. д.

Козетта сидела на своем обычном месте, на перекладине кухонного стола около очага. Одетая в лохмотья, в деревянных башмаках на босу ногу, она, при свете очага, вязала шерстяные чулки для маленьких девочек Тенардье. Под стульями играл котенок. Из соседней комнаты доносились смех и болтовня звонких детских голосов: то были Эпонина и Азельма.

В углу, возле печи, на гвозде висела плеть.

Порой пронзительный плач ребенка, находившегося где-то в доме, врывался в шум харчевни. Это кричал маленький сын хозяйки, родившийся в одну из предыдущих зим, «неизвестно почему, — говорила она, — вероятно, из-за холода». Ему шел четвертый год. Мать хотя и выкормила его, но не любила. Когда отчаянные вопли малыша становились слишком докучными, Тенардье говорил жене: «Слышишь, как твой сын развизжался. Пойди-ка погляди, чего ему там надо». — «А ну его! Надоел он мне!» — отвечала мать. И покинутый ребенок продолжал кричать в потемках.

Глава 2
Два законченных портрета

До сей поры в этой книге чета Тенардье была обрисована лишь в профиль; пришло время рассмотреть их со всех сторон и под всеми их личинами.

Самому Тенардье только что перевалило за пятьдесят. Г-жа Тенардье приближалась к сорока годам, что для женщины равно пятидесяти; таким образом, между мужем и женой было полное соответствие возраста.

Быть может, читатель со времени своего первого знакомства с нею сохранил еще некоторое воспоминание об этой высокой, белокурой, румяной, жирной, мясистой, широкоплечей, огромной и подвижной супруге Тенардье. Она происходила, как мы уже говорили, из породы тех дикарок-великанш, что ломаются в ярмарочных балаганах, привязав булыжники к волосам. Она одна делала все по дому: стлала постели, убирала комнаты, мыла посуду, стряпала — одним словом, была и грозой, и ясным днем, и домовым этого трактира. Ее единственной служанкой была Козетта,

мышонок в услужении у слона. Все дрожало при звуке голоса Тенардье: стекла, мебель, люди. Ее широкое лицо, усеянное веснушками, напоминало шумовку. У нее росла борода. Это был настоящий крючник, переодетый в женское платье. Она мастерски умела ругаться и хвалилась тем, что ударом кулака разбивает орех. Если бы не романы, которые она читала и которые порой самым странным образом пробуждали в кабатчице жеманницу, то никому никогда не пришло бы в голову назвать ее женщиной. Эта Тенардье являлась как бы сочетанием рыночной торговки с мечтательной девицей. Услышав, как она разговаривает, вы бы сказали: «Это жандарм»; заметив, как она пьянствует, вы бы сказали: «Это извозчик»; увидев, как она обращается с Козеттой, вы бы сказали: «Это палач». Когда она молчала, изо рта у нее торчал зуб.

Сам Тенардье был худой, бледный, костлявый, тощий и тщедушный человечек, казавшийся болезненным, хотя обладал отменным здоровьем, — с этого начиналось присущее ему плутовство. Обычно он из предосторожности улыбался и был вежлив почти со всеми, даже с нищими, которым отказывал в милостыне. У него был взгляд хорька и вид литератора. Он

очень был похож на портреты аббата Делиля. Он рисовался тем, что пил вместе с возчиками. Никому никогда не удавалось напоить его пьяным. Он не выпускал изо рта большую трубку, носил блузу, а под блузой — старый черный сюртук. Он старался произвести впечатление человека начитанного и материалиста. Чтобы придать вес своим словам, он часто упоминал имена Вольтера, Реналя, Парни и даже, как это ни странно, святого Августина. Он утверждал, что у него есть своя «система». Сверх того он был отъявленный мошенник. Мошенник-философ. Подобного рода разновидность существует. Читатель помнит, что он выдавал себя за солдата. Несколько приукрашивая, он рассказывал, что в бытность свою сержантом не то 6-го, не то 9-го легиона он один, против эскадрона гусар смерти, прикрыл своим телом от картечи «опасно раненного генерала» и спас ему жизнь. Этот случай послужил ему поводом украсить стену дома блистательной вывеской, а окрестному люду — прозвать его харчевню «кабачком сержанта при Ватерлоо». Он был либерал, классик и бонапартист. Он внес свое имя в список жертвователей на «Убежище». В деревне толковали, что он когда-то готовился в священники.

Мы же полагаем, что готовился он всего-навсего в трактирщики. Этот негодяй смешанной масти был, по всей вероятности, во Фландрии каким-нибудь фламандцем из Лилля, в Париже — французом, в Брюсселе — бельгийцем и чувствовал себя в своей тарелке как по эту, так и по ту сторону границы. Его подвиг при Ватерлоо известен. Как видит читатель, он его слегка приукрасил. Смена удач и неудач, хитрые уловки, рискованные предприятия составляли содержание его жизни; нечистая совесть влечет за собой неупорядоченное существование. Не лишено вероятности, что в бурное время 18 июня 1815 года Тенардье принадлежал к той разновидности маркитантов-мародеров, о которых мы упоминали выше и которые, разъезжая повсюду, продавали одним, грабили других и, руководимые чутьем, следовали обычно всей семьей — муж, жена и дети — в какой-нибудь хромоногой тележке за движущимися впереди частями армии-победительницы. Завершив кампанию, заработав, как он выражался, «малость деньжат», он поселился в Монфермейле, где и открыл харчевню.

Эти «деньжата», состоявшие из кошельков и часов, золотых перстней и серебряных крестов, собранных им во время жатвы на бороздах, усе-

янных трупами, не представляли все же собою настолько значительных средств, чтобы обеспечить надолго этого солдатских вин раздатчика, превратившегося в кабатчика.

В движениях Тенардье было нечто прямолинейное, что отдавало казармой, когда он бранился, и семинарией, когда он крестился. Он был краснобай и выдавал себя за ученого. Однако школьный учитель заметил, что разговор у него «с изъянцем». Счета проезжающим он составлял превосходно, но опытный глаз обнаружил бы в них иногда орфографические ошибки. Тенардье был скрытен, жаден, ленив и хитер. Он не брезговал служанками, и потому его жена их больше не держала. Великанша была ревнива. Ей казалось, что этот тщедушный желтый человечек является предметом соблазна для всех женщин.

Сверх того Тенардье, человек коварный и хорошо владеющий собой, был мошенником из породы осторожных. Этот вид — наихудший; ему свойственно лицемерие.

Это не означает, что при случае Тенардье не был способен прийти в такую же ярость, как и его жена, хотя бывало это с ним редко. Но так как он злобился на весь род людской, так как в нем постоянно пылало горнило глубочайшей нена-

висти, так как он принадлежал к числу людей, которые постоянно мстят, которые обвиняют все окружающее во всех своих неудачах и несчастьях и, словно их обиды вполне законны, всегда готовы взвалить на первого встречного весь груз разочарований, банкротств и бедствий своей жизни, то в иные минуты, когда все эти чувства, поднимаясь подобно дрожжам, пенились у него на губах и застилали ему глаза, он становился ужасен. Горе тому, кто вставал на его пути в это мгновение!

Помимо всех своих прочих свойств, Тенардье был наблюдателен и проницателен, болтлив или молчалив, в зависимости от обстоятельств, и всегда чрезвычайно смышлен. В его взгляде было нечто, напоминавшее взгляд моряка, привыкшего щурить глаза в подзорную трубу. Тенардье был государственным мужем.

Всякий входящий в первый раз в харчевню, глядя на жену Тенардье, говорил себе: «Вот кто хозяин дома». Заблуждение! Она не была даже хозяйкой. И тем и другим был ее супруг. Она исполняла, он придумывал. Путем какого-то магнетического воздействия, незаметного, но постоянного, он управлял всем. Ему достаточно было слова, а иногда только знака, и мастодонт

повиновался. Для жены Тенардье, хотя она и не отдавала себе в этом отчета, ее муж являлся каким-то особенным, высшим существом. Ей можно было поставить в заслугу ее поведение: никогда, даже если б и возникло у нее какое-либо разногласие с «господином Тенардье» (гипотеза, впрочем, недопустимая), она «при чужих людях» ни в чем бы не перечила ему. Она никогда не совершала той ошибки, которую так часто совершают жены и которую на парламентском языке именуют «подрывом власти». Хотя единодушие их конечной целью имело одно лишь зло, но в покорности жены Тенардье своему мужу таилось какое-то благоговейное поклонение. Эта гора мяса, этот ураган повиновался мановению мизинца тщедушного деспота. В этом проявлял себя, пусть в искаженной и причудливой форме, великий, всеобщий закон: преклонение материи перед духом; некоторые формы уродства имеют право существовать даже в самых недрах вечной красоты. В Тенардье таилось что-то загадочное, отсюда и вытекало неограниченное господство этого мужчины над этой женщиной. Бывали минуты, когда он казался ей зажженным светильником; в иные — она чувствовала лишь его когти.

Эта женщина была ужасным существом; она

любила только своих детей и боялась только своего мужа. Матерью она была потому, что относилась к млекопитающим. Впрочем, ее материнское чувство сосредоточивалось только на дочерях и, как мы увидим в дальнейшем, не распространялось на сыновей. А мужчина — тот был поглощен только одной мыслью: разбогатеть.

Однако ему это не удавалось. Для такого великого таланта, каким он был, не находилось достойного поприща. Тенардье в Монфермейле разорялся, если только возможно разорение для круглого нуля; в Швейцарии или в Пиренеях этот голяк сделался бы миллионером. Но куда бы трактирщика ни забросила судьба, ему надо прокормиться.

Само собою разумеется, что слово «трактирщик» мы употребляем здесь в ограниченном смысле, и оно, конечно, не простирается на все это сословие в целом.

В 1823 году Тенардье имел около полутора тысяч франков неотложного долга, и это очень его тревожило.

Несмотря на упорную немилость судьбы, Тенардье был из числа тех людей, которые прекрасно понимали, в самом глубоком и современном значении этого слова, то, что является у дика-

рей добродетелью, а у народов цивилизованных — предметом торговли, — иначе говоря, гостеприимство. Вдобавок он был удивительно ловким браконьером, славившимся меткостью своего ружья. Иногда он смеялся спокойным и холодным смехом, который бывал особенно опасен.

Порой у него вырывались, словно вспышками света, исповедуемые им теории кабацкого ремесла. У него были свои профессиональные правила, которые он вдалбливал жене. «Обязанность кабатчика, — толковал он ей однажды яростным шепотом, — уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блох, улыбки; останавливать прохожих, опустошать тощие кошельки и честно облегчать толстую мошну, почтительно предлагать приют путешествующей семье, содрать с мужчины, ощипать женщину, слупить с ребенка; ставить в счет окно открытое, окно закрытое, угол около очага, кресло, стул, табурет, скамейку, перину, матрац, охапку соломы; знать, насколько повреждают зеркало отражения гостей, и брать за это деньги и, черт подери, любым способом заставить путника платить за все, даже за мух, которых проглотила его собака!»

Этот мужчина и эта женщина были хитрость и

злоба, сочетавшиеся браком, — омерзительный и ужасный союз.

В то время как муж раздумывал и соображал, жена и не вспоминала о далеких кредиторах, не заботилась ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне, а жадно жила настоящей минутой.

Таковы были эти два существа. Козетта, находясь между ними, испытывала двойной гнет: ее словно дробили мельничным жерновом и терзали клещами. Муж и жена мучили ее каждый по-своему: Козетту избивали до полусмерти — в этом виновата была жена; она ходила зимой босая — в этом виноват был муж.

Козетта носилась вверх и вниз по лестнице, мыла, чистила, терла, мела, бегала, выбивалась из сил, задыхалась, передвигая тяжести, и, как ни была тщедушна, выполняла самую тяжелую работу. И ни капли жалости к ней; свирепая хозяйка, злобный хозяин! Харчевня Тенардье была словно паутина, в которой запуталась и билась Козетта. В этой злосчастной маленькой служанке как бы воплотился образ самого рабства. Это была муха в услужении у пауков.

Бедный ребенок терпел все и молчал.

Что же происходит в этих душах, лишь недавно покинувших божье лоно, когда на самой заре

своей жизни они, такие беззащитные, такие маленькие, оказываются среди подобных людей?

Глава 3
Людям вино, а лошадям вода

Приехали еще четыре новых путешественника.

Козетта погрузилась в печальные размышления; ей было только восемь лет, но она уже так много выстрадала, что в минуты горестной задумчивости казалась маленькой старушкой.

Одно веко у нее почернело от тумака, которым наградила ее Тенардье, время от времени восклицавшая по этому поводу: «Ну и уродина же эта девчонка с фонарем под глазом!»

Итак, Козетта думала о том, что настала ночь, темная ночь, что ей, как на беду, неожиданно пришлось наполнить свежей водой все кувшины и графины в комнатах для новых постояльцев и что в кадке нет больше воды. Только одно соображение немного успокаивало ее: в харчевне Тенардье редко пили воду. Страдающих жаждой здесь всегда было достаточно, но это была та жажда, которая охотней взывает к жбану с вином, чем к кружке с водой. Если бы кому-нибудь вздумалось потребовать стакан воды вместо стакана

вина, то такого гостя все сочли бы дикарем. И все же было мгновение, когда девочка испугалась: тетка Тенардье приподняла крышку одной из кастрюлек, в которой что-то кипело на очаге, потом схватила стакан, быстро подошла к кадке с водой и открыла кран. Ребенок, подняв голову, следил за ее движениями. Из крана потекла жиденькая струйка воды и наполнила стакан до половины.

— Вот тебе и на! — проговорила хозяйка. — Воды больше нет! — и помолчала.

Девочка затаила дыхание.

— Ба! — продолжала Тенардье, рассматривая стакан, наполненный до половины. — Хватит и этого.

Козетта снова взялась за работу, но больше четверти часа еще чувствовала, как сильно колотится у нее в груди сжавшееся в комок сердце.

Она считала каждую протекшую минуту и страстно желала, чтобы поскорее наступило утро.

Время от времени кто-нибудь из посетителей поглядывал в окно и восклицал: «Ну и тьма! Хоть глаз выколи!» Или: «В такую пору без фонаря только кошке по двору шататься». И, слыша это, Козетта дрожала от страха.

Вдруг вошел один из странствующих торговцев,

остановившихся в харчевне, и грубо крикнул:

— Почему моя лошадь не поена?

— Как не поена? Ее поили, — ответила Тенардье.

— А я вам говорю нет, хозяйка! — возразил торговец.

Козетта вылезла из-под стола.

— О сударь, право же, ваша лошадь напилась, она выпила ведро, полное ведро, я сама принесла ей воды и даже разговаривала с ней.

Это была неправда. Козетта лгала.

— Вот тоже выискалась, сама от горшка два вершка, а наврала с целую гору! — воскликнул торговец. — Говорю тебе, мерзавка, лошадь не пила! Когда ей хочется пить, она по-особому фыркает, уж я-то ее повадки отлично знаю.

Козетта настаивала на своем и охрипшим от тоскливой тревоги голосом еле слышно повторяла:

— Пила, даже вволю пила.

— Хватит! — гневно возразил торговец. — Ничего не пила. Сейчас же дать ей воды, и дело с концом!

Козетта залезла обратно под стол.

— Что верно, то верно, — сказала трактирщица, — если скотина не поена, то ее следует

напоить.

Она огляделась по сторонам:

— А где же другая скотина?

Заглянув под стол, она разглядела Козетту, забившуюся в угол, в противоположном его конце, почти под самыми ногами посетителей.

— Ну-ка вылезай! — крикнула она.

Козетта выползла из своего убежища.

— Ты, собачье отродье! Ступай напои лошадь!

— Но, сударыня, — робко возразила Козетта, — ведь больше нет воды.

Тенардье настежь распахнула дверь на улицу:

— Так беги принеси. Ну, живо!

Козетта понурила голову и пошла за пустым ведром, стоявшим в углу около очага.

Ведро было больше ее самой, девочка могла бы свободно поместиться в нем.

Трактирщица снова стала к очагу, зачерпнула деревянной ложкой похлебку, кипевшую в кастрюле, отведала ее и проворчала:

— Хватит еще воды в роднике. Подумаешь, какое дело. А зря я лук-то не отцедила.

Пошарив в ящике стола, где валялись вперемешку мелкие деньги, перец и чеснок, она добавила:

— На, жаба, держи! На обратном пути купишь в

булочной большой хлеб. Вот тебе пятнадцать су.

На Козетте был передник с боковым кармашком; она молча взяла монету и сунула ее в этот карман.

С ведром в руке неподвижно стояла она перед распахнутой дверью, словно ждала, не придет ли кто-нибудь на помощь.

— Ну, пошла живей! — крикнула трактирщица.

Козетта выбежала. Дверь захлопнулась.

Глава 4
На сцене появляется кукла

Ряд будок, выстроившихся на открытом воздухе, начинался от церкви, как помнит читатель, и доходил до харчевни Тенардье. Все будки стояли на пути богомольцев, направлявшихся на предстоявшую полунощную службу, поэтому они были ярко освещены свечами в бумажных воронках, что представляло «чарующее зрелище», по выражению школьного учителя, сидевшего в это время в харчевне Тенардье. Зато ни одна звезда не светилась на небе.

Будка, находившаяся как раз против двери харчевни, торговала игрушками и вся блистала мишурой, мелкими стекляшками и великолепными изделиями из жести. В первом ряду витрины, на самом видном месте, на фоне белых салфеток, торговец поместил огромную куклу, вышиной приблизительно в два фута, наряженную в розовое креповое платье, с золотыми колосьями на голове, с настоящими волосами и эмалевыми глазами. Весь день это чудо красовалось в витрине, поражая прохожих не старше

десяти лет, но во всем Монфермейле не нашлось ни одной настолько богатой или расточительной матери, чтобы купить эту куклу своему ребенку. Эпонина и Азельма часами любовались ею, и даже Козетта, правда украдкой, нет-нет да и взглядывала на нее.

Даже в ту минуту, когда Козетта вышла с ведром в руке, мрачная и подавленная, она не могла удержаться, чтобы не посмотреть на дивную куклу, на эту «даму», как она называла ее. Бедное дитя замерло на месте. Козетта еще не видала этой куклы вблизи. Вся лавочка казалась ей дворцом, а кукла — сказочным видением. Это был восторг, великолепие, богатство, счастье, возникшее в каком-то призрачном сиянии перед маленьким жалким существом, поверженным в бездонную, черную, леденящую нужду. Козетта с присущей детям простодушной и прискорбной проницательностью измеряла пропасть, отделявшую ее от этой куклы. Она говорила себе, что надо быть королевой или по меньшей мере принцессой, чтобы играть с такой «вещью». Она любовалась чудесным розовым платьем, роскошными блестящими волосами и думала: «Какая счастливица эта кукла!» И девочка не могла отвести глаз от волшебной лавки. Чем больше она смотрела,

тем сильнее изумлялась. Она вообразила, что видит рай. Позади большой куклы сидели еще куклы, поменьше; и ей представлялось, что это феи и ангелы. Торговец, который прохаживался в глубине лавочки, казался ей чуть ли не самим господом богом.

Она так углубилась в благоговейное созерцание, что забыла обо всем, даже о поручении, которое должна была выполнить. Внезапно грубый голос трактирщицы вернул ее к действительности.

— Как! Ты все еще тут торчишь, бездельница? Вот я тебе задам! Скажите, пожалуйста! Чего ей тут нужно? Погоди у меня, уродина! — кричала Тенардье, которая, выглянув в окно, увидела застывшую в восхищении Козетту.

Схватив ведро, Козетта со всех ног помчалась за водой.

Глава 5
Малютка одна

Харчевня Тенардье находилась в той части деревни, где была церковь, поэтому Козетта должна была идти за водой к лесному роднику, в сторону Шеля.

Она больше не глядела ни на одну витрину. Пока она шла по улице Хлебопеков и вблизи церкви, ее путь освещали огни лавчонок, но вскоре исчез и последний огонек в оконце последней палатки. Бедная девочка очутилась в темноте и потонула в ней. Ею стало овладевать какое-то волнение, поэтому она на ходу изо всей силы громыхала дужкой ведра. Этот шум разгонял ее одиночество.

Чем дальше она продвигалась, тем гуще становился мрак. На улицах не было ни души. Все же ей встретилась одна женщина, которая, поравнявшись с ней, пробормотала сквозь зубы: «Куда это идет такая крошка? Уж не оборотень ли это?» Потом, всмотревшись, женщина узнала Козетту. «Гляди-ка! — сказала она. — Да это Жаворонок!»

Таким образом, Козетта прошла лабиринт

извилистых безлюдных улиц, которыми заканчивается местечко Монфермейль со стороны Шеля. Пока ее путь лежал между домами или даже заборами, она шла довольно смело. От времени до времени сквозь щели ставен она видела отблеск свечи — то были свет, жизнь, там были люди, и это успокаивало ее. Однако по мере того как она подвигалась вперед, она бессознательно замедляла шаг. Завернув за угол последнего дома, Козетта остановилась. Идти дальше последней лавочки было трудно; идти дальше последнего дома становилось уже невозможным. Поставив ведро на землю, она запустила пальцы в волосы и принялась медленно почесывать голову, как свойственно напуганным и робким детям. Монфермейль кончился, начинались поля. Темная и пустынная даль расстилалась перед нею. Безнадежно глядела она в этот мрак, где уже не было людей, где хоронились звери, где бродили, быть может, привидения. Она глядела все пристальнее, и вот она услыхала шаги зверей по траве и ясно увидела привидения, шевелившиеся среди деревьев. Тогда она схватила ведро, страх придал ей мужества. «Ну и пусть! — воскликнула она. — Я ей скажу, что там нет больше воды». И она решительно повернула в Монфермейль.

Но едва сделав сотню шагов, Козетта снова остановилась и снова принялась почесывать голову. Теперь представилась ей тетка Тенардье, отвратительная, страшная, с пастью гиены и сверкающими от ярости глазами. Ребенок беспомощно огляделся по сторонам. Что делать? Куда идти? Впереди — призрак хозяйки, позади — все духи тьмы и лесов. И она отступила перед хозяйкой. И вновь пустилась бежать по дороге к роднику. Из деревни она выбежала бегом, в лес вбежала бегом, ни на что больше не глядя, ни к чему больше не прислушиваясь. Она только тогда замедлила бег, когда начала задыхаться, но и тут не остановилась. Охваченная отчаянием, продолжала она свой путь.

Она бежала бегом, еле сдерживая рыданья.

Ночной шум леса охватил ее со всех сторон. Она больше ни о чем не думала, ничего не замечала. Беспредельная ночь глядела в глаза этому крошечному созданию. С одной стороны всеобъемлющий мрак; с другой — пылинка.

От опушки леса до родника было не больше семи-восьми минут ходьбы. Дорогу Козетта знала, так как ходила по ней несколько раз в день. Странное дело, она не заблудилась. Остаток инстинкта смутно руководил ею. Впрочем, она не

смотрела ни направо, ни налево, боясь увидать что-нибудь страшное в ветвях деревьев или в кустарниках. Так она дошла до родника.

Это было узкое природное углубление, размытое водой в глинистой почве, около двух футов глубиной, окруженное мхом и высокими гофрированными травами, которые называют «воротничками Генриха IV», и выложенное несколькими большими камнями. Из него с тихим журчанием вытекал ручеек.

Козетта даже не передохнула. Было очень темно, но она привыкла ходить за водой к этому роднику. Нащупав в темноте левой рукой молодой дубок, наклонившийся над ручьем и служивший ей обычно точкой опоры, она отыскала ветку, ухватилась за нее, нагнулась и погрузила ведро в воду. Она была так возбуждена, что силы ее утроились. Нагибаясь над ручьем, она не заметила, как из кармашка ее фартука выскользнула монета и упала в воду. Козетта не видела и не слышала ее падения. Она вытащила почти полное ведро и поставила его на траву.

Сделав это, она почувствовала, что изнемогает от усталости. Ей очень хотелось тотчас же вернуться обратно, но наполнить ведро стоило ей таких усилий, что она больше не могла сделать

ни шагу. Волей-неволей ей надо было отдохнуть. Она опустилась на траву и замерла, присев на корточки.

Козетта закрыла глаза, затем открыла их вновь, не понимая почему, но не в силах сделать иначе. Рядом с нею в ведре колыхалась вода, разбегаясь кругами, похожими на жестяных змеек.

Над ее головой небо было затянуто тяжелыми темными тучами, напоминавшими дымные полотнища. Трагическая маска ночи, казалось, смутно нависла над ребенком.

Юпитер склонялся к закату в бездонных глубинах неба. Девочка глядела растерянным взглядом на эту огромную, неведомую ей звезду, которая пугала ее. Планета действительно в эту минуту стояла очень низко над горизонтом, прорезая густой слой тумана, придававшего ей страшный багровый оттенок. Зловещий красный туман увеличивал размеры светила. Чудилось, то была пламенеющая рана.

Холодный ветер дул с равнины. Мрачен был лес, не шелестели в нем листья, и не брезжил там тот неуловимый и живой отблеск, который присущ лету. Угрожающе торчали огромные сучья. Чахлый, уродливый кустарник шуршал в прогалинах. Высокие травы извивались под

северным ветром, словно угри. Ветки терновника вытягивались, как вооруженные когтями длинные руки, старающиеся схватить добычу. Сухой вереск, гонимый ветром, быстро пролетал мимо, словно в ужасе спасаясь от чего-то. Вокруг расстилались унылые дали.

От темноты кружится голова. Человеку необходим свет. Кто углубляется в мрак, чувствует, как у него замирает сердце. Когда перед глазами тьма, затемняется и сознание. В ночи, в непроницаемой мгле даже для самого мужественного человека таится что-то жуткое. Никто ночью один не проходит по лесу без страха. Тени и деревья — два опасных сгустка темноты. Призрачная действительность возникает в смутной глуби. Непостижимое намечается в нескольких шагах от вас с отчетливостью привидения. Видишь, как в пространстве — или в собственном мозгу — проплывает нечто смутное и неуловимое, словно грезы задремавших цветов. На горизонте возникают какие-то страшные очертания. Вдыхаешь испарения огромной черной пустоты. И боязно, и хочется оглянуться. Провалы в ночи, какие-то тени, вселяющие ужас, безмолвные фигуры, которые рассеиваются при вашем приближении, купы качающихся деревьев, свинцовые лужи —

отражение скорби во мраке, могильная глубина безмолвия, присутствие всевозможных неведомых существ, таинственное покачивание ветвей, жуткие стволы деревьев, длинные пряди шелестящей травы, — против всего этого чувствуешь себя беззащитным. Нет такого отважного сердца, которое не дрогнуло бы, не почувствовало тревоги. Испытываешь отвратительное ощущение, словно душа сливается с тьмой. Это растворение во мраке невыразимо страшно для ребенка.

Леса — обители тайны и ужаса, и трепет крыл младенческой души подобен предсмертному вздоху под их чудовищным сводом.

Не разбираясь в своих ощущениях, Козетта чувствовала, как ее обволакивает этот безмерный мрак природы. Ее охватил даже не ужас, а нечто более страшное, чем ужас. Она вся дрожала. Слова бессильны передать то необычайное, что таила в себе эта дрожь и от чего замирало ее сердце. В глазах у нее появилось что-то дикое. Ей стало казаться, что, наверно, она не сможет противостоять желанию снова прийти сюда завтра, в тот же час.

Тогда, как бы инстинктивно, чтобы освободиться от этого странного состояния, которого она не понимала, но которое пугало ее, она принялась

считать вслух: «Раз, два, три, четыре», и так до десяти, а затем опять сначала. Это вернуло ее к правильному восприятию действительности. Она почувствовала, как закоченели ее руки, которые она замочила, черпая воду. Она встала. Страх вновь охватил ее, страх естественный и непреодолимый. Одна лишь мысль владела ею — бежать, бежать без оглядки, через лес, через поля, к домам, к окнам, к зажженным свечам. Ее взгляд упал на ведро, стоявшее перед нею. И так сильна была боязнь перед хозяйкой, что она не осмелилась убежать без ведра. Она ухватилась обеими руками за дужку ведра и с трудом приподняла его.

Так сделала она шагов двенадцать, но полное ведро было тяжелым, она принуждена была опять поставить его на землю. Переведя дух, она снова ухватилась за дужку. На этот раз она шла дольше, но пришлось опять остановиться. Отдохнув несколько секунд, она продолжала путь. Козетта шла согнувшись, понурив голову, словно старуха; тяжелое ведро оттягивало и напрягало ее худенькие ручонки; железная дужка ведра леденила онемевшие пальцы; от времени до времени Козетта останавливалась, и каждый раз холодная вода, выплескиваясь из ведра, обливала

ее голые ножки. Это происходило в глубине леса, зимней ночью, вдали от людского взора; девочке было восемь лет. Один лишь бог взирал на это раздирающее душу зрелище.

Видела это, конечно, и мать ее, увы!

Ибо в мире происходят вещи, которые заставляют усопших пробуждаться в могилах.

Козетта дышала с каким-то болезненным хрипом, рыдания сжимали ей горло, но плакать она не смела, так сильно боялась она своей хозяйки даже вдали от нее. Она привыкла всегда и везде представлять ее рядом с собою.

Однако, идя очень медленно, она мало подвигалась вперед. Напрасно старалась она сокращать время своих стоянок и проходить как можно больше от одной до другой. С мучительной тревогой думала она о том, что ей потребуется больше часу, чтобы вернуться в Монфермейль, и что Тенардье опять прибьет ее. Эта тревога примешивалась к ее ужасу перед тем, что она одна в лесу в ночную пору. Достигнув знакомого ей старого каштанового дерева, она остановилась передохнуть в последний раз, на более длительный срок, и, собрав остаток сил, мужественно двинулась в путь. И все же бедная малютка не могла удержаться, чтобы не простонать в отчаянии: «Боже

мой, боже мой!»

В это мгновение она почувствовала, что ведро стало легким. Чья-то рука, показавшаяся ей огромной, схватила дужку ведра и легко приподняла его. Она вскинула голову. Высокая черная прямая фигура шагала рядом с ней в темноте. Это был мужчина, неслышно догнавший ее. Человек молча взялся за дужку ведра, которое она несла.

Во всех случаях жизни человек слышит предупреждающий голос инстинкта.

Ребенок не испугался.

Глава 6,
которая, быть может, доказывает сообразительность Башки

После полудня того же самого рождественского сочельника 1823 года какой-то человек довольно долго прохаживался по самой пустынной части Госпитального бульвара в Париже. Казалось, он подыскивал себе квартиру и, видимо, предпочитал самые скромные дома этой пришедшей в упадок окраины предместья Сен-Марсо.

В дальнейшем мы узнаем, что этот человек действительно снял комнату в этом уединенном квартале.

Как по своей одежде, так и по всему своему облику он воплощал тот тип, который можно назвать благородным нищим. Крайняя нужда соединялась у него с крайней опрятностью — довольно редкое сочетание, внушающее чутким сердцам двойное уважение к тому, кто столь беден и столь полон достоинства. На нем была круглая шляпа, очень старая и тщательно вычищенная, протертый до ниток редингот из грубого темно-желтого сукна — этот цвет не казался в те

времена слишком странным, — закрытый старомодный жилет с карманами, черные панталоны, посеревшие на коленях, черные шерстяные чулки и грубые башмаки с медными пряжками. Он был похож на возвратившегося из эмиграции бывшего гувернера в аристократическом доме. По его совершенно седым волосам, по морщинистому лбу, бледным губам, по его скорбному, усталому лицу можно было предположить, что ему гораздо больше шестидесяти лет. Но по его уверенной, хотя и медленной походке, по удивительной силе, сквозившей во всех движениях, ему не дали бы и пятидесяти. Морщины на его лбу были такого благородного рисунка, что расположили бы в его пользу всякого, кто внимательно пригляделся бы к нему. Его сомкнутые губы хранили странное выражение не то суровости, не то смирения. В глубине его взгляда таилось какое-то скорбное спокойствие. В левой руке он нес маленький сверток, завязанный в носовой платок, а правой опирался на палку, видимо выдернутую из плетня. Палка была довольно тщательно отделана и не казалась слишком грубой: сучки были обрублены, а набалдашник сделан из красного сургуча — под коралл. Это была дубинка, но казалась она тростью.

Госпитальный бульвар довольно безлюден, особенно зимой. Человек, без всякого, впрочем, желания подчеркнуть это, казалось, скорее избегал людей, чем искал встречи с ними.

В те времена король Людовик XVIII почти ежедневно ездил в Шуази-ле-Руа. Это была одна из его излюбленных прогулок. Около двух часов дня почти всегда можно было видеть королевский экипаж и свиту, мчавшиеся во весь опор мимо Госпитального бульвара. Беднякам квартала их появление заменяло и карманные часы, и стенные. Они говорили: «Уже два часа — вон король возвращается в Тюильри».

И одни выбегали навстречу, другие отходили в сторону, ибо проезд короля всегда вызывает суматоху. Впрочем, появление и исчезновение Людовика XVIII на улицах Парижа производило даже известное впечатление. Это было мимолетно, но величественно. Этот увечный король любил быструю езду; не в силах ходить, он хотел мчаться; этот хромой человек охотно бы взнуздал молнию. Он проезжал, спокойный и суровый, среди обнаженных сабель охраны. Тяжелая вызолоченная карета, на дверцах которой были нарисованы большие стебли лилий, катилась с грохотом. Люди лишь мельком успевали загля-

нуть в нее. В глубине, в правом углу, на подушках, обитых белым шелком, виднелось широкое, крепкое, румяное лицо, свеженапудренные волосы с взбитым хохолком, надменный, жесткий и хитрый взгляд, тонкая улыбка, два густых эполета с золотой бахромой, свисающей на штатское платье, орден Золотого руна, крест Святого Людовика, крест Почетного легиона, серебряная звезда ордена Св. Духа, огромный живот и широкая голубая орденская лента: это был король. За чертой города он держал шляпу с белым плюмажем на коленях, обтянутых высокими английскими гетрами; въезжая в город, надевал ее, редко отвечая на приветствия. Холодно глядел он на народ, отвечавший ему тем же. Когда король в первый раз появился в квартале Сен-Марсо, то весь успех, который он там стяжал, выразился в словах одного мастерового, обращенных к товарищу: «Вот этот толстяк и есть правительство».

Появление короля в один и тот же час было, таким образом, ежедневным событием на Госпитальном бульваре.

Прохожий в желтом рединготе не принадлежал, очевидно, к числу жителей квартала и, вероятно, не был даже жителем Парижа, ибо не подозревал об этой подробности. Когда в два часа

королевская карета, окруженная эскадроном гвардейцев в серебряных галунах, выехала к бульвару, обогнув Сальпетриер, он, казалось, был изумлен и даже испуган. Кроме него, на боковой аллее никого не было, и он отступил за угол ограды, что не помешало герцогу д'Авре его заметить. В этот день герцог д'Авре, как начальник личной охраны, сидел в карете против короля. Он сказал его величеству: «Вот довольно подозрительная личность». Полицейские, зорко следившие за проездом короля, также заметили его, и одному из них дан был приказ проследить за прохожим. Но человек углубился в пустынные улицы предместья, и так как уж начинало смеркаться, то полицейский потерял его из виду, о чем и было донесено в тот же вечер в рапорте на имя министра внутренних дел и префекта полиции, графа Англеса.

Сбив с толку полицейского, человек в желтом рединготе ускорил шаги, но не раз еще оглядывался, желая убедиться, что за ним никто не следует. В четверть пятого, то есть когда уже стало совсем темно, он проходил мимо театра Порт-Сен-Мартен, где в этот день давали пьесу «Два каторжника». Афиша, освещенная театральными фонарями, видимо, поразила его: хотя он и

шел торопливо, однако остановился прочитать ее. Спустя мгновение он уже был в Дровяном тупике и входил в гостиницу «Оловянное блюдо», где в ту пору помещалась контора дилижансов, отправлявшихся в Ланьи. Дилижанс отъезжал в половине пятого. Лошади были уже впряжены, и пассажиры, окликаемые кучером, поспешно взбирались по высокой железной лесенке старого рыдвана.

Пешеход спросил:

— Есть свободное место?

— Только одно, рядом со мной, на козлах, — ответил кучер.

— Я беру его.

— Садитесь.

Но прежде чем отъехать, кучер оглядел скромную одежду пассажира, его легкий багаж и потребовал плату вперед.

— Вы едете до Ланьи? — спросил кучер.

— Да, — ответил человек.

Он уплатил за проезд до Ланьи.

Тронулись в путь. Миновав заставу, кучер попытался было завязать разговор, но пассажир отвечал односложно. Кучер принялся насвистывать и понукать своих лошадей.

Он закутался в свой плащ. Было холодно. Но

пассажир, казалось, не замечал ничего. Таким образом проехали Гурне и Нельи-на-Марне.

Около шести часов вечера подъехали к Шелю. Перед трактиром, помещавшимся в старом здании королевского аббатства, кучер остановился, чтобы дать отдых лошадям.

— Я сойду здесь, — сказал пассажир.

Он взял свой сверток и палку и соскочил с дилижанса.

Минуту спустя он пропал из виду.

В трактир он не вошел.

Когда через некоторое время дилижанс снова тронулся в путь, держа на Ланьи, то не повстречал этого человека и на главной улице Шеля.

Кучер обернулся к пассажирам, сидевшим внутри дилижанса.

— Этот человек не здешний, я не знаю его, — сказал он. — У него такой вид, точно он без гроша в кармане, а между тем он не скаредничает: заплатил до Ланьи, а доехал только до Шеля. Уже ночь, все двери заперты в домах, в харчевню он не вошел, но его нигде не видно. Не иначе как сквозь землю провалился.

Но человек не провалился сквозь землю, а торопливо шагал в темноте по главной улице Шеля, потом, не доходя до церкви, свернул влево, на

проселочную дорогу, ведущую в Монфермейль, как будто он очень хорошо знал его окрестности и уже не раз бывал здесь.

Он быстро пошел по этой дороге. В том месте, где ее пересекает старое, окаймленное деревьями шоссе, ведущее из Ганьи в Ланьи, он услыхал шаги прохожих. Поспешив укрыться во рву, он выждал, пока люди прошли мимо. Эта предосторожность была, пожалуй, излишней, ибо, как мы уже сказали, стояла темная декабрьская ночь. Лишь две или три звезды светились на небе.

Именно в этом месте и начинается подъем на холм. Но путник не пошел по дороге в Монфермейль. Он взял направо, пересек поля и быстрым шагом дошел до леса.

Оказавшись в лесу, он замедлил шаги и стал внимательно присматриваться к каждому дереву, медленно подвигаясь вперед, словно искал что-то, и держался таинственной, ему одному известной дороги. Было мгновение, когда ему показалось, что он сбился с пути, и он в нерешительности остановился. Наконец ощупью добрался он до прогалины, где лежала груда больших, белевших в темноте камней. Поспешно подойдя к ним, он окинул их внимательным взглядом сквозь ночной туман, точно делал им

смотр. Большое дерево, покрытое наростами, являющимися признаком старости, высилось в нескольких шагах от груды камней. Путник направился к этому дереву и провел рукой по стволу, словно хотел нащупать и пересчитать все наросты на его коре.

Против дерева — это был ясень — рос каштан, болевший отпаданием коры. К нему взамен повязки была прибита полоска цинка. Человек приподнялся на цыпочки и дотронулся до этой цинковой полоски.

Затем он потоптался на месте, словно желая убедиться, что земля между деревом и грудой камней не была свежевзрытой.

Сделав это, он осмотрелся и продолжал свой путь через лес.

Это и был тот самый человек, который только что встретился с Козеттой.

Пробираясь сквозь лесную поросль по направлению к Монфермейлю, он заметил маленькую движущуюся тень, которая то ставила свою ношу на землю, то с жалобным стоном подымала ее вновь и брела дальше. Он подошел ближе и увидел, что это была совсем маленькая девочка, еле тащившая огромное ведро с водой. Он тут же очутился возле нее и молча взялся за дужку ведра.

Глава 7
Козетта в темноте бок о бок с незнакомцем

Козетта, как мы уже сказали, не испугалась. Человек заговорил с ней. Голос его был тих и серьезен.

— Дитя мое, твоя ноша слишком тяжела для тебя.

Козетта подняла голову и ответила:

— Да, сударь.

— Дай мне, — сказал он, — я понесу.

Козетта выпустила дужку ведра. Человек пошел рядом с ней.

— Это действительно очень тяжело, — пробормотал он сквозь зубы. Потом спросил: — Сколько тебе лет, малютка?

— Восемь лет, сударь.

— И ты идешь издалека?

— От ручья, который в лесу.

— А далеко тебе еще идти?

— Добрых четверть часа.

Путник помолчал немного, потом вдруг спросил:

— Значит, у тебя нет матери?

— Я не знаю, — ответила девочка. И прежде чем он успел вновь заговорить, она добавила: — Думаю, что нет. У других есть. А у меня нет. — И помолчав, продолжала: — Наверно, никогда и не было.

Человек остановился. Он поставил ведро на землю, наклонился и положил обе руки на плечи ребенка, стараясь в темноте разглядеть лицо.

Худенькое и жалкое личико Козетты смутно проступало в белесовато-сером свете неба.

— Как тебя зовут?

— Козетта.

Прохожий вздрогнул, словно от электрического тока. Он снова взглянул на нее, затем снял свои руки с плеч Козетты, схватил ведро и зашагал вперед.

Спустя мгновение он спросил:

— Где ты живешь, малютка?

— В Монфермейле, — может, вы знаете, где это?

— Мы идем туда?

— Да, сударь.

Немного погодя он снова спросил:

— Кто же это послал тебя в такой поздний час за водой в лес?

— Госпожа Тенардье.

Незнакомец продолжал голосом, которому силился придать равнодушие, но который, однако, странно дрожал:

— А чем эта твоя госпожа Тенардье занимается?

— Она моя хозяйка, — ответил ребенок. — Она содержит постоялый двор.

— Постоялый двор? — переспросил путник. — Хорошо, там я и переночую сегодня. Проводи-ка меня.

— А мы туда идем, — ответила девочка.

Человек шел довольно быстро. Козетта легко поспевала за ним. Она больше не чувствовала усталости. Время от времени она посматривала на него с каким-то спокойствием, с каким-то невыразимым доверием. Ее никто никогда не учил молиться богу. Однако она испытывала нечто похожее на чувство радости и надежды, обращенное к небесам.

Прошло несколько минут. Незнакомец заговорил снова:

— Разве у госпожи Тенардье нет служанки?

— Нет, сударь.

— Разве ты у нее одна?

— Да, сударь.

Вновь наступило молчание. Потом Козетта сказала:

— Правда, у нее есть еще две маленькие девочки.

— Какие маленькие девочки?

— Понина и Зельма.

Так упрощала Козетта романтические имена, столь любезные сердцу трактирщицы.

— Кто же это Понина и Зельма?

— Это барышни госпожи Тенардье. Ну, просто ее дочери.

— А что же они делают?

— О! — воскликнул ребенок. — У них красивые куклы, разные блестящие вещи, у них много всяких дел. Они играют, забавляются.

— Весь день?

— Да, сударь.

— А ты?

— А я работаю.

— Весь день?

Девочка подняла свои большие глаза, в которых угадывались слезы, скрытые ночным мраком, и кротко ответила:

— Да, сударь. — С минуту помолчав, Козетта добавила: — Иногда, когда я кончу работу и когда мне позволят, я тоже могу поиграть.

— Как же ты играешь?

— Как могу. Мне не мешают. Но у меня мало игрушек. Понина и Зельма не хотят, чтобы я играла их куклами. У меня есть только оловянная сабелька, вот такой длины. — И девочка показала на мизинец.

— Ею ничего нельзя резать?

— Можно, сударь, — ответила девочка, — например, салат и головы мухам.

Они дошли до деревни; Козетта повела незнакомца по улицам. Они прошли мимо булочной, но Козетта не вспомнила о хлебе, который должна была принести. Человек перестал расспрашивать ее и хранил теперь мрачное молчание. Когда они миновали церковь, незнакомец, видя все эти разбитые под открытым небом лавчонки, спросил:

— Тут что же, ярмарка?

— Нет, сударь, это Рождество.

Когда они подходили уже к постоялому двору, Козетта робко дотронулась до его руки:

— Сударь.

— Да, дитя мое?

— Вот мы уже совсем близко от дома.

— И что же?

— Можно мне теперь у вас взять ведро?

— Зачем?

— Если хозяйка увидит, что мне помогли его донести, она меня прибьет.

Человек отдал ей ведро. Минуту спустя они были у дверей харчевни.

Глава 8
Как неприятно впустить в дом бедняка, который может оказаться богачом

Козетта не могла удержаться, чтобы украдкой не взглянуть на большую куклу, все еще красовавшуюся в витрине игрушечной лавки, затем она постучала в дверь. На пороге показалась трактирщица, держа в руке свечу.

— А, это ты, бродяжка! Наконец-то! Куда это ты запропастилась? По сторонам глазела, срамница!

— Сударыня, — сказала, задрожав, Козетта, — вот господин, который хотел бы переночевать у нас.

Угрюмое выражение на лице тетки Тенардье быстро сменилось любезной гримасой — это мгновенное превращение свойственно кабатчикам. Она жадно всматривалась в темноту, желая разглядеть вновь прибывшего.

— Это вы, сударь?

— Да, сударыня, — ответил человек, притронувшись рукой к шляпе.

Богатые путешественники не бывают столь

вежливы. Этот жест, а также осмотр одежды и багажа путешественника, который бегло произвела хозяйка, заставили исчезнуть ее любезную гримасу, снова сменившуюся угрюмым выражением. Она сухо произнесла:

— Входите, милейший.

«Милейший» вошел. Тенардье вторично окинула его взглядом, уделив особенное внимание его изрядно потертому сюртуку и слегка помятой шляпе, потом, кивнув в его сторону головой, сморщила нос и, подмигнув, вопросительно взглянула на мужа, продолжавшего бражничать с возчиками. Супруг ответил незаметным движением указательного пальца, одновременно оттопырив губы, что в подобном случае обозначает: «голь перекатная». Тогда трактирщица воскликнула:

— Ах, любезный, мне очень жаль, но у меня нет ни одной свободной комнаты.

— Поместите меня, куда вам будет угодно — на чердак, в конюшню. Я заплачу, как за отдельную комнату, — сказал путник.

— Сорок су.

— Сорок су? Ладно.

— В добрый час.

— Сорок су! — шепнул один из возчиков кабатчице. — Но ведь комната стоит только двадцать

су.

— А с него сорок, — ответила она тоже шепотом. — Дешевле я не беру с бедняков.

— Правильно, — кротким голосом заметил ее муж, — пускать к себе такой народ — только портить добрую славу заведения.

Тем временем человек, положив на скамью свой узелок и палку, присел к столу, на который Козетта поспешила поставить бутылку вина и стакан. Торговец, потребовавший ведро воды для своей лошади, отправился сам напоить ее. Козетта опять уселась на обычное место под кухонным столом и взялась за свое вязание.

Человек налил себе вина и, едва пригубив из стакана, с каким-то странным вниманием разглядывал ребенка.

Козетта была некрасива. Возможно, будь она счастливой, она была бы миловидной. Мы уже набросали в общих чертах этот маленький печальный образ. Козетта была худенькая, бледная девочка, на вид лет шести, хотя ей шел восьмой год. Ее большие глаза, окруженные синевой, казались почти тусклыми от постоянных слез. Уголки ее рта были опущены с тем выражением привычного страданья, которое наблюдаешь у приговоренных к смерти и у безнадежно боль-

ных. Руки ее, как предугадала мать, «потрескались от мороза». Огонь, освещавший Козетту в это мгновение, выдавал ее резко выступающие кости и подчеркивал ее ужасную худобу. Так как ее постоянно знобило, то у нее образовалась привычка тесно сжимать колени. Вся ее одежда представляла собой лохмотья, которые летом возбуждали сострадание, а зимой внушали ужас. Ее прикрывала лишь дырявая холстина; ни лоскутка шерсти. Там и сям просвечивало тело, на котором можно было разглядеть синие или черные пятна — следы прикосновения хозяйской длани. Голые тонкие ножки покраснели от холода. Глубокие впадины над ключицами были жалостны до слез. Весь облик этого ребенка, его походка, его движения, звук его голоса, прерывистая речь, его взгляд, его молчание, малейший жест — все выражало и обличало лишь одно: страх.

Козетта была вся проникнута этим страхом, он ее как бы окутывал. Страх вынуждал ее тесно прижимать к себе локти, прятать под юбку ноги, стараться занимать как можно меньше места, еле дышать; страх сделался, если можно так выразиться, привычкой ее тела, способной лишь усиливаться. В глубине ее зрачков притаился ужас.

Этот страх был так велик, что, возвратясь домой совершенно измокшей, Козетта не посмела приблизиться к очагу, чтобы обсушиться, а тихонько уселась за свою работу.

Взгляд этого восьмилетнего ребенка был всегда так печален, а порой так мрачен, что в иные мгновения казалось, что она на пути к слабоумию или к помешательству.

Никогда, мы уже упоминали об этом, не знала она, что такое молитва, никогда не переступала порога церкви. «Разве у меня есть для этого время?» — говорила ее хозяйка.

Человек в желтом рединготе не спускал глаз с Козетты.

Вдруг трактирщица воскликнула:

— Постой! А хлеб где?

Козетта, как всегда, стоило только хозяйке повысить голос, быстро вылезла из-под стола.

Она совершенно забыла об этом хлебе. Она прибегла к обычной уловке запуганных детей. Она солгала:

— Сударыня, булочная была уже заперта.

— Надо было постучаться.

— Я стучалась, сударыня.

— Ну и что же?

— Мне не отперли.

— Завтра я проверю, правду ли ты говоришь, — сказала Тенардье, — и если ты соврала, то поплясшешь у меня как следует. А покамест дай-ка сюда пятнадцать су.

Козетта сунула руку в карман фартука и помертвела. Монетки в пятнадцать су там не было.

— Ну, — крикнула трактирщица, — ты оглохла, что ли?

Козетта вывернула карман. Пусто. Но куда могла деться денежка? Несчастная малютка не находила слов. Она окаменела.

— Ты, значит, потеряла деньги, потеряла целых пятнадцать су? — прохрипела Тенардье. — А может, ты вздумала их у меня украсть?

С этими словами она протянула руку к плетке, висевшей на гвозде возле очага.

Это грозное движение вернуло Козетте силы, она закричала: «Простите! Простите! Я больше не буду!»

Тенардье сняла плеть.

В это время человек в желтом рединготе, незаметно для окружающих, пошарил в жилетном кармане. Впрочем, остальные посетители пили, играли в кости и ни на что не обращали внимания.

Козетта в смертельном страхе забилась в угол

за очагом, стараясь сжаться в комочек и как-нибудь спрятать свое жалкое полуобнаженное тельце. Трактирщица занесла руку.

— Виноват, сударыня, — вмешался неизвестный, — я сейчас видел, как что-то упало из кармана этой малютки и покатилось по полу. Не эти ли деньги?

Он тут же наклонился, делая вид, будто что-то ищет на полу.

— Так и есть, вот она, — сказал он, выпрямляясь.

И он протянул тетке Тенардье серебряную монетку.

— Та самая! — воскликнула тетка Тенардье.

Отнюдь не «та самая», а монета в двадцать су, но для трактирщицы это было выгодно. Она положила деньги в карман и удовольствовалась тем, что, злобно взглянув на ребенка, сказала: «Чтоб это было в последний раз!»

Козетта опять забралась в свою «нору», как называла это место тетка Тенардье, и ее большие глаза, устремленные на незнакомца, мало-помалу приобретали совершенно несвойственное им выражение. Пока это было лишь наивное удивление, но к нему примешивалась уже какая-то безотчетная доверчивость.

— Ну как, вы будете ужинать? — спросила трактирщица у приезжего.

Он ничего не ответил. Казалось, он глубоко задумался.

— Кто он, этот человек? — процедила она сквозь зубы. — Уверена, что за ужин ему заплатить нечем. Хоть бы за ночлег расплатился. Все-таки мне повезло, что ему не пришло в голову украсть деньги, валявшиеся на полу.

Тут открылась дверь, и вошли Эпонина и Азельма.

Это были две прехорошенькие девочки, скорее горожаночки, чем крестьяночки, очень миленькие, одна — с блестящими каштановыми косичками вокруг головы, другая — с длинными черными косами, спускавшимися по спине. Оживленные, чистенькие, полненькие, свежие и здоровые, они радовали глаз. Девочки были тепло одеты, но благодаря материнскому искусству плотность материи нисколько не умаляла кокетливости их туалета. Одежда приноровлена была к зиме, не теряя вместе с тем изящества весеннего наряда. Эти две малютки излучали свет. Сверх того они были здесь повелительницами. В их одежде, в их веселости, в том шуме, который они производили, чувствовалось сознание своей

верховной власти. Когда они вошли, трактирщица сказала ворчливым, но полным обожания голосом: «А, вот, наконец, и вы пожаловали!»

Притянув поочередно каждую к себе на колени, она пригладила им волосы, поправила ленты и, потрепав с материнской нежностью, отпустила, воскликнув: «Нечего сказать, хороши!»

Девочки уселись в углу, возле очага. В руках они держали куклу, которую тормошили на все лады, укладывая ее то у одной, то у другой на коленях, и весело щебетали. От времени до времени Козетта поднимала глаза от вязанья и печально глядела на них.

Эпонина и Азельма не замечали Козетту. Она была для них чем-то вроде собачонки. Этим трем девочкам всем вместе не было и двадцати четырех лет, а они уже олицетворяли собой человеческое общество: с одной стороны — зависть, с другой — пренебрежение.

Кукла сестер Тенардье была совсем полинявшая, совсем старая и вся поломанная, но тем не менее она казалась Козетте восхитительной: ведь у нее за всю жизнь не было куклы, настоящей куклы, — употребляя выражение, понятное для всех детей.

Вдруг тетка Тенардье, продолжавшая ходить

взад и вперед по комнате, заметила, что Козетта отвлекается и, вместо того чтобы работать, глядит на играющих детей.

— А вот я тебя и поймала! — закричала она. — Так-то ты работаешь? Погоди, вот возьму плетку, она-то уж заставит тебя поработать!

Незнакомец, не вставая со стула, повернулся к трактирщице.

— Сударыня, — промолвил он, улыбаясь почти робко, — чего уж там, пусть ее поиграет!

Со стороны любого посетителя, съевшего кусок жаркого, выпившего за ужином две бутылки вина и не производящего впечатления оборванца, подобное желание равносильно было бы приказу. Но чтобы человек, обладающий такой шляпой, позволил себе высказать какое бы то ни было пожелание, чтобы человек, у которого был подобный редингот, смел бы выражать свою волю, — этого трактирщица допустить не могла. Она резко возразила:

— Девчонка должна работать, раз она ест мой хлеб. Я кормлю ее не для того, чтобы она бездельничала.

— А что же это она делает? — спросил незнакомец мягким голосом, странно противоречившим его нищенской одежде и широким плечам но-

сильщика.

Трактирщица снизошла до ответа:

— Чулки вяжет, если вам угодно знать. Чулочки для моих дочурок. Прежние, можно сказать, все износились, и дети скоро останутся совсем босыми.

Человек взглянул на жалкие, красные ножки Козетты и продолжал:

— А когда же она окончит эту пару?

— Она будет над ней корпеть по крайней мере дня три, а то и четыре, этакая лентяйка!

— И сколько могут стоить эти чулки, когда они будут готовы?

Трактирщица окинула его презрительным взглядом.

— Не меньше тридцати су.

— А уступили бы вы их за пять франков? — снова спросил человек.

— Черт возьми! — грубо засмеявшись, вскричал один возчик, слышавший этот разговор. — Пять франков? Тьфу ты пропасть! Я думаю! Целых пять монет!

Тут Тенардье решил, что пора вмешаться в разговор.

— Хорошо, сударь, ежели такова ваша прихоть, то вам отдадут эту пару чулок за пять франков.

Мы не умеем ни в чем отказывать путешественникам.

— Но денежки на стол! — резко и решительно заявила его супруга.

— Я покупаю эти чулки, — ответил незнакомец, затем, вынув из кармана пятифранковую монету и протянув ее кабатчице, добавил: — И плачу за них. — Потом он повернулся к Козетте: — Теперь твоя работа принадлежит мне. Играй, дитя мое.

Возчик был так потрясен видом пятифранковой монеты, что бросил пить вино и подбежал взглянуть на нее.

— И вправду, гляди-ка! — воскликнул он. — Настоящий пятифранковик! Не фальшивый!

Тенардье подошел и молча положил деньги в жилетный карман.

Супруге возразить было нечего. Она кусала себе губы, лицо ее исказилось злобой.

Козетта вся дрожала. Она отважилась, однако, спросить:

— Сударыня, это правда? Я могу поиграть?

— Играй! — бешеным голосом ответила тетка Тенардье.

— Спасибо, сударыня, — ответила Козетта.

И в то время как ее уста благодарили хозяйку, вся ее маленькая душа возносила благодарность

приезжему.

Тенардье снова уселся пить. Жена прошептала ему на ухо:

— Кем он может быть, этот желтый человек?

— Мне приходилось встречать миллионеров, — величественно ответил Тенардье, — которые носили такие же рединготы.

Козетта перестала вязать, но не покинула своего места. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Она вытащила из коробки, стоявшей позади нее, какие-то старые лоскутики и свою оловянную сабельку.

Эпонина и Азельма не обращали никакого внимания на происходящее вокруг. Они только что успешно завершили очень ответственное дело — завладели кошкой. Бросив на пол куклу, Эпонина, которая была постарше, пеленала котенка в голубые и красные лоскутья, невзирая на его мяуканье и судорожные движения. Поглощенная этой серьезной и трудной работой, она болтала с сестрой на том нежном, очаровательном детском языке, обаяние которого, как и великолепие крыльев бабочки, исчезает, лишь только хочешь его запечатлеть.

— Знаешь, сестричка, эта вот кукла смешнее той. Смотри, она шевелится, пищит, она теплень-

кая. Знаешь, сестричка, давай с ней играть. Она будет моей дочкой. Я буду дама. Я приду к тебе в гости, а ты на нее посмотришь. Потом ты понемножку увидишь ее усики и удивишься. А потом ты увидишь ее ушки, а потом ты увидишь ее хвостик, и ты очень удивишься. И ты мне скажешь: «О боже мой!» А я тебе скажу: «Да, сударыня, это у меня такая маленькая дочка. Теперь все маленькие дочки такие».

Азельма с восхищением слушала Эпонину.

Между тем пьяницы затянули непристойную песню и так громко хохотали при этом, что дрожали стены. А Тенардье подзадоривал их и вторил им.

Как птицы из всего строят гнезда, так дети из всего мастерят себе куклу. Пока Азельма и Эпонина пеленали котенка, Козетта пеленала свою саблю. Потом она взяла ее на руки и, тихо напевая, стала ее убаюкивать.

Кукла — одна из самых настоятельных потребностей и вместе с тем воплощение одного из самых очаровательных женских инстинктов в девочке. Лелеять, наряжать, украшать, одевать, раздевать, переодевать, учить, слегка журить, баюкать, ласкать, укачивать, воображать, что нечто — есть некто, — в этом все будущее жен-

щины. Мечтая и болтая, заготовляя игрушечное приданое и маленькие пеленки, нашивая платьица, лифчики и крошечные кофточки, дитя превращается в девочку, девочка — в девушку, девушка — в женщину. Первый ребенок — последняя кукла.

Маленькая девочка без куклы почти так же несчастна и точно так же немыслима, как женщина без детей.

Козетта сделала себе куклу из сабли.

Тем временем тетка Тенардье подошла к «желтому человеку». «Мой муж прав, — решила она, — может быть, это сам господин Лафит. Бывают ведь на свете богатые самодуры!»

Она облокотилась на стол.

— Сударь… — сказала она.

При слове «сударь» мужчина обернулся. Трактирщица до сих пор называла его или «милейший», или «любезный».

— Видите ли, сударь, — продолжала она со своей слащавой вежливостью, которая была еще неприятней, чем ее грубость, — мне очень хочется, чтобы этот ребенок играл, я не возражаю, если вы так великодушны, но это хорошо один раз. Видите ли, ведь у нее никого нет. Она должна работать.

— Значит, это не ваш ребенок? — спросил человек.

— Бог с вами, сударь! Это нищенка, которую мы приютили из милости. Она вроде как дурочка. У нее, должно быть, водянка в голове. Видите, какая у нее большая голова. Мы делаем для нее все, что можем, но мы сами небогаты. Вот уже шесть месяцев, как мы напрасно пишем к ней на родину, нам не отвечают ни слова. Ее мать, надо думать, умерла.

— Вот как? — ответил человек и снова задумался.

— Хороша была эта мать, — добавила трактирщица. — Бросила собственное дитя.

В продолжение всей этой беседы Козетта, словно ей подсказал инстинкт, что речь шла о ней, не сводила глаз со своей хозяйки. Но слушала она рассеянно, до нее долетали лишь обрывки фраз.

Между тем гуляки, почти все захмелевшие, с удвоенным азартом повторяли свой гнусный припев. То была крайняя непристойность, куда приплели Пресвятую Деву и младенца Иисуса. Трактирщица направилась к ним, чтобы принять участие в общем веселье. Козетта, сидя под столом, глядела на огонь, отражавшийся в ее неподвижных глазах; она опять принялась

укачивать то подобие младенца в пеленках, которое соорудила себе, и, укачивая, тихо напевала: «Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!»

После новых настояний хозяйки желтый человек, «миллионер», согласился наконец поужинать.

— Что прикажете подать, сударь?

— Хлеба и сыру, — ответил он.

«Наверно, нищий», — решила тетка Тенардье.

Пьяницы продолжали петь свою песню, а ребенок под столом продолжал петь свою.

Вдруг Козетта умолкла: обернувшись, она заметила куклу маленьких Тенардье, которую девочки позабыли, занявшись кошкой, и бросили в нескольких шагах от кухонного стола.

Тогда она выпустила из рук запеленутую саблю, лишь наполовину удовлетворявшую ее сердце, затем медленно обвела глазами комнату. Тетка Тенардье шепталась с мужем и пересчитывала деньги; Эпонина и Азельма играли с кошкой; посетители кто ужинал, кто пил вино, кто пел, — на нее никто не обращал внимания. Каждая минута была дорога. Она на четвереньках выбралась из-под стола, еще раз удостоверилась в том, что за ней не следят, затем быстро подползла к кукле и

схватила ее. Мгновение спустя она снова была на своем месте и сидела неподвижно, но повернувшись таким образом, чтобы кукла, которую она держала в объятиях, оставалась в тени. Счастье поиграть куклой было столь редким для нее, что таило в себе все неистовство наслаждения.

Никто ничего не заметил, кроме проезжего, медленно поглощавшего свой скудный ужин.

Это блаженство длилось с четверть часа.

Но как осторожна ни была при этом Козетта, она не заметила, что одна нога куклы выходит из тени и ярко освещена огнем очага. Эта розовая и блестящая нога, выступавшая из темноты, вдруг поразила взгляд Азельмы, которая сказала Эпонине: «Погляди-ка, сестрица!»

Обе девочки остолбенели. Козетта осмелилась взять куклу!

Эпонина встала и, не выпуская кошки, подошла к матери и стала дергать ее за юбку.

— Да оставь ты меня в покое. Ну, что тебе надо? — спросила мать.

— Мама, — ответила девочка, — да посмотри же!

И указала пальцем на Козетту.

А Козетта, вся охваченная восторгом, ничего не видела и ничего не слышала.

Лицо кабатчицы приняло то особенное выражение, которое вызывается сильнейшей яростью по поводу мелочей жизни и которое заслужило подобного рода женщинам прозвище «мегеры».

На этот раз уязвленная гордость еще сильнее разожгла ее гнев. Козетта преступила все границы, Козетта совершила покушение на куклу «барышень»! Русская царица, которая увидела бы, что мужик примеряет синюю орденскую ленту ее августейшего сына, была бы разгневана не больше.

Охрипшим от возмущения голосом она крикнула:

— Козетта!

Козетта так вздрогнула, словно под ней заколебалась земля. Она обернулась.

— Козетта! — повторила кабатчица.

Козетта взяла куклу и с каким-то благоговением, смешанным с отчаянием, осторожно положила ее на пол. Потом, не сводя с куклы глаз, она сжала ручки, и — страшно было видеть этот жест у восьмилетнего ребенка — она заломила их. Наконец пришло то, к чему ни одно переживание дня не могло вынудить ее, — ни ее путешествие в лес, ни тяжесть полного ведра, ни потеря денег, ни вид плетки, ни даже мрачные,

услышанные ею слова хозяйки, — пришли слезы. Она захлебывалась от рыданий.

Приезжий встал из-за стола.

— Что случилось? — спросил он.

— Да разве вы не видите? — воскликнула кабатчица, указывая пальцем на вещественное доказательство преступления, лежавшее у ног Козетты.

— Ну, и что же? — снова спросил человек.

— Эта сквернавка осмелилась дотронуться до куклы моих детей! — ответила Тенардье.

— И только-то? — сказал человек. — Что ж тут такого, если она и поиграла этой куклой?

— Но она трогала ее своими грязными руками! Своими отвратительными руками! — продолжала кабатчица.

При этих словах рыдания Козетты усилились.

— Ты замолчишь или нет! — крикнула тетка Тенардье.

Незнакомец направился прямо к выходной двери, открыл ее и вышел.

Лишь только он скрылся, кабатчица воспользовалась его отсутствием и так ткнула под столом ногой Козетту, что девочка громко вскрикнула.

Дверь отворилась, человек появился вновь. Он нес в руках ту самую чудесную куклу, о которой

мы уже говорили и на которую все деревенские ребятишки любовались весь день. Он поставил ее перед Козеттой и сказал:

— Возьми, это тебе.

По всей вероятности, в продолжение того часа, который он пробыл здесь, погруженный в задумчивость, он успел смутно разглядеть эту игрушечную лавку, так ярко освещенную плошками и свечами, что сквозь окна харчевни это обилие огней казалось иллюминацией.

Козетта подняла глаза. Человек, приближавшийся к ней с этой куклой, казался ей надвигавшимся на нее солнцем, ее сознания коснулись неслыханные слова: «Это тебе», — она поглядела на него, поглядела на куклу, потом медленно отступила и забилась под стол в самый дальний угол, к стене.

Она больше не плакала, не кричала, — казалось, она не осмеливалась даже дышать.

Кабатчица, Эпонина и Азельма стояли истуканами. Пьяницы и те умолкли. В харчевне воцарилась торжественная тишина.

Тетка Тенардье, окаменевшая и онемевшая от изумления, снова принялась строить догадки: «Кто же он, этот старик? То ли бедняк, то ли миллионер? А может быть, и то и другое — то

есть вор?»

На физиономии супруга Тенардье появилась та выразительная складка, которая так подчеркивает характер человека всякий раз, когда господствующий инстинкт проявляется в нем во всей своей животной силе. Кабатчик поочередно смотрел то на куклу, то на путешественника; казалось, он прощупывал этого человека, как ощупывал бы мешок с деньгами. Но это продолжалось одно мгновенье. Подойдя к жене, он шепнул: «Кукла стоит по меньшей мере тридцать франков. Не дури! Распластывайся перед этим человеком!»

Грубые натуры имеют общую черту с натурами наивными: у них нет постепенных переходов от одного чувства к другому.

— Ну что же, Козетта, — сказала Тенардье кисло-сладким голосом, свойственным злой бабе, когда она хочет казаться ласковой, — почему же ты не берешь свою куклу?

Тогда Козетта осмелилась выползти из своего угла.

— Козетточка, — ласково подхватил Тенардье, — господин дарит тебе куклу. Бери ее. Она твоя.

Козетта глядела на волшебную куклу с чув-

ством какого-то ужаса. Ее лицо было еще залито слезами, но глаза, словно небо на утренней заре, постепенно светлели, излучая необычайное сияние счастья. Если бы ей вдруг сказали: «Малютка, ты королева Франции», она испытала бы почти такое же чувство, как в это мгновение.

Ей казалось, что, лишь только она дотронется до куклы, раздастся удар грома.

До некоторой степени это было верно, так как она не сомневалась, что хозяйка прибьет ее и выругает.

Однако сила притяжения победила. Козетта наконец приблизилась к кукле и, повернувшись к кабатчице, застенчиво прошептала:

— Можно, сударыня?

Нет слов передать этот тон, одновременно отчаянный, испуганный и восхищенный.

— Понятно, можно! — ответила кабатчица. — Она твоя. Ведь господин дарит ее тебе.

— Правда, сударь? — переспросила Козетта. — Разве это правда? Она моя, эта дама?

У проезжего глаза были полны слез. Он, видимо, находился на той грани волнения, когда молчат, чтобы не разрыдаться. Он кивнул Козетте головой и вложил руку «дамы» в ее ручонку.

Козетта быстро отдернула свою руку, словно ру-

ка «дамы» жгла ее, и потупилась. Мы вынуждены отметить, что в эту минуту язык у нее высовывался самым неумеренным образом. Внезапно она обернулась и порывистым движением схватила куклу.

— Я буду звать ее Катериной, — сказала она.

Странно было видеть, как лохмотья Козетты коснулись и перемешались с лентами и ярко-розовым муслиновым платьицем куклы.

— Сударыня, — спросила она, — а можно мне посадить ее на стул?

— Да, дитя мое, — ответила кабатчица.

Теперь пришел черед Азельмы и Эпонины с завистью глядеть на Козетту.

Козетта посадила Катерину на стул, а сама села перед нею на пол и, неподвижная, безмолвная, погрузилась в созерцание.

— Играй же, Козетта, — сказал проезжий.

— О, я играю! — ответил ребенок.

Этот проезжий, этот неизвестный, которого, казалось, само провидение ниспослало Козетте, был в эту минуту тем, кого кабатчица ненавидела больше всего на свете. Однако надо было сдерживаться. Как ни привыкла она скрывать свои чувства, стараясь подражать всем поступкам мужа, но сейчас это было свыше ее сил. Поспешно

отправила она дочерей спать и спросила у желтого человека «позволения» отправить и Козетту. «Она сегодня здорово уморилась», — с материнской заботливостью добавила кабатчица. Козетта отправилась спать, унося в объятиях Катерину.

Время от времени тетка Тенардье удалялась в противоположный угол залы, где сидел ее муж, чтобы, по собственному ее выражению, «отвести душу». Она обменивалась с ним несколькими словами, тем более яростными, что не решалась произносить их громко.

— Старая бестия! Какая муха его укусила? Только растревожил нас! Он, видите ли, хочет, чтобы эта маленькая уродина играла! Хочет подарить ей куклу! Куклу в сорок франков этой паршивой собачонке, которую, всю как есть, я отдала бы за сорок су! Еще немного, и он начнет величать ее «ваше величество», словно герцогиню Беррийскую! Да в здравом ли он уме? Рехнулся он, что ли, этот непонятный старикашка?

— Ничего не рехнулся! Все это очень просто, — возразил Тенардье. — А если ему так нравится? Тебе вот нравится, когда девчонка работает, а ему нравится, когда она играет. Он имеет на это право. Путешественник, если платит, может делать все, что хочет. Если этот старичина — филантроп,

тебе-то что? Если он дурак, тебя это не касается. Чего ты суешься, раз у него есть деньги?

Это была речь главы дома и доводы трактирщика; ни тот ни другой не терпели возражений.

Неизвестный облокотился на стол и вновь задумался. Все прочие посетители, торговцы и возчики, отошли подальше и перестали петь. Они взирали на него издали с каким-то почтительным страхом. Этот бедно одетый чудак, вынимавший столь непринужденно из кармана пятифранковики и щедро даривший огромные куклы маленьким замарашкам в сабо, был, несомненно, удивительный, но и опасный человек.

Протекло несколько часов. Полуночная служба отошла, ужин рождественского сочельника закончился, бражники разошлись, кабак закрылся, нижняя зала опустела, огонь потух, а незнакомец продолжал сидеть все на том же месте, в той же позе. Порой он менял только руку, на которую опирался. Вот и все. Но с тех пор как ушла Козетта, он не произнес ни слова.

Супруги Тенардье из любопытства и приличия оставались в зале. «Он всю ночь, что ли, собирается этак провести?» — ворчала Тенардье. Когда пробило два, она сдалась, заявив мужу: «Я иду спать. Делай с ним что хочешь». Супруг уселся

около стола в углу, зажег свечу и принялся читать «Французский вестник».

Так прошел добрый час. Достойный трактирщик прочел по крайней мере раза три «Французский вестник» от даты газеты до имени издателя включительно. Проезжий не трогался с места.

Тенардье шевельнулся, кашлянул, сплюнул, высморкался, скрипнул стулом. Человек оставался неподвижен. «Уж не заснул ли он?» — подумал Тенардье. Человек не спал, но ничто не могло пробудить его от дум.

Наконец Тенардье, сняв свой колпак, осторожно подошел к нему и отважился спросить:

— Не угодно ли вам, сударь, идти почивать?

Сказать «идти спать» казалось ему слишком грубым и фамильярным. В слове «почивать» ощущалась какая-то пышность и одновременно почтительность. Подобные слова обладают таинственным и замечательным свойством раздувать на следующий день сумму счета. Комната, где «спят», стоит двадцать су; комната, где «почивают», стоит двадцать франков.

— Да, — сказал незнакомец, — вы правы. Где ваша конюшня?

— Сударь, — усмехаясь, произнес Тенардье, — я провожу вас, сударь.

Он взял подсвечник, незнакомец взял свой сверток и палку, и Тенардье повел его в комнату первого этажа, убранную с необыкновенной роскошью: там была мебель красного дерева, кровать в форме лодки и занавески из красного коленкора.

— Это что такое? — спросил путник.

— Это наша собственная спальня, — ответил трактирщик. — Мы с супругой теперь спим в другой комнате. Сюда входят не чаще двух-трех раз в год.

— Мне больше по душе конюшня, — резко сказал незнакомец.

Тенардье сделал вид, что не расслышал этого неучтивого замечания.

Он зажег две неначатые восковые свечи, украшавшие камин, внутри которого пылал довольно сильный огонь.

На каминной доске под стеклянным колпаком лежал женский головной убор из серебряной проволоки и померанцевых цветов.

— А это что такое? — спросил проезжий.

— Сударь, — ответил Тенардье, — это подвенечный убор моей супруги.

Незнакомец окинул этот предмет взглядом, который словно говорил: «Значит, даже это чудо-

вище когда-то было невинной девушкой!»

Но Тенардье лгал. Когда он снял в аренду этот жалкий домишко, чтобы открыть в нем кабак, то уже нашел эту комнату подобным образом обставленною; он купил эту мебель и сторговал померанцевые цветы, рассчитывая, что все это окружит ореолом изящества его «супругу» и придаст его дому то, что у англичан называется «респектабельностью».

Когда путешественник обернулся, хозяин уже исчез. Тенардье скрылся незаметно, не осмелившись пожелать спокойной ночи, так как не желал выказывать оскорбительную сердечность человеку, которого предполагал на следующее утро ободрать как липку.

Трактирщик удалился в свою комнату. Жена уже лежала в постели, но не спала. Услыхав шаги мужа, она обернулась и сказала:

— Знаешь, завтра я выгоню Козетту вон.

— Прыткая какая! — холодно ответил Тенардье.

Больше они не обменялись ни словом, и несколько минут спустя их свеча потухла.

Путешественник же, лишь только хозяин ушел, положил в угол свой сверток и палку, опустился в кресло и несколько минут сидел задумавшись.

Потом он снял ботинки, взял одну из свечей, задул другую, толкнул дверь и вышел, осматриваясь вокруг, словно что-то искал. Он двинулся по коридору, который вывел его на лестницу. Тут он услыхал чуть слышный звук, напоминавший дыхание ребенка. Он пошел на этот звук и очутился возле какого-то трехугольного углубления, устроенного под лестницей или, точнее, образованного самой же лестницей. Это углубление было не чем иным, как обратной стороной ступеней. Там, среди всевозможных старых корзин и битой посуды, в пыли и паутине, находилась постель, если только можно назвать постелью соломенный тюфяк, такой дырявый, что из него торчала солома, и одеяло, такое рваное, что сквозь него виден был тюфяк. Простыней не было. Все это валялось на каменном полу. На этой-то постели и спала Козетта.

Незнакомец подошел ближе и стал смотреть на нее.

Козетта спала глубоким сном. Она спала в одежде: зимой она не раздевалась, чтобы было теплее.

Она прижимала к себе куклу, большие открытые глаза которой блестели в темноте. От времени до времени Козетта тяжко вздыхала,

словно собиралась проснуться, и почти судорожно обнимала куклу. Возле ее постели стоял только один из ее деревянных башмаков.

Рядом с каморкой Козетты сквозь открытую дверь виднелась довольно просторная темная комната. Проезжий вошел в нее. В глубине, сквозь стеклянную дверь, видны были две одинаковые, маленькие, очень беленькие кроватки. Это были кроватки Эпонины и Азельмы. Позади этих кроваток, наполовину скрытая ими, виднелась ивовая люлька без полога, в которой спал маленький мальчик, кричавший весь вечер.

Проезжий предположил, что эта комната была смежной с комнатой супругов Тенардье. Он хотел уже уйти, как вдруг взгляд его упал на камин, один из тех огромных трактирных каминов, в которых всегда горит такой скудный огонь, если он вообще горит, и от которых веет холодом. В этом камине не было огня, в нем не было даже золы; но то, что стояло в нем, привлекло, однако, внимание путешественника. То были два детских башмачка изящной формы и разной величины. Проезжий вспомнил прелестный старинный обычай детей ставить в камин в рождественский сочельник свой башмачок, в надежде, что ночью добрая фея положит в него какой-нибудь

ослепительный подарок. Эпонина и Азельма не упустили такого случая, и каждая поставила в камин по башмачку.

Проезжий нагнулся.

Фея, то есть мать, уже побывала здесь, и в каждом башмачке блестела великолепная монета в десять су, совершенно новенькая.

Человек выпрямился и уже собирался удалиться, но заметил в глубине, в сторонке, в самом темном углу очага, какой-то предмет. Он взглянул и узнал сабо, самое грубое, ужасное деревенское сабо, наполовину разбитое, все в засохшей грязи и в золе. Это было сабо Козетты. Козетта, с той трогательной детской доверчивостью, которая, никогда не отчаиваясь, способна постоянно терпеть разочарования, поставила — и она тоже — свое сабо в камин.

Как божественна и трогательна была эта надежда в ребенке, который знавал одно лишь горе!

В этом сабо ничего не лежало.

Проезжий пошарил в кармане, нагнулся и положил в сабо Козетты луидор.

Затем, неслышно ступая, вернулся в свою комнату.

Глава 9
Тенардье за делом

На другое утро, по крайней мере за два часа до рассвета, Тенардье, сидя в нижней зале трактира за столом, на котором горела свеча, с пером в руке, составлял счет путешественника в желтом рединготе.

Жена стояла, слегка наклонившись над ним, и следила за его пером. Они не произносили ни слова. Он сосредоточенно размышлял, она же испытывала то благоговейное чувство, с которым человек взирает на возникающее и расцветающее перед ним чудесное творение человеческого ума. В доме слышался шорох: то Жаворонок подметала лестницу.

Спустя добрых четверть часа, после нескольких поправок, Тенардье создал следующий шедевр:

СЧЕТ ГОСПОДИНУ ИЗ № 1
Ужин 3 фр.
Комната 10 фр.
Свеча 5 фр.
Топка 4 фр.
Услуги 1 фр.

Итого 23 фр.

Вместо «услуги» написано было «усслуги».

— Двадцать три франка! — воскликнула жена с восторгом, к которому все же примешивалось некоторое сомнение.

Тенардье, как все великие артисты, не был, однако, удовлетворен.

— Пфа! — пыхнул он.

То было восклицание Кастльри, составлявшего на Венском конгрессе счет, по которому должна была уплатить Франция.

— Ты прав, господин Тенардье, он действительно нам столько должен, — пробормотала жена, вспомнив о кукле, подаренной Козетте в присутствии ее дочерей. — Это справедливо, но многовато. Он не захочет платить.

Тенардье засмеялся своим холодным смехом и ответил:

— Заплатит.

Этот смех был высшим доказательством уверенности и превосходства. То, о чем говорилось подобным тоном, не могло не сбыться. Жена не возражала. Она начала приводить в порядок столы; супруг расхаживал взад и вперед по комнате.

Немного погодя он добавил:

— Ведь долгу-то у меня полторы тысячи франков!

Он уселся возле камина и, положив ноги на теплую золу, отдался размышлениям.

— Кстати, — опять заговорила жена, — ты не забыл, что сегодня я собираюсь вышвырнуть Козетту за дверь? Вот гадина! У меня прямо сердце разорвется из-за этой ее куклы! Мне легче было бы выйти замуж за Людовика Восемнадцатого, чем лишний день терпеть ее в доме!

Тенардье закурил трубку и сказал между двумя затяжками:

— Ты подашь счет этому человеку.

Затем он вышел.

Только он скрылся за дверью, как в залу вошел проезжий.

Тенардье тут же показался за его спиной и стал в полураскрытых дверях таким образом, что виден был только жене.

Желтый человек держал в руке свою палку и сверток.

— Так рано и уже на ногах? — воскликнула кабатчица. — Разве вы покидаете нас, сударь?

Она в замешательстве вертела в руках счет, складывая его и проводя ногтями по сгибу. Ее

грубая физиономия выражала несвойственные ей чувства смущения и беспокойства.

Представить подобный счет человеку, похожему «точь-в-точь на нищего», казалось ей неудобным.

У проезжего был озабоченный и рассеянный вид. Он ответил:

— Да, сударыня, я ухожу.

— Значит, у вас, сударь, не было никаких дел в Монфермейле?

— Нет. Я здесь мимоходом. Вот и все. Сколько я вам должен, сударыня?

Тенардье молча подала ему сложенный счет.

Человек расправил его, взглянул, но, видимо, думал о чем-то ином.

— Сударыня, — спросил он, — а хорошо ли идут ваши дела здесь, в Монфермейле?

— Так себе, сударь, — ответила кабатчица, изумленная тем, что счет не вызвал взрыва возмущения. — Ах, сударь, — продолжала она жалобным и плаксивым тоном, — тяжелое время теперь! Вдобавок и людей-то зажиточных в нашей округе очень мало. Все, знаете, больше мелкий люд. К нам только изредка заглядывают такие щедрые и богатые господа, как вы, сударь. Мы платим пропасть налогов. А тут, видите ли,

еще и эта девчонка влетает нам в копеечку!

— Какая девчонка?

— Ну, девчонка-то, помните? Козетта. Жаворонок, как ее тут, в деревне, прозвали.

— А-а! — протянул незнакомец.

Она продолжала:

— И дурацкие же у этих мужиков клички! Она больше похожа на летучую мышь, чем на жаворонка. Видите ли, сударь, мы сами милостыни не просим, но и подавать другим не можем. Мы ничего не зарабатываем, а платить должны много. Патент, подати, обложение дверей и окон, добавочные налоги! Вы сами знаете, сударь, какие ужасные деньги дерет с нас правительство. А кроме того, у меня ведь есть свои дочери. Очень мне надо кормить чужого ребенка.

Тогда незнакомец, стараясь говорить равнодушно, хотя голос его слегка дрожал, спросил:

— А что, если бы вас освободили от нее?

— От кого? От Козетты?

— Да.

Красная и свирепая физиономия кабатчицы расплылась в омерзительной улыбке.

— О, возьмите ее, сударь, оставьте у себя, уведите ее, унесите, осыпьте ее сахаром, начините трюфелями, выпейте ее, скушайте, и да благосло-

вит вас Пресвятая Дева и все святые угодники!

— Хорошо.

— Правда? Вы возьмете ее?

— Я возьму ее.

— Сейчас?

— Сейчас. Позовите ребенка.

— Козетта! — закричала Тенардье.

— А пока, — продолжал путник, — я уплачу вам по счету. Сколько с меня следует?

Взглянув на счет, он не мог скрыть удивления:

— Двадцать три франка! — Он посмотрел на трактирщицу и повторил: — Двадцать три франка? — В том, как произнесены были во второй раз эти три слова, скрывался оттенок, проводящий грань между восклицанием и вопросом.

У трактирщицы было достаточно времени, чтобы приготовиться к удару. Она ответила твердо:

— Ну да, сударь! Двадцать три франка.

Незнакомец положил на стол пять монет по пяти франков.

— Приведите малютку, — сказал он.

В это мгновение на середину комнаты выступил сам Тенардье.

— Этот господин должен двадцать шесть су, — сказал он.

— Как двадцать шесть су? — вскричала жена.

— Двадцать су за комнату, — холодно ответил Тенардье, — и шесть су за ужин. Что же касается малютки, то на этот счет мне надо потолковать немного с господином проезжим. Оставь нас одних, жена.

Тетка Тенардье ощутила нечто подобное тому, что испытывает человек, ослепленный внезапным проявлением большого таланта. Она почувствовала, что великий актер вступил на подмостки, и, не возразив ни слова, удалилась.

Как только они остались одни, Тенардье предложил проезжему стул. Проезжий сел; Тенардье остался стоять, и лицо его приняло непривычно добродушное и простоватое выражение.

— Сударь, — сказал он, — послушайте, скажу вам прямо: я обожаю это дитя.

Незнакомец пристально взглянул на него.

— Какое дитя?

Тенардье продолжал:

— Смешно просто! А вот привязываешься к ним. На что мне все эти деньги? Можете забрать обратно ваши монетки в сто су. Этого ребенка я обожаю.

— Да кого же? — переспросил незнакомец.

— А нашу маленькую Козетту. Вы ведь, кажется, собираетесь увезти ее от нас? Так вот, говорю

вам откровенно, я не соглашусь расстаться с ребенком, и это так же верно, как то, что вы честный человек. Я не могу на это согласиться. Когда-нибудь девочка упрекнула бы меня. Я видел ее совсем крошкой. Правда, она стоит нам денег, правда, у нее есть недостатки, правда, мы не богаты, правда, я заплатил за лекарства только во время одной ее болезни более четырехсот франков! Но ведь надо что-нибудь делать во имя божье. У бедняжки нет ни отца, ни матери, я ее вырастил. У меня хватит хлеба и на нее, и на себя. Одним словом, я привязан к этому ребенку. Понимаете, постепенно привыкаешь любить их; моя жена вспыльчива, но и она любит ее. Девочка для нас, видите ли вы, все равно что родной ребенок. Я привык к ее лепету в доме.

Незнакомец продолжал пристально глядеть на него.

— Прошу меня простить, сударь, — продолжал Тенардье, — но своего ребенка не отдают ведь ни с того ни с сего первому встречному. Разве я не прав? Конечно, ничего не скажешь, вы богаты, у вас вид человека очень порядочного. Может быть, это принесло бы ей счастье… но мне надо знать. Вы понимаете? Предположим, я отпущу ее и пожертвую собой, но я желал бы знать, куда

она уедет, мне не хотелось бы терять ее из виду. Я желал бы знать, у кого она находится, чтобы время от времени навещать ее: пусть она чувствует, что ее добрый названый отец недалеко, что он охраняет ее. Одним словом, есть вещи, которые превышают наши силы. Я даже имени вашего не знаю. Вы уведете ее, и я скажу себе: «Ну, а где же наш Жаворонок? Куда он перелетел?» Я должен видеть хоть какой-нибудь клочок бумажки, хоть краешек паспорта, так ведь?

Незнакомец, не спуская с него пристального, словно проникающего в глубь его совести взгляда, ответил серьезным и решительным тоном:

— Господин Тенардье, отъезжая из Парижа на пять лье, паспорта с собой не берут. Если я увезу Козетту, то увезу ее, и баста! Вы не будете знать ни моего имени, ни моего местожительства, вы не будете знать, где она, и мое намерение таково, чтобы она никогда в жизни не видела вас больше. Я порываю нити, связывающие ее с этим домом, она исчезает. Согласны вы? Да или нет?

Как демоны и гении по определенным признакам познают присутствие высшего существа, так и Тенардье понял, что имеет дело с кем-то очень сильным. Он понял это как бы по наитию, мгновенно, со свойственной ему сообразительно-

стью и проницательностью. Накануне, выпивая с возчиками, куря и распевая непристойные песни, он весь вечер наблюдал за неизвестным, подстерегая его, словно кошка, и изучая его, словно математик. Он выслеживал его из личного расчета, ради удовольствия и следуя инстинкту; одновременно он шпионил за ним, как будто должен был получить за это вознаграждение. Ни один жест, ни одно движение человека в желтом рединготе не ускользали от него. Еще до того, как неизвестный так явно проявил свое участие к Козетте, Тенардье уже угадал его. Он перехватил задумчивый взгляд старика, непрестанно обращаемый на ребенка. Но чем могло быть вызвано это участие? Кто был этот человек? Почему, имея такую толстую мошну, он был так нищенски одет? Вот вопросы, которые напрасно задавал себе Тенардье, не будучи в силах разрешить их, и это его раздражало. Он размышлял об этом всю ночь. Незнакомец не мог быть отцом Козетты. Может быть, дедом? Но тогда почему же он не открылся сразу? Если твои права законны, предъяви их! Этот человек, видимо, не имел никаких прав на Козетту. Но тогда кем же он был? Тенардье терялся в догадках. Он предполагал все и не знал ничего. Как бы там ни было,

завязав разговор с этим человеком и, уверенный в том, что тут кроется какая-то тайна, что проезжий не без умысла желает остаться в тени, он чувствовал себя сильным. Но когда по ясному и твердому ответу незнакомца Тенардье понял, что эта загадочная фигура была проста при всей ее загадочности, кабатчик почувствовал себя слабым. Ничего подобного он не ожидал. Это было полное крушение всех его догадок. Он собрал свои мысли, он взвесил все это в одну секунду. Тенардье принадлежал к людям, умеющим в мгновение ока уяснить себе положение. Заключив, что пришло время действовать прямолинейно и быстро, он поступил так, как поступают великие полководцы в решающий момент, который им одним дано угадать: он внезапно сорвал прикрытия со всех своих батарей.

— Сударь, — заявил он, — мне нужны полторы тысячи франков.

Незнакомец вынул из бокового кармана старый черный кожаный бумажник, достал три банковых билета и положил их на стол. Затем, прикрыв широким большим пальцем билеты, сказал:

— Приведите Козетту.

Что же делала все это время Козетта?

Проснувшись, она побежала к своему сабо.

В нем она нашла золотую монету. Это был не наполеондор, а монета времен Реставрации, стоимостью в двадцать франков, совершенно новенькая, и на лицевой ее стороне вместо лаврового венка изображен был прусский хвостик. Козетта была ослеплена. Ее судьба начинала опьянять ее. Она не знала, что такое золотой, она никогда их не видела, и поспешно спрятала монету в карман передника, словно украла ее. Между тем она чувствовала, что этот золотой — неоспоримая ее собственность, она догадалась, чей дар это был, однако испытывала какое-то смешанное чувство и радости, и страха. Она была довольна; еще более она была поражена. Подарки, такие великолепные, такие красивые, казались ей ненастоящими. Кукла возбуждала в ней страх, золотой возбуждал в ней страх. Она бессознательно трепетала перед всем этим великолепием. Только незнакомец не внушал ей страха. Напротив, одна мысль о нем уже успокаивала ее. Со вчерашнего дня, сквозь все потрясения, сквозь сон, она своим маленьким, детским умом размышляла об этом человеке, на вид таком старом, жалком и печальном, а на самом деле — таком богатом и добром. С момента встречи с этим стариком в лесу все для нее словно изменилось.

Козетта, испытавшая счастья меньше, чем самая незаметная пташка небесная, никогда не знала, что значит жить, приютившись под крылышком матери. С пятилетнего возраста, то есть с тех пор, как она себя помнила, бедная малютка дрожала от страха и холода. Она всегда была беззащитна перед пронизывающим студеным ветром беды, теперь же ей казалось, что она укрыта. Прежде ее душе было холодно, теперь — тепло. Она уже не так боялась Тенардье. Она уже не была одинока; кто-то стоял подле нее.

Она проворно принялась за свою ежедневную утреннюю работу. Луидор, лежавший в том же кармашке, из которого накануне выпала монета в пятнадцать су, отвлекал ее. Дотронуться до него она не смела, но минут по пять любовалась им, и, надо сознаться, высунув язык. Подметая лестницу, Козетта вдруг останавливалась и застывала на месте, неподвижная, позабыв о своей метелке, обо всем на свете, уйдя в созерцание этой звезды, блистающей в глубине ее кармашка.

В такую-то минуту и застигла ее тетка Тенардье.

По приказанию мужа она отправилась за девочкой. Потрясающее событие! Хозяйка не наградила ее ни одним тумаком и не обругала ее.

— Козетта, — сказала она почти кротко, — иди скорее.

Спустя минуту Козетта входила в нижнюю залу.

Незнакомец взял принесенный им сверток и развязал его. В свертке лежали детское шерстяное платьице, фартучек, бумазейный лифчик, нижняя юбка, косынка, шерстяные чулки, башмаки — одним словом, полное одеяние для семилетней девочки. Все вещи были черного цвета.

— Дитя мое, — сказал незнакомец, — возьми все это и пойди скорее переоденься.

День еще только занимался, когда те из жителей Монфермейля, которые начали отпирать свои двери, увидели, как по Парижской улице шел бедно одетый старик, ведя за руку маленькую девочку в трауре, державшую розовую куклу. Они шли по направлению к Ливри.

Это были наш незнакомец и Козетта.

Никто не знал этого человека, а так как Козетта сбросила свои лохмотья, то многие не узнали и ее.

Козетта уходила. С кем? Она не ведала. Куда? Она не знала. Лишь одно ей было понятно: она покидала харчевню Тенардье. Никто не подумал проститься с ней, как и она не простилась ни с

кем. Козетта уходила из этого дома ненавидящая и ненавидимая.

Бедное, кроткое существо, чье сердце до сей поры знало одно лишь горе!

Козетта шла степенно, широко открыв большие глаза и глядя на небо. Свой луидор она положила в кармашек нового передника. От времени до времени она наклонялась и смотрела на него, потом переводила взгляд на старика. Ей казалось, будто рядом с нею сам господь бог.

Глава 10
Кто ищет лучшего, может найти худшее

Тетка Тенардье, по обыкновению, предоставила действовать мужу. Она ожидала великих событий. Когда проезжий и Козетта ушли, то Тенардье, подождав добрых четверть часа, отвел жену в сторону и показал ей полторы тысячи франков.

— И только-то? — удивилась она.

Впервые за всю их супружескую жизнь она осмелилась критиковать действия своего владыки.

Удар попал в цель.

— Ты права, конечно! — ответил он. — Я дурак! Дай-ка мне мою шляпу.

Сложив три банковых билета, он сунул их в карман и поспешно вышел, но сначала ошибся, взяв вправо. Соседи, которых он расспросил, направили его по верному следу; они видели, как Жаворонок и незнакомец шли в сторону Ливри. Он быстро зашагал по указанному ему пути.

«Этот человек, очевидно, миллион, одетый в

желтое, а я — болван, — рассуждал он сам с собой. — Начал он с того, что дал двадцать су, затем пять франков, затем пятьдесят, затем полторы тысячи франков, и все с одинаковой легкостью. Он дал бы и пятнадцать тысяч франков. Но я нагоню его. А узелок с платьем, заранее заготовленный для девчонки, — все это весьма странно; под этим скрывается немало тайн. Но уловленную тайну из рук не выпускают. Секреты богачей — это губки, пропитанные золотом, надо только уметь их выжимать. — Все эти мысли вихрем кружились в его голове. — Я болван», — повторял он.

Когда выходишь из Монфермейля и достигаешь поворота, образуемого дорогой, ведущей в Ливри, то далеко вперед видно, как эта дорога бежит по плато. Дойдя до этого места, Тенардье рассчитывал увидеть старика и девочку. Он всматривался в даль, сколько хватал глаз, но никого не заметил. Тогда он вторично обратился за указаниями. А время между тем шло. Встречные ответили ему, что старик и ребенок, о которых он спрашивал, направились к лесу в сторону Ганьи. Он поспешил в ту же сторону.

Правда, они опередили его, но ведь ребенок идет медленно, а Тенардье шел быстро. К тому же местность была ему хорошо знакома.

Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, забывший самое главное и готовый повернуть обратно.

— Надо было захватить с собой ружье, — пробормотал он.

Тенардье принадлежал к числу тех двойственных натур, которые иногда незаметно появляются среди нас и исчезают непонятыми, потому что судьба показала их нам лишь с одной стороны. Удел множества людей именно таков: проявлять себя лишь наполовину. При спокойной и ровной жизни Тенардье обладал всеми данными, чтобы «прослыть» — мы не говорим «быть» — честным, как принято выражаться, торговцем, порядочным гражданином. И в то же время, при иных условиях, при некоторых потрясениях, пробуждавших скрытые его инстинкты, он обнаруживал все данные негодяя. Это был лавочник, в котором таилось чудовище. Должно быть, сам сатана в иные мгновения, сидя на корточках в каком-нибудь углу трущобы, где жил Тенардье, предавался размышлениям перед этим высочайшим образцом человеческой низости,

После минутного колебания Тенардье подумал: «Ну нет! А то они успеют скрыться!»

И он продолжал свой путь вперед быстрым,

уверенным шагом, с безошибочным чутьем лисицы, которая выследила стайку куропаток.

И в самом деле, когда он, миновав пруды, пересек наискосок большую прогалину, что направо от лесной дороги на Бельвю, и достиг той заросшей травой аллеи, которая окружает почти весь холм, скрывая под собою своды старинного водопровода Шельского аббатства, он разглядел над кустарниками шляпу, по поводу которой он мысленно нагромоздил уже такое множество догадок. Эта шляпа принадлежала незнакомцу. Кустарник был низкорослый. Тенардье догадался, что путник и Козетта присели под ним отдохнуть. Ребенок был так мал, что его не было видно, зато видна была голова куклы.

Тенардье не ошибся. Незнакомец уселся там, чтобы дать Козетте немного передохнуть. Кабатчик обогнул кустарник и внезапно предстал перед теми, кого искал.

— Прошу прощения, сударь, — проговорил он, запыхавшись, — извольте получить ваши полторы тысячи франков.

С этими словами он протянул незнакомцу три банковых билета.

Тот взглянул на него.

— Что это значит?

Тенардье ответил почтительно:

— Сударь, это значит, что я беру Козетту обратно.

Козетта вздрогнула и прижалась к старику.

А он, глядя пристально в глаза Тенардье, сказал, отделяя каждый слог:

— Вы бе-ре-те об-рат-но Козетту?

— Да, сударь, я беру ее. Сейчас я объясню вам почему. Я передумал. В самом деле, я не имею права отдавать ее вам. Видите ли, я честный человек. Это не мое дитя, оно принадлежит своей матери. И мать доверила его мне, поэтому я могу вернуть его только матери. Вы ответите мне: «Но мать умерла». Допустим. В таком случае я доверю ребенка только тому, кто представит мне записку с подписью матери, где будет сказано, что я должен отдать ребенка предъявителю этой записки. Ясно?

Человек, не отвечая, порылся в кармане, и Тенардье снова увидел бумажник с банковыми билетами.

Трактирщик задрожал от радости.

«Прекрасно! — подумал он. — Держись, Тенардье! Он хочет меня подкупить».

Прежде чем открыть бумажник, путник огляделся. Место было совершенно пустынное. В лесу

и в долине не видно было ни души. Он открыл бумажник и, достав из него не пачку банковых билетов, как ожидал Тенардье, а простой клочок бумаги, развернул его и протянул трактирщику, сказав: «Вы правы. Прочтите».

Тенардье взял бумажку и прочел:

«Монрейль-Приморский, 25 марта 1823 года.

Господин Тенардье,

Отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены.

Остаюсь с уважением,

Фантина».

— Вам знакома эта подпись, — добавил путник.

Подпись действительно принадлежала Фантине. Тенардье узнал ее.

Возражать было нечего. Он был сильно и вдвойне раздосадован: тем, что приходится отказаться от денег, на которые он рассчитывал, и тем, что был побежден.

— Эту бумажку вы можете сохранить как оправдательный документ, — сказал незнакомец.

Тенардье пришлось отступать по всем правилам.

— Подпись довольно ловко подделана, — проворчал он сквозь зубы. — Ну да ладно!

Затем он сделал еще одну безнадежную попытку.

— Пускай будет так, сударь, — сказал он, — поскольку вы являетесь подателем этого письма. Но надо оплатить мне «все мелкие расходы». А должок-то порядочный.

Человек встал и, счищая щелчками пыль с потертого рукава, ответил:

— Господин Тенардье, в январе мать считала, что должна вам сто двадцать франков; но в феврале вы послали ей счет на пятьсот франков; вы получили триста франков в конце февраля и триста франков в начале марта. С той поры прошло девять месяцев; согласно условию, вы за каждый месяц должны получать пятнадцать франков; это составляет всего сто тридцать пять франков. Вы получили лишних сто. Остается долгу тридцать пять франков. А я только что дал вам тысячу пятьсот.

Тенардье испытал то же чувство, что волк, схваченный стальными челюстями капкана.

«Что за черт этот человек!» — подумал он.

И поступил так, как поступает волк: рванулся вон из капкана. Ведь однажды его уже выручило

нахальство.

— Господин-имени-которого-не-имею-честизнать, — сказал он решительно, оставляя на этот раз в стороне вежливые свои приемы, — я забираю Козетту, или вы дадите мне тысячу экю.

Незнакомец спокойно сказал:

— Идем, Козетта.

Левую руку он протянул Козетте, а правой подобрал свою палку, лежавшую на земле.

Тенардье отметил про себя увесистость дубинки и уединенность местности.

Человек углубился с девочкой в лес; озадаченный кабатчик не тронулся с места.

Они уходили все дальше. Тенардье глядел на его широкие, слегка согбенные плечи и на его внушительные кулаки.

Потом он перевел взгляд на себя, на свои слабые, худые руки. «Выходит, я и вправду отпетый дурак, — подумал он, — пошел на охоту без ружья!»

И все же он не хотел сдаваться до конца.

— Мне надо знать, куда он пойдет, — пробормотал он. И, держась все время поодаль, последовал за ними. В руках у него оставались две вещи: насмешка — клочок бумажки с подписью «Фантина», и утешение — полторы тысячи франков.

Человек уводил Козетту по направлению к Ливри и Бонди. Он шел медленно, понурив голову, задумчивый и грустный. Зима сделала лес сквозным, и потому Тенардье не мог потерять их из виду, хоть и держался от них на довольно значительном расстоянии. От времени до времени человек оборачивался, чтобы удостовериться, не следит ли кто за ними. Внезапно он заметил Тенардье. Тогда он быстро углубился с Козеттой в лесную поросль, среди которой им легко было скрыться.

— Тьфу ты пропасть! — воскликнул Тенардье и ускорил шаг.

Густота лесной чащи принудила его близко подойти к ним. Когда человек вошел в самую ее глубь, то обернулся. Напрасно Тенардье старался укрыться среди кустов, ему не удалось спрятаться от старика. Тот бросил на него беспокойный взгляд, покачал головой и продолжал путь. Трактирщик возобновил преследование. Так прошли они шагов двести-триста. Вдруг человек снова оглянулся и снова заметил трактирщика. На этот раз его взгляд, обращенный на Тенардье, был так мрачен, что тот счел «бесполезным» дальнейшее преследование. Тенардье круто повернулся домой.

Глава 11
Номер 9430 появляется снова, и Козетта выигрывает его в лотерею

Жан Вальжан не умер.

Упав в море, точнее бросившись туда, он был, как известно, без кандалов. Он поплыл под водой до стоявшего на рейде корабля, к которому было принайтовано гребное судно. Ему удалось спрятаться на нем до вечера. Ночью он снова пустился вплавь и достиг берега неподалеку от мыса Брен. Денег у него было достаточно, и он раздобыл себе там одежду. Кабак в окрестностях Балагье был в ту пору гардеробной беглых каторжников, что являлось для него прибыльной специальностью. Затем Жан Вальжан, подобно всем этим несчастным беглецам, старающимся обмануть бдительность закона и уйти от злой участи, уготованной им обществом, избрал сложный, беспокойный маршрут. Первый приют он нашел в Прадо близ Боссе. Затем он направился к Гран-Вилару, около Бриансона в Верхних Альпах. То было лихорадочное бегство вслепую, путь крота, подземные ходы которого никому

не ведомы. Впоследствии можно было обнаружить некоторые следы его пребывания в Эне, находящемся в области Сивриэ; в Пиренеях, в Аконе, расположенном в местности, называемой Гранж-де-Думек; около деревушки Шавайль и в окрестностях Периге в Брюни, кантоне Шапель-Гонаге. Наконец он добрался до Парижа. Мы только что видели его в Монфермейле.

Первой его заботой в Париже было купить траурную одежду для девочки семи-восьми лет и подыскать себе жилье. Сделав это, он направился в Монфермейль.

Читатель, вероятно, припомнит, что перед своим предыдущим бегством он уже предпринимал в самом Монфермейле или в его окрестностях таинственное путешествие, о котором правосудие имело некоторые сведения.

Впрочем, его считали умершим, и это еще сильнее сгущало опустившуюся на него тьму. В Париже ему попалась в руки газета, устанавливавшая факт его смерти. Он почувствовал себя успокоенным, почти умиротворенным, словно действительно умер.

Вечером того же дня, когда Жан Вальжан вырвал Козетту из когтей Тенардье, он в сумерки вошел с ребенком в Париж через заставу Монсо.

Здесь он сел в кабриолет, доставивший его к эспланаде Обсерватории, где он сошел. Уплатив кучеру, он взял Козетту за руку, и оба, уже глубокой ночью, направились по пустынным улицам, прилегавшим к Урсин и Гласьер, в сторону Госпитального бульвара.

Для Козетты это был необычайный и полный впечатлений день. Они ели под плетнями купленные в уединенных харчевнях хлеб и сыр, часто пересаживались из одного экипажа в другой, часть дороги шли пешком. Она не жаловалась, но устала, и Жан Вальжан заметил это по своей руке, которую она сильнее тянула на ходу. Он посадил ее к себе за спину. Козетта, не выпуская Катерины из рук, положила головку на плечо Жана Вальжана и уснула.

Книга четвертая
Лачуга Горбо

Глава 1
Хозяин Горбо

Если бы сорок лет тому назад одинокий прохожий, вздумавший углубиться в глухую окраину Сальпетриер, поднялся бы вдоль бульвара до Итальянской заставы, то он дошел бы до одного из тех мест, где, так сказать, исчезает Париж. Нельзя сказать, чтобы это была совершенная глушь, — здесь попадались прохожие; нельзя сказать, чтобы это была деревня, — здесь попадались городские домики и улочки. Но это не был и город — на улицах пролегали колеи, как на больших проезжих дорогах, и росла трава; это не было и село — дома были слишком высоки. Тогда что же представляла собой эта окраина, одновременно и обитаемая и безлюдная, пустынная и в то же время кем-то населенная? То был бульвар большого города, парижская улица, ночью более жуткая, чем лес, а днем более мрачная, чем кладбище.

Это был старый квартал Конного рынка.

Если прохожий отваживался выйти за пределы четырех обветшалых стен Конного рынка, если он решался тем более миновать Малую Банкир-

скую улицу и, оставив вправо от себя конопляник, обнесенный высокими стенами, потом луг, где высились кучи молотой дубовой коры, похожие на жилища гигантских бобров, затем огороженное место, заваленное строевым лесом, грудами пней, опилок и щепы, на верхушке которых лаял сторожевой пес, затем длинную низкую развалившуюся стену с маленькой черной грязной дверью, покрытую мхом, который весной прорастал цветами, и далее, уже в самом глухом месте, отвратительное ветхое строение, на котором большими печатными буквами было выведено: ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВЫВЕШИВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ, то этот отважный прохожий достигал конца улицы Винь-Сен-Марсель, весьма мало известной. Там, вблизи завода и между двумя оградами садов, виднелась в ту пору лачуга, которая казалась с первого взгляда маленькой, словно хижина, а на самом деле была огромной, как собор. На проезжую дорогу она выходила боковым своим фасадом — отсюда и обманчивое представление о ее величине. Почти весь дом был скрыт. Видны были только дверь и окно.

Лачуга эта была двухэтажной.

Внимательный глаз прежде всего заметил бы такую странность: тогда как дверь годилась бы

разве только для чулана, окно, будь оно пробито в тесаном камне, а не в песчанике, могло украшать какой-нибудь особняк.

Эта дверь представляла собой ряд полусгнивших досок, соединенных поперечными перекладинами, похожими на плохо обтесанные поленья. Она открывалась непосредственно на крутую лестницу с высокими, покрытыми грязью, пылью и осыпавшейся штукатуркой ступеньками той же ширины, что и сама дверь. С улицы видно было, как эта лестница, совершенно прямо, словно приставная, уходила между двух стен куда-то в темноту. Верхняя часть грубого проема, в котором ходила дверь, скрывалась за узкой доской с выпиленным в середине ее треугольным отверстием, служившим одновременно и слуховым оконцем, и форточкой, когда дверь была закрыта. На внутренней стороне двери кистью, обмакнутой в чернила, двумя мазками была изображена цифра 52, а над дверью той же кистью намалевана цифра 50; это ставило вас в тупик. Куда же вы попали? Закрытая дверь утверждала, что номер дома 50; она же, открытая, возражала: нет, это номер 52. На треугольной форточке, заменяя занавеску, висели какие-то грязные тряпки.

Окно было широкое и довольно высокое, с

решетчатыми ставнями и большими стеклами. Однако эти стекла отличались самыми разнообразными повреждениями, которые были скрыты и одновременно подчеркнуты искусно наложенным пластырем из бумажных наклеек, а полуоторванные и расшатанные ставни скорее служили угрозой для прохожих, чем защитой для обитателей лачуги. То там, то тут на этих жалюзи не хватало поперечных планок, их простодушно заменили прибитыми перпендикулярно досками; таким образом, то, чему предназначалось быть жалюзи, превратилось в ставни.

Дверь, казавшаяся отвратительной, и это окно, казавшееся благопристойным, несмотря на его обветшалость, выступая на фоне одного и того же дома, производили впечатление двух случайно встретившихся нищих, которые пошли бы вместе, шагая бок о бок, но, прикрытые одинаковыми лохмотьями, обладали бы различной внешностью: один — напоминая профессионального попрошайку, другой — бывшего дворянина.

Лестница вела в главную, очень обширную часть здания, похожую на сарай, превращенный в жилой дом. Внутренним каналом этого здания служил длинный коридор, по правую и левую сторону которого расположены были разнооб-

разных размеров клетушки, в случае крайней необходимости годные для жилья, но скорее похожие на кладовки, чем на каморки. Окнами они выходили на соседние пустопорожние участки. Все это темное, скучное, тусклое, печальное и унылое строение, в зависимости от того, в крыше или в дверях оказывались щели, пронизывал бледный луч солнца или ледяной северный ветер. Своеобразную и живописную подробность такого рода жилищ составляют громадные пауки.

Налево от входной двери, со стороны бульвара, на высоте человеческого роста находилось замурованное слуховое оконце, образовавшее квадратное углубление, полное камешков, которые туда забрасывали проходящие мимо дети.

Часть этого здания была недавно разрушена. Другая, уцелевшая доныне, позволяет судить о том, чем оно было когда-то. Всему зданию в целом — не более ста лет. Для собора сто лет — юность, для жилого дома — старость. Словно людскому жилью свойственна человеческая бренность, а жилищу бога — его бессмертие.

Почтальоны называли эту лачугу номером 50–52, но в квартале она известна была как дом Горбо.

Поясним происхождение этого названия.

Любители мелких происшествий, собирающие для собственного удовольствия целые коллекции анекдотов и хранящие в своей памяти, словно посаженные на булавки, самые мимолетные даты, знают, что в прошлом столетии, около 1770 года, в Шатле были два прокурора. Одного звали Корбо, другого Ренар[20] — два имени, предугаданные Лафонтеном. Этот случай был слишком соблазнительным, чтобы судейские писцы не сделали его поводом для зубоскальства. По всем галереям Дворца правосудия тотчас же разошлась составленная в стихах, хотя и довольно нескладных, сия пародия:

На груду папок раз ворона взобралась,
Арестный лист она во рту зажала.
Лиса, приятным запахом прельстясь,
Из лесу прибежала
И перед ней такую речь держала:
«Здорово, друг!..» и т. д.

Почтенные законники, смущенные плоской шуткой и уязвленные в своем достоинстве хохотом, раздававшимся им вслед, решили отделаться

[20] Примечания: 20
По-французски ворона — le corbeau (корбо); лисица — le renard (ренар).

от своих фамилий и обратились с ходатайством к королю. Челобитие подано было Людовику XV как раз в тот момент, когда папский нунций справа, а кардинал Ларош Эмон — слева, оба набожно коленопреклоненные, надевали в присутствии его величества туфли на босые ножки г-жи Дюбарри, вставшей со своего ложа. Король, который заливался смехом, глядя на двух епископов, стал теперь весело смеяться над двумя прокурорами и милостиво разрешил этим судейским крючкам переменить — вернее, слегка изменить их фамилии. Так, господину Корбо от имени короля разрешено было к заглавной букве его фамилии добавить хвостик и прозываться Горбо; господину Ренару посчастливилось меньше, он только получил разрешение приставить к букве Р букву П и именоваться Пренар[21], так что новая фамилия не менее подходила к нему, чем старая.

Итак, согласно местному преданию, этот самый Горбо и был владельцем здания под № 50–52 на Госпитальном бульваре. Он же был и творцом этого огромного окна.

Вот почему лачуга называлась домом Горбо.

Напротив дома № 50–52, среди других деревьев

---

[21] Примечания: 21

По-французски «пренар» (prenard) означает: взяточник, лихоимец.

бульвара, рос большой вяз, почти на три четверти засохший; прямо перед ним начиналась улица заставы Гобеленов, в ту пору не застроенная, не вымощенная, обсаженная чахлыми деревьями, то зелеными, то бурыми, в зависимости от времени года, и резко обрывающаяся у самой парижской окружной стены. Клубы дыма из труб соседней фабрики распространяли по всему кварталу запах купороса.

Застава была близко. Стена, опоясывающая Париж, еще существовала в 1823 году.

Эта застава уже сама по себе вызывала в воображении мрачные образы. Здесь пролегала дорога, ведущая в Бисетр. Именно через эту заставу во времена Империи и Реставрации, в день своей казни, входили в Париж приговоренные к смерти. Именно здесь произошло в 1829 году таинственное убийство, именуемое «убийством у заставы Фонтенебло», виновников которого не могло обнаружить правосудие, — темное дело, оставшееся неразъясненным, страшная загадка, оставшаяся неразгаданной. Сделайте несколько шагов, и вы окажетесь на той роковой улице Крульбарб, где Ульбах поразил кинжалом пастушку из Иври под раскаты грома, как в мелодраме. Еще несколько шагов, и вы подойдете к

безобразным, с обрезанными верхушками, вязам заставы Сен-Жак, к этому детищу филантропов, пытающихся скрыть эшафот, к этой жалкой и позорной Гревской площади лавочников и мещан, отшатнувшихся перед зрелищем смертной казни, не дерзнув ни мужественно отменить ее, ни открыто выступить ее сторонниками.

Тридцать семь лет тому назад, если не упоминать о площади Сен-Жак, которой словно предопределено было всегда внушать ужас, возможно, самым мрачным уголком на всем этом мрачном бульваре была эта столь малопривлекательная и в наше время часть его, где стояла лачуга № 50–52.

Только двадцать пять лет спустя здесь начали появляться дома горожан. Это было угрюмое место. Скорбные мысли овладевали вами, вы чувствовали, что находитесь между Сальпетриер, чей высокий купол можно было разглядеть оттуда, и Бисетром, близ ограды которого вы находились; то есть между безумием женщины и безумием мужчины. На всем доступном глазу расстоянии виднелись только бойни, окружная стена и редкие фасады фабрик, похожих на казармы или монастыри. Повсюду бараки, строительный мусор, старые стены — черные,

словно траурный покров, новые стены — белые, словно саван; повсюду параллельные ряды деревьев, вытянутые в струнку постройки, длинные и холодные линии плоских фасадов и гнетущее уныние прямых углов. Ни признака складки, неровности почвы, никакой архитектурной прихоти. Все вместе — леденящее, однообразное, отвратительное зрелище. Ничто так не удручает сердца, как симметрия. Ибо симметрия — это скука, а скука и есть сущность печали. Отчаяние зевает. Если можно вообразить себе что-нибудь страшнее ада, где страдают, то это ад, где скучают. Если бы такой ад действительно существовал, то эта часть Госпитального бульвара могла бы служить аллеей, к нему ведущей.

Однако с приближением ночи, в час, когда меркнет день, особенно зимой, чье леденящее дыхание срывает с вязов последние бурые листья, когда мрак непроницаем и небо беззвездно или когда ветер пробьет в облаках луне оконце, бульвар становится вдруг страшным. Черные его линии уходят во мрак и пропадают в нем, словно отрезки бесконечности. Прохожий невольно вспоминает все связанные с виселицей бесчисленные предания об этом месте. В уединенности квартала, где совершено было столько преступ-

лений, таилось что-то жуткое. Чудилось, будто в этой темноте всюду расставлены западни, смутные очертания теней внушали подозрение, а длинные четырехугольные углубления между деревьев напоминали могилы. Днем это было безобразно; вечером это было мрачно; ночью это было зловеще.

Летом в сумерках кое-где на замшелых, старых скамьях у подножия вязов сидели старухи. Они назойливо выпрашивали милостыню.

Впрочем, этот квартал, на вид скорее старый, чем старинный, стремился уже тогда преобразиться. Кто хотел его видеть, должен был поспешить это сделать. Ежедневно из общей картины исчезала какая-нибудь деталь. В настоящее время, как и все последние двадцать лет, вокзал Орлеанской железной дороги, расположенный рядом с этим старым предместьем, непрерывно его видоизменяет. Всюду, где на окраине столицы появляется железнодорожная станция, умирает предместье и рождается город. Кажется, что вокруг этих крупных средоточий движения людей от грохота этих мощных машин, от дыхания этих чудовищных коней цивилизации, пожирающих уголь и изрыгающих пламя, земля, полная новых ростков, дрожит и разверзается,

готовая поглотить древние жилища человека и породить новые. Старые дома рушатся, новые дома воздвигаются.

С тех пор как станция Орлеанской железной дороги вторглась во владение Сальпетриер, старинные узкие улицы, граничащие со рвами Сен-Виктор и Ботаническим садом, дрогнули под стремительным потоком дилижансов, фиакров и омнибусов, который проносится по ним три-четыре раза в день в определенное время, оттеснив дома вправо и влево. Есть явления, на первый взгляд неправдоподобные, тем не менее они вполне отвечают действительности: как верно то, что в крупных городах солнце заставляет появляться дома, обращенные фасадом на юг, так же несомненно и то, что непрерывное движение экипажей расширяет улицы. Признаки новой жизни очевидны. В этом старинном провинциальном квартале, в самых глухих закоулках, возникает мостовая, повсюду расползаются и тянутся тротуары, даже там, где нет еще прохожих. Однажды утром, в памятное июльское утро 1845 года, там вдруг задымились черные котлы с асфальтом; можно считать, что в этот день цивилизация добралась до улицы Урсин и что Париж вступил в предместье Сен-Марсо.

Глава 2
Гнездо совы и славки

Именно здесь, перед лачугой Горбо, и остановился Жан Вальжан. Он, словно дикая птица, выбрал это пустынное место, чтобы свить себе тут гнездо.

Пошарив в жилетном кармане, он вынул что-то вроде отмычки, открыл дверь, вошел, затем тщательно запер ее за собой и поднялся по лестнице, продолжая нести на руках Козетту.

Наверху лестницы он вынул из кармана другой ключ и отпер им другую дверь. Комната, войдя в которую он тотчас же заперся, напоминала довольно просторное чердачное помещение. Убранство ее состояло из матраца, лежавшего на полу, стола и нескольких стульев. В углу стояла топившаяся печь, в которой виднелись раскаленные угольев. Фонарь, горевший на бульваре, тускло освещал это убогое жилье. В глубине комнаты был маленький чулан, где стояла складная кровать. Жан Вальжан так бережно опустил ребенка на эту кровать, что тот не проснулся.

Он высек огонь и зажег свечу — все это заранее

было приготовлено на столе; затем, как и накануне, устремил на Козетту восторженный взгляд, выражавший доброту и умиление, почти граничившие с безумием. Девочка, исполненная той спокойной доверчивости, которая присуща лишь величайшей силе или величайшей слабости, уснула, даже не зная, с кем она, и продолжала спать, не ведая, где она.

Жан Вальжан нагнулся и поцеловал ручку этого ребенка.

Девять месяцев тому назад он целовал руку матери, тоже уснувшей, но навеки.

То же горестное, благоговейное, щемящее чувство наполняло его сердце.

Он опустился на колени перед кроватью Козетты.

Наступил день, а ребенок продолжал спать. Бледный луч декабрьского солнца проник сквозь чердачное оконце и протянул по потолку длинные волокна света и тени. Вдруг тяжело нагруженная телега каменщика, проехавшая по бульвару, словно громовой раскат, потрясла и заставила задрожать всю лачугу сверху донизу.

— Да, сударыня! — внезапно проснувшись, вскрикнула Козетта. — Сейчас! Сейчас!

Она спрыгнула с кровати и со слипавшими-

ся еще ото сна глазами протянула руки в угол комнаты.

— Боже мой! А где же моя метла? — воскликнула она.

Она широко раскрыла глаза и увидела перед собой улыбающееся лицо Жана Вальжана.

— Ах, да! Ведь я и забыла! — сказала она. — С добрым утром, сударь.

Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем и радостью, ибо они сами по природе своей — радость и счастье.

В ногах своей постели Козетта заметила Катерину и занялась ею. Играя, она задавала тысячу вопросов Жану Вальжану. Где она находится? Велик ли Париж? Достаточно ли далеко от нее госпожа Тенардье? Не придет ли она за ней? и т. д. Вдруг она воскликнула: «Как здесь красиво!»

Это была отвратительная конура; но Козетта чувствовала себя в ней свободной.

— Надо мне ее подмести? — спросила она наконец.

— Играй, — ответил Жан Вальжая.

Так прошел весь день. Ничего не пытаясь уяснить себе, Козетта была невыразимо счастлива возле этой куклы и этого человека.

Глава 3
Слившись, два несчастья дают счастье

На рассвете следующего дня Жан Вальжан снова был у постели Козетты. Он стоял неподвижно и, глядя на нее, ждал ее пробуждения.

Что-то неизведанное проникало в его душу.

Жан Вальжан никогда никого не любил. Уже двадцать пять лет он жил один на свете. Ему не довелось стать отцом, любовником, мужем, другом. На каторге это был злой, мрачный, целомудренный, невежественный и нелюдимый человек. Сердце старого каторжника было нетронуто. О сестре и ее детях он сохранил смутное и отдаленное воспоминание, которое в конце концов почти совершенно изгладилось. Он приложил все усилия к тому, чтобы отыскать их, и, не сумев найти, забыл их. Таково свойство человеческой природы. Все прочие сердечные привязанности его юности, если только он когда-либо имел их, канули в бездну.

Когда он увидел Козетту, когда он взял ее с собою, увел, освободил, он ощутил, как вся душа его дрогнула. Все, что было в ней страстного и нежно-

го, вдруг пробудилось и устремилось навстречу этому ребенку. Подходя к кровати, на которой она спала, он дрожал от радости; он был подобен молодой матери, чувствующей родовые схватки и не понимающей, что это такое; ибо смутно и сладостно великое, таинственное движение сердца, начинающего любить.

Бедное, старое, неискушенное сердце!

Но ему было пятьдесят пять лет, а Козетте восемь, поэтому вся любовь, какую он мог бы испытать в жизни, устремившись к ребенку, обернулась каким-то неизъяснимым сиянием.

Это было второе светлое видение, представшее перед ним. Епископ зажег на его горизонте зарю добродетели; Козетта зажгла зарю любви.

Первые дни протекли в этом ослеплении любовью.

Сама того не замечая, изменилась и Козетта, бедная крошка! Она была так мала, когда мать покинула ее, что совсем ее не помнила. Как все дети, подобно молодым побегам виноградной лозы, цепляющимся за все, она пыталась любить. Но это ей не удавалось. Все ее оттолкнули — и Тенардье, и их дети, и другие дети. Она любила собаку, но та издохла; после этого никому и ничему не нужна была ее привязанность. Страшно

сказать, но мы уже упоминали об этом; в восемь лет у нее было холодное сердце. Винить ее нельзя, она не утратила способности любить, но — увы! — лишена была этой возможности. И потому с первого же дня все ее мысли и чувства стали любовью к этому старому человеку. Она испытывала неизвестное ей доселе ощущение сердечной радости.

Этот добрый человек даже не казался ей больше ни стариком, ни бедняком. Она находила Жана Вальжана прекрасным, так же как находила красивой эту конуру.

Таково действие зари, детства, юности, радости. Новизна места и жизни имела здесь немалое значение. Нет ничего краше розового отблеска счастья на чердаке. У каждого из нас в прошлом есть такой светлый уголок.

Природа воздвигла между Жаном Вальжаном и Козеттой огромную преграду: между ними лежало полвека. Но эту преграду смела жизнь. Судьба внезапно столкнула и с неодолимой силой обручила эти два лишенные корней существования, столь различные по возрасту, но столь похожие по скорби. И действительно, эти жизни дополняли одна другую. Инстинкт Козетты искал отца, инстинкт Жана Вальжана — ребенка. Встретить-

ся — значило обрести друг друга. В таинственный миг, когда соприкоснулись их руки, они словно срослись. Увидевшись, эти души словно осознали, как они необходимы друг другу, и слились нерасторжимо.

Отделенные от всего мира могильной стеной, Жан Вальжан и Козетта словно олицетворяли собою Вдовство и Сиротство, если понимать эти слова в их наиболее общем и доступном для всех значении. И Жан Вальжан как бы велением неба стал отцом Козетты.

Таким образом, таинственное ощущение, которое возникло в Козетте, когда Жан Вальжан в темноте взял ее за руку в чаще леса Шель, было порождено не иллюзией, а действительностью. Вмешательство этого человека в судьбу ребенка было проявлением воли господней.

Итак, Жан Вальжан удачно выбрал свое убежище. Казалось, он был здесь в полной безопасности.

Комната с чуланом, которую он занимал с Козеттой, выходила окном на бульвар. Это было единственное окно в доме, и нечего было опасаться нескромного взгляда соседей, живущих как напротив, так и рядом.

Нижний этаж дома № 50–52 представлял со-

бою нечто вроде обветшавшего сарая с навесом, который служил складом для огородников и не имел никакого сообщения с верхним. Отделяясь от него дощатым потолком, в котором не было ни люка, ни лестницы, он являлся как бы глухой перегородкой между этажами этой лачуги. Как мы уже говорили, второй этаж состоял из множества комнатушек и нескольких чердаков, и лишь один из них был занят старухой, согласившейся вести хозяйство Жана Вальжана. Все остальные помещения пустовали.

Старуха именовалась «главной жилицей», а в сущности была привратницей; она-то в рождественский сочельник и сдала комнату Жану Вальжану. Выдав себя за разорившегося на испанских ценных бумагах рантье, он выразил желание поселиться здесь с внучкой. Уплатив за шесть месяцев вперед, он поручил старухе обставить комнату и чулан так, как мы уже видели. Это она с вечера протопила печь и все приготовила к их приходу.

Неделя шла за неделей, а старик и дитя вели в этой жалкой конуре счастливое существование.

С самого раннего утра Козетта смеялась, болтала, пела. У детей, как у птиц, есть своя утренняя песенка.

Случалось, что Жан Вальжан брал ее маленькую красную, потрескавшуюся от холода ручку и целовал. Бедняжка, привыкшая только к побоям, не понимала, что это означает, и отходила смущенная.

Иногда, умолкнув, она с серьезным видом глядела на свое черное платье. Козетта не носила больше лохмотьев; она носила траур. Она уходила от нищеты и вступала в жизнь.

Жан Вальжан начал учить ее грамоте. Нередко, заставляя ее разбирать по складам, он вспоминал, что научился на каторге читать с целью творить зло. Теперь эта цель стала иною: он учил читать ребенка. И старый каторжник улыбался задумчивой ангельской улыбкой.

В этом он чувствовал предначертание свыше, волю кого-то, кто стоит над человеком, и он отдавался мечтам. У добрых мыслей, как и у дурных, есть свои бездонные глубины.

Учить грамоте Козетту и не мешать ей вволю играть — в этом и заключалась почти вся жизнь Жана Вальжана. Иногда он говорил ей о матери и заставлял молиться.

Она звала его «отец», иного имени его она не знала.

Он проводил целые часы, глядя, как она одевает

и раздевает куклу, и слушая ее лепет. Отныне жизнь казалась ему исполненной интереса, люди представлялись добрыми и справедливыми; он никого больше мысленно не упрекал теперь, когда его полюбил ребенок; ему хотелось дожить до глубокой старости. Перед ним рисовалась будущность, вся освещенная Козеттой, словно лучезарным сиянием. Даже лучшим людям свойственны эгоистические мысли. Иногда он с какою-то радостью думал о том, что она будет некрасива.

Правда, это только наше личное мнение, но если уж говорить до конца, то мы полагаем, что Жан Вальжан, когда он полюбил Козетту, нуждался в любви, чтобы укрепить в своем сердце стремление к добру. Он только что увидел людскую злобу и ничтожность общества в их новых проявлениях. Но то, что предстало пред ним, роковым образом ограничивало действительность, выявляя лишь одну ее сторону: женскую судьбу, воплощенную в Фантине, и общественное мнение, олицетворенное в лице Жавера. На этот раз Жан Вальжан отправлен был на каторгу за то, что поступил хорошо; его сердце вновь исполнилось горечи; отвращение и усталость вновь овладели им; даже воспоминание об епископе порой как

бы начинало тускнеть, хотя позже оно возникало вновь, яркое и торжествующее; но в конце концов и это священное воспоминание поблекло. Кто знает, быть может, Жан Вальжан был на пороге отчаяния и полного падения? Но он полюбил и вновь стал сильным. Увы! В действительности он был нисколько не крепче Козетты. Он ей оказал покровительство, а она вселила в него бодрость. Благодаря ему она могла пойти вперед по пути жизни; благодаря ей он мог идти дальше по стезе добродетели. Он был поддержкой ребенка, а ребенок этот был его точкой опоры. Неисповедима и священна тайна равновесия твоих весов, о судьба!

Глава 4
Наблюдения главной жилицы

Из осторожности Жан Вальжан никогда не выходил из дому днем. Каждый вечер в сумерки он гулял час или два, иногда один, но чаще с Козеттой, выбирая боковые аллеи самых безлюдных бульваров и заходя в какую-либо церковь с наступлением темноты. Он охотно посещал ближайшую церковь Сен-Медар. Если он не брал Козетту с собой, то она оставалась под присмотром старухи, но для ребенка было радостью пойти погулять с добрым стариком. Она предпочитала час прогулки с ним даже восхитительным беседам с Катериной. Он шел, держа ее за руку, и ласково говорил с нею.

Козетта оказалась очень веселой девочкой.

Старуха хозяйничала, готовила и ходила за покупками.

Они жили скромно, хотя и не нуждались в самом насущном, как люди с весьма ограниченными средствами. Жан Вальжан ничего не изменил в той обстановке, которую застал в первый день; только застекленную дверь, ведущую

в каморку Козетты, он заменил обыкновенной.

Он носил все тот же желтый редингот, те же черные панталоны и старую шляпу. На улице его принимали за бедняка. Случалось, что сострадательные старушки, оглянувшись на него, подавали ему су. Жан Вальжан принимал это су и низко кланялся. Случалось также, что, встретив какого-нибудь несчастного, просящего подаяние, он, оглянувшись, не следит ли за ним кто-нибудь, украдкой подходил к бедняку, клал ему в руку медную, а нередко и серебряную монету и быстро удалялся. Это имело свои отрицательные стороны. В квартале его стали примечать и прозвали «нищим, подающим милостыню».

Старуха, «главная жилица», существо хитрое, снедаемое завистливым любопытством к ближнему, тщательно следила за Жаном Вальжаном, хотя он об этом и не подозревал. Она была глуховата и оттого болтлива. От всей ее прежней красы у нее осталось только два зуба во рту, верхний и нижний, которыми она постоянно пощелкивала. Старуха допрашивала Козетту, но та, ничего не зная, ничего не могла ей сказать, кроме того, что она из Монфермейля. Однажды этот неусыпный страж заметил, что Жан Вальжан вошел в одно из нежилых помещений лачуги, что показалось

любопытной кумушке подозрительным. Ступая бесшумно, словно старая кошка, она последовала за ним и принялась сквозь щель находящейся как раз против него двери незаметно наблюдать за ним. Жан Вальжан, видимо для большей предосторожности, повернулся к этой двери спиной. Старуха увидела, что, порывшись в кармане, он вынул оттуда игольник, ножницы и нитки, затем вспорол подкладку у полы редингота и, вытащив оттуда какую-то желтоватую бумажку, развернул ее. Старуха с ужасом разглядела банковый билет в тысячу франков. То был второй или третий тысячефранковый билет, который ей довелось увидеть в жизни. Она убежала в сильном испуге.

Минуту спустя Жан Вальжан пришел к ней и попросил разменять этот билет, объяснив, что это его рента за полугодие, которую он вчера получил. «Где же? — подумала старуха. — Ведь на улицу он вышел только в шесть часов вечера, а касса казначейства в это время должна быть заперта». Старуха отправилась разменять деньги, строя всяческие предположения. Эта история с тысячефранковым билетом, обогащенная новыми подробностями, превратившими тысячу франков в несколько тысяч, вызвала множество толков среди всполошившихся кумушек кварта-

ла Винь-Сен-Марсель.

Несколько дней спустя Жан Вальжан, в одном жилете, пилил в коридоре дрова. Старуха занималась хозяйством в комнате, а Козетта побежала смотреть, как пилят дрова. Оставшись одна и заметив висевший на гвозде редингот, старуха принялась основательно исследовать его. Подкладка была уже зашита. Женщина тщательно прощупала редингот, и ей показалось, что в полах и в проймах рукавов зашиты толстые пачки бумаги. Вне всякого сомнения, другие билеты по тысяче франков.

Кроме того, она обнаружила, что в карманах лежит множество разных предметов. Не только иголки, ножницы и нитки, что она уже видела, но объемистый бумажник, большой нож и — подозрительная подробность — несколько париков разного цвета. Казалось, каждый карман этого редингота являлся вместилищем предметов «на случай», для всяких непредвиденных обстоятельств.

Так дожили обитатели лачуги до конца зимы.

Глава 5
Пятифранковая монета, падая на пол, издает звон

Неподалеку от церкви Сен-Медар, на краю заделанного общественного колодца, обычно сидел нищий, которому Жан Вальжан охотно подавал милостыню. Он редко проходил мимо него, не протянув ему нескольких су. Иногда он с ним разговаривал. Завистники нищего утверждали, что он из полицейских. Это был старый, семидесятипятилетний псаломщик, все время бормотавший молитвы.

Однажды вечером Жан Вальжан, проходя мимо, один, без Козетты, увидел нищего на его привычном месте под уличным фонарем, который только что зажгли. Казалось, этот сильно сгорбившийся человек, как всегда, бормочет свои молитвы. Жан Вальжан приблизился к нему и протянул свое подаяние. Вдруг нищий в упор взглянул на Жана Вальжана и быстро опустил голову. Движение было молниеносным, однако Жан Вальжан вздрогнул. Ему почудилось, что перед ним, при свете уличного фонаря, мелькнуло

не кроткое и набожное лицо старого псаломщика, но знакомый и грозный образ. У него было такое чувство, словно он вдруг оказался во мраке лицом к лицу с тигром. Оцепенев от ужаса, он отпрянул назад, не смея ни дышать, ни говорить, ни оставаться на месте, ни бежать, и глядел на нищего, который, как будто не замечая присутствия Жана Вальжана, сидел, опустив обвязанную тряпкой голову. В эту необычайную минуту, руководимый инстинктом, быть может, таинственным инстинктом самосохранения, Жан Вальжан не произнес ни слова. У нищего был тот же рост, те же лохмотья, тот же облик, как обычно. «Ба! — подумал Жан Вальжан. — Я сумасшедший! Мне померещилось! Это невозможно!» И он вернулся домой, глубоко потрясенный.

Он не смел признаться даже самому себе, что мелькнувшее перед ним лицо было лицом Жавера.

Ночью, обдумывая происшедшее, он пожалел, что не заговорил с нищим, — это заставило бы его еще раз поднять голову.

На следующий день, при наступлении сумерек, он снова отправился туда же. Нищий сидел на своем месте. «Здравствуй, милый человек», — решительно обратился к нему Жан Вальжан,

подавая су. Нищий поднял голову и жалобно произнес: «Спасибо, добрый господин». Это, несомненно, был старый псаломщик.

Жан Вальжан совершенно успокоился. «Где, черт возьми, я увидел тут Жавера? — подумал он, сам над собой подсмеиваясь. — Не начинает ли у меня портиться зрение?» Больше он об этом не — думал.

Спустя несколько дней, часов около восьми вечера, Жан Вальжан, сидя у себя в комнате, учил Козетту читать вслух по складам. Вдруг он услышал, как отворилась и опять закрылась входная дверь. Это показалось ему странным. Старуха, единственная жилица, кроме него, проживающая в доме, ложилась всегда спать с наступлением темноты, чтобы не жечь свечу. Жан Вальжан знаком приказал Козетте замолчать. Он слушал, как кто-то подымается по лестнице. Конечно, это могла быть и старуха, возможно, почувствовавшая недомогание и отправившаяся в аптеку. Жан Вальжан прислушался. Шаги были тяжелые и шумные, как у мужчины, но старуха ходила в грубых башмаках, к тому же ничто так не напоминает мужские шаги, как шаги старой женщины. Однако Жан Вальжан задул свечу.

Шепнув Козетте: «Ложись тихонько», он послал

ее спать; пока он целовал ее в лоб, шаги остановились. Жан Вальжан продолжал сидеть молча и неподвижно на своем стуле, спиной к двери, в темноте, затаив дыхание. Спустя довольно продолжительное время, не слыша ничего более, он бесшумно обернулся и, взглянув на дверь своей комнаты, увидел сквозь замочную скважину свет. Этот свет казался какой-то зловещей звездой на черном фоне двери и стены. Несомненно, кто-то стоял за дверью и, держа свечу в руке, подслушивал.

Прошло несколько мгновений, и свет исчез. Но Жан Вальжан не услышал ни малейшего шума шагов; по всей вероятности, тот, кто подслушивал у дверей, снял сапоги.

Жан Вальжан бросился, не раздеваясь, на кровать и всю ночь не мог сомкнуть глаз.

На рассвете, когда он от усталости задремал, его разбудил скрип открывавшейся двери в одной из пустовавших комнатушек в глубине коридора. Затем он услышал знакомые шаги мужчины, накануне поднимавшегося по лестнице. Шаги приближались. Он соскочил с кровати и, приложив глаз к замочной скважине, пытался разглядеть человека, который ночью вошел в дом и подслушивал у его дверей. Действительно, это

оказался мужчина, который на сей раз прошел мимо комнаты Жана Вальжана не останавливаясь. В коридоре было еще слишком темно, чтобы можно было различить его лицо; но когда человек дошел до лестницы, луч света, падавший снаружи, обрисовал его силуэт, и Жан Вальжан ясно увидел его со спины. Он был высокого роста, в длинном рединготе, с дубинкой под мышкой. То была страшная фигура Жавера!

Жан Вальжан мог бы попытаться взглянуть на него еще раз через окно, выходившее на бульвар. Но для этого окно надо было открыть, на что он не осмелился.

Несомненно, этот человек вошел со своим ключом и как к себе домой. Но кто дал ему этот ключ? Что все это означало?

В семь часов утра, когда старуха пришла убирать комнату, Жан Вальжан окинул ее проницательным взглядом, но ни о чем не спросил. Старуха вела себя как всегда.

Подметая комнату, она сказала:

— Вы, наверное, сударь, слышали, как сегодня ночью к нам в дом кто-то входил?

В те времена в этом квартале восемь часов вечера уже считалось глубокой ночью.

— А ведь правда, слыхал. Кто же это был? —

спросил он самым естественным тоном.

— Это новый жилец, который поселился в доме.

— А зовут его?..

— Толком не знаю. Не то Дюмон, не то Домон. Вроде этого, — ответила старуха.

— А кто же он, этот господин Дюмон?

Старуха взглянула на него своими пронырливыми глазками и ответила:

— Такой же рантье, как и вы.

Может быть, у нее не было никакой задней мысли, но Жан Вальжан решил, что сказано это было неспроста.

Когда старуха ушла, он сложил стопкой сотню франков, хранящихся у него в шкафу, и, завернув их в бумагу, положил в карман. Как ни осторожно он это делал, чтобы не слышно было звяканья денег, одна монета все же выскользнула у него из рук и со звоном покатилась по полу.

При наступлении сумерек, спустившись вниз, он внимательно оглядел бульвар из конца в конец. Нигде не было ни души. Бульвар оказался совсем пустынным. Правда, там можно было спрятаться за деревьями.

Он снова поднялся к себе.

— Идем, — сказал он Козетте.

И, взяв ее за руку, он вышел из дома.

Книга пятая
Ночная охота с немой сворой

Глава 1
Стратегические ходы

К этим страницам, а также и к другим, с которыми встретится читатель в дальнейшем, необходимо дать пояснение.

Уже много лет, как автор этой книги, вынужденный, к сожалению, упомянуть о себе самом, не живет в Париже. С той поры как он его покинул, Париж изменил свой облик. На его месте возник новый город, во многих отношениях автору незнакомый. Ему нет нужды говорить о своей любви к Парижу; Париж — его духовная родина. Вследствие разрушения старых домов и возведения новых Париж его юности, тот Париж, память о котором он благоговейно хранит, ныне уже ушел в прошлое. Но да будет ему дозволено говорить об этом прежнем Париже, как если бы он существовал еще. Быть может, там, куда автор поведет читателя, со словами: «Вот на такой-то улице стоял такой-то дом», — нет теперь ни улицы, ни дома. Читатели проверят, если захотят взять на себя труд это сделать. Самому же ему современный Париж неведом, и он пишет, ви-

дя пред собой Париж былых времен, отдаваясь дорогой его сердцу иллюзии. Ему отрадно представлять себе, будто сохранились еще следы того, что он когда-то видел на родине, будто еще не все исчезло безвозвратно. Когда живешь в родном городе, то кажется, что эти улицы тебе безразличны, окна, кровли, двери ничего не значат для тебя, эти стены чужды, деревья — случайность на твоем пути, что дома, в которые не входишь, не нужны тебе, а мостовые, по которым ступаешь, простой булыжник. Только впоследствии, когда тебя там уже нет, ты чувствуешь, что эти улицы тебе дороги, что этих кровель, этих окон, этих дверей тебе недостает, что стены эти тебе необходимы, что деревья эти горячо любимы тобой, что в тех домах, где ты никогда не бывал, ты все равно ежедневно присутствовал, и что частицу души своей, крови своей, сердца своего ты оставил на этом булыжнике. Все эти места, которых не видишь больше и не увидишь, быть может, никогда, но образ которых хранишь в памяти, приобретают какую-то мучительную прелесть и непрестанно возникают перед тобой, словно печальные видения. Они как бы становятся для нас землей обетованной, как бы воплощением самой Франции. Мы их любим, мы упорно вос-

крешаем их в своей памяти такими, какими они были когда-то, не желая ничего изменить в них, ибо лик нашей отчизны так же дорог нам, как лицо матери.

Итак, да будет нам дозволено говорить о минувшем так, как о настоящем. Предупредив об этом читателя, мы продолжаем.

Жан Вальжан тотчас же покинул бульвар и углубился в улицы, как можно чаще меняя направление и нередко возвращаясь назад, чтобы удостовериться, что за ним не следят.

Так ведет себя олень во время облавы. На мягком грунте, сохраняющем отпечаток его копыт, такой прием имеет, кроме прочих преимуществ, еще и то, что обратным следом он запутывает охотников и свору гончих. В охотничьей травле этот прием называется «ложным уходом в логово».

Стояло полнолуние. Это было на руку Жану Вальжану. Луна низко висела над горизонтом, широкими полосами тени и света перерезая улицу. Жан Вальжан мог красться вдоль домов и заборов по теневой стороне и наблюдать за освещенной. Ему, быть может, не приходило в голову, что эта теневая сторона ускользает от его внимания. Но все же он был уверен, что по всем

пустынным улочкам, смежным с улицей Поливо, за ним никто не следует.

Козетта шла молча, не задавая никаких вопросов. Испытания первых шести лет ее жизни сообщили какую-то пассивность ее натуре. Кроме того — и к этой присущей ей особенности нам придется еще не раз возвращаться, — она, не слишком разбираясь в них, привыкла к странностям старика и к причудам судьбы. К тому же с ним она чувствовала себя в безопасности.

Жан Вальжан знал не более Козетты, куда они идут. Он уповал на бога, как Козетта уповала на него. Ему, как и ей, казалось, что его ведет за руку кто-то более могущественный, чем он сам; он чувствовал, что кто-то невидимый направляет его шаги. Таким образом, не было у него никакой четкой мысли, никакой цели, никакого плана. Он даже не был уверен в том, что видел Жавера: это, конечно, мог быть и Жавер, но Жавер, не знавший, что сам он — Жан Вальжан. Ведь он был переодет. Ведь его считали умершим. Однако в последние дни произошли события, которые стали ему казаться странными. Этого было для него достаточно: он решил не возвращаться более в лачугу Горбо. Словно поднятый из берлоги зверь, он искал какую-нибудь нору, где мог бы

схорониться, пока не найдет надежного жилья.

Жан Вальжан покружил в разных направлениях по кварталу Муфтар, уже погруженному в сон, точно были еще в силе строгие порядки Средневековья и давался сигнал о тушении огня. Различными способами, согласно с требованиями высокой стратегии, он пробрался из Податной улицы на Стружечную, оттуда на Батуар-Сен-Виктор и на Пюи л'Эрмит. На этих улицах имелись ночлежки, но Жан Вальжан туда даже не заходил, он искал другое. Кстати сказать, он не сомневался, что если даже случайно и напали на его след, то сейчас уже утеряли.

Когда на башне Сент-Этьен-дю-Мон пробило одиннадцать, он пересекал улицу Понтуаз против бюро полицейского пристава, помещавшегося в доме № 14. Спустя несколько мгновений тот инстинкт, о котором мы упоминали выше, заставил его оглянуться. И тут, на довольно близком от себя расстоянии, он ясно увидел трех следовавших за ним мужчин, которые один за другим прошли по теневой стороне улицы мимо фонаря полицейского бюро — их выдал свет фонаря. Один из них направился по аллейке, ведущей к дому № 14. Шедший во главе показался ему безусловно подозрительным.

— Идем, дитя, — сказал он Козетте и поспешил покинуть улицу Понтуаз.

Он сделал круг, обогнул уже запертый по случаю позднего времени Патриарший пассаж, миновал улицу Деревянного меча, Самострельную и углубился в Почтовую улицу.

Там есть перекресток, где в настоящее время находится коллеж Ролен и откуда ответвляется Новая Сент-Женевьевская улица.

(Само собою разумеется, что Новая Сент-Женевьевская улица — старая улица, и по Почтовой улице разве только раз в десять лет проезжает почтовая карета. В тринадцатом столетии эта Почтовая улица заселена была горшечниками, и ее настоящее название — Горшечная.)

Луна ярко освещала этот перекресток. Жан Вальжан укрылся за воротами, полагая, что если эти люди будут продолжать преследование, то он непременно увидит их, когда они будут пересекать полосу лунного света.

И действительно, не прошло и трех минут, как они появились вновь. Теперь их было уже четверо, все высокого роста, в долгополых темных редингготах, круглых шляпах и с толстыми дубинками в руках. Их зловещее шествие в темноте вызывало не меньшую тревогу, чем их огром-

ный рост и внушительные кулаки. Можно было подумать, что это четыре призрака в обличье горожан.

Они собрались кучкой на середине перекрестка, словно для совещания. Вид у них был нерешительный. Тот, кто казался их вожаком, обернулся и быстрым движением руки указал направление, в котором скрылся Жан Вальжан, другой довольно настойчиво указывал в противоположную сторону. В ту минуту, когда первый обернулся, луна ярко осветила его лицо. Жан Вальжан узнал Жавера.

Глава 2
К счастью, по Аустерлицкому мосту проезжают повозки

Неизвестность для Жана Вальжана кончилась; по счастливой случайности, она длилась еще для этих людей. Он воспользовался их нерешительностью: это было потерянное для них время, но выигранное для него. Выйдя из-под ворот, где он притаился, он пошел вперед по Почтовой улице, в сторону Ботанического сада. Козетта начала уставать, он взял ее на руки и понес. Ему не встретилось ни одного прохожего; уличные фонари не были зажжены, так как светила луна.

Он ускорил шаг.

Быстро достиг он горшечной фабрики Гобле, на фасаде которой была отчетливо видна освещенная лунным светом старинная надпись:

Здесь фабрика Гобле и сына.
Прохожий, покупать спеши!
Горшки, тазы, котлы, кувшины —
Все предлагаем от души.

Оставив позади себя Ключевую улицу и фонтан

Сен-Виктор, он направился вдоль Ботанического сада по сбегающим вниз улицам до набережной. Здесь он оглянулся. Набережная была пустынна. Улицы были пустынны. Никто не шел за ним. Он облегченно вздохнул.

Он достиг Аустерлицкого моста.

В ту пору еще взимали мостовую пошлину.

Жан Вальжан подошел к будке сборщика пошлины и протянул су.

— С вас полагается два су, — сказал ему старик инвалид. — Вы несете ребенка, который сам может ходить. Платите за двоих.

Жан Вальжан уплатил, досадуя, что его переход через мост привлек чье-то внимание. Беглец должен проскользнуть незаметно, как уж.

Одновременно с ним через мост проезжала большая повозка, направляясь также к правому берегу. Это было кстати. Он мог пройти весь мост, скрывшись в ее тени.

На середине моста у Козетты затекли ноги, и она пожелала идти сама. Он спустил ее на землю и повел за руку.

Перейдя мост, он заметил вправо от себя дровяные склады и направился к ним. Чтобы дойти до них, необходимо было пересечь довольно обширное открытое и освещенное пространство.

Жан Вальжан не колебался. Преследователи, видимо, потеряли его след, и он считал себя в безопасности. Его искали, правда, но погони за ним не было.

Между двумя деревянными складами, обнесенными стеной, затерялась улочка Зеленая дорога. Она была узкая, темная, словно нарочно созданная для него. Прежде чем войти в нее, он оглянулся.

С того места, где он стоял, ему виден был Аустерлицкий мост во всю его длину.

Четыре темные тени только что появились на мосту.

Тени эти направлялись от Ботанического сада на правый берег.

Эти четыре тени были его четыре преследователя.

Жан Вальжан задрожал, как пойманный зверь.

В нем лишь брезжила надежда, что, может быть, эти люди не успели еще взойти на мост в то время, когда он, держа Козетту за руку, пересекал освещенное пространство, и не заметили его.

В таком случае, если, углубившись в маленькую, лежавшую перед ним улицу, ему удастся достичь дровяных складов, огородов, полей и пустырей, они будут спасены.

Ему показалось, что он может довериться этой тихой улочке. Он пошел по ней.

Глава 3
Смотри план Парижа 1727 года

Пройдя шагов триста, Жан Вальжан дошел до того места, где улица разветвлялась, расходясь вправо и влево. Перед Жаном Вальжаном лежали как бы две ветви буквы Y. Которую же избрать?

Не колеблясь, он выбрал правую.

Почему?

Потому, что левое ответвление вело в предместье, то есть в заселенную местность, а правое — в поля, то есть в безлюдье.

Однако они шли уже не так быстро. Козетта замедляла шаг Жана Вальжана.

Он снова взял ее на руки. Она молча прижалась головкой к плечу старика.

От времени до времени он оглядывался назад. Он старался держаться теневой стороны прямо тянувшейся перед ним улицы. Первые два-три раза, когда он оглянулся, он ничего не увидел, кругом царила глубокая тишина, и он, немного успокоившись, продолжал путь. Вдруг, снова обернувшись, он в какой-то миг заметил в глубине улицы, где-то далеко позади, в темноте,

неясное движение.

Жан Вальжан уже не пошел, а стремительно бросился вперед, надеясь найти боковую улицу и, проскользнув в нее, еще раз сбить преследователей со следа.

Он добежал до какой-то стены.

Эта стена, однако, нисколько не мешала двигаться дальше; она тянулась вдоль поперечного переулка, примыкавшего к улице, по которой шел Жан Вальжан.

Снова надо было решать, куда идти: направо или налево.

Он взглянул направо. Улочка проходила между какими-то строениями, не то сараями, не то амбарами, и заканчивалась тупиком. В глубине этого глухого переулка можно было ясно разглядеть высокую белую стену.

Он взглянул влево. С этой стороны улочка была открыта и приблизительно через сто шагов вливалась в ту улицу, приток которой собой представляла. Вот где было спасение!

В ту минуту, когда Жан Вальжан намеревался свернуть влево, чтобы попасть на ту улицу, которую смутно различал в конце переулка, он заметил впереди на перекрестке что-то неподвижное, вроде темной статуи.

Это был человек, очевидно поставленный здесь, чтобы преградить кому-то путь, и кого-то подстерегавший.

Жан Вальжан отпрянул назад.

Та часть Парижа, где находился Жан Вальжан, расположенная между предместьем Сент-Антуан и Винной пристанью, в числе других коренным образом изменена недавними строительными работами, которые, по мнению одних, обезобразили ее, по мнению других — преобразили. Вспаханные поля, дровяные склады и старые дома исчезли. Теперь там уж появились широкие новые улицы, площади, цирки, ипподромы, железнодорожные вокзалы, тюрьма Мазас: прогресс, как мы видим, и его исправительное средство.

Полвека тому назад, на обиходном народном языке, который весь основан на преданиях и именует Институт «Четырьмя нациями», а Комическую оперу — «Федо», то место, куда попал Жан Вальжан, называлось «Малый Пикпюс». Ворота Сен-Жак, Парижские ворота, застава Сержантов, Свинари, Галиот, Целестинцы, Капуцины, Молотки, Грязи, Краковское древо, Малая Польша, Малый Пикпюс — все эти старинные названия уцелели и до сей поры. Эти обломки прошлого еще сохранились в памяти народа.

Малый Пикпюс, который, кстати, существовал недолго и лишь отдаленно напоминал парижский квартал, носил монастырский отпечаток испанского города. Дороги там были почти не мощенные, улицы почти не застроенные. Кроме двух-трех, о которых речь будет впереди, всюду тянулись заборы или пустыри. Нигде ни лавчонки, ни проезжающего экипажа; изредка кое-где мерцали в окнах огоньки свеч; после десяти вечера все огни гасились. Всюду сады, монастыри, дровяные склады, огороды, кое-где — низкие домишки и длинные, высотою с дом, ограды.

Таков был этот квартал в минувшем веке. Его облик резко изменился уже во времена Революции. Распоряжением республиканских властей он был просверлен, пробит, разрушен и отведен под склады щебня. Тридцать лет тому назад этот квартал оказался окончательно погребенным под выросшими новыми зданиями. В настоящее время он не существует более. Малый Пикпюс, от которого на современных планах не осталось и следа, довольно ясно обозначен на плане 1727 года, выпущенном в Париже у Дени Тьери в улице Сен-Жак, что напротив Штукатурной улицы, и в Лионе, у Жана Жирена в Торговой улице, в Прюданс. Квартал Малый Пикпюс, как мы упо-

минали, по своей форме был похож на букву Y, образуемую разветвлением улицы Зеленая дорога, левая ветвь которой носила название улочки Пикпюс, а правая — улицы Полонсо. Обе ветви этой буквы Y на своих концах были соединены как бы перекладиной. Перекладина эта называлась улицей Прямой стены. Здесь заканчивалась улица Полонсо, а улочка Пикпюс шла дальше, вплоть до рынка Ленуар. У того, кто шел со стороны Сены и достигал конца улицы Полонсо, слева оказывалась улица Прямой стены, сворачивающая под прямым углом, впереди — стена этой улицы, а направо — продолжение той же улицы, переходившей в глухой переулок, называемый тупиком Жанро.

Здесь-то и остановился Жан Вальжан.

Мы уже сказали, что, увидев темный силуэт, занимавший наблюдательный пост на углу улицы Прямой стены и улочки Пикпюс, Жан Вальжан отступил. Сомнений не было. Этот призрак подстерегал его.

Что делать?

Возвращаться обратно было уже поздно. То, что он заметил мгновение назад и что двигалось в темноте на некотором расстоянии позади него, были, несомненно, Жавер и его помощники.

По всей вероятности, Жавер находился уже в начале той улицы, в конце которой был Жан Вальжан. Видимо, Жавер был хорошо знаком с этим маленьким лабиринтом и принял свои меры, отрядив человека стеречь выход. Эти догадки, столь отвечавшие действительности, словно клубы пыли, вздымаемые внезапно налетевшим ветром, закружились в разгоряченном мозгу Жана Вальжана. Он посмотрел на тупик Жанро: там преграда. Он взглянул на улочку Пикпюс: там часовой. Он различал эту темную фигуру, выступавшую черным силуэтом на светлой, залитой лунным сиянием мостовой. Идти вперед — попасть в руки этого человека. Идти назад — попасть в лапы Жавера. Жану Вальжану казалось, что его медленно затягивает петля. С отчаянием взглянул он на небо.

Глава 4
В поисках спасения

Чтобы понять все дальнейшее, следует точно представить себе переулок Прямой стены и, в частности, тот угол, который при выходе туда из улицы Полонсо оставался налево. Почти весь этот переулок с правой стороны, до улочки Пикпюс, был застроен убогими домишками; с левой же виднелось лишь одно строение строгих очертаний, состоящее из нескольких особняков, которые постепенно повышались то на один, то на два этажа, по мере своего приближения к улочке Пикпюс. Таким образом, будучи очень высоким со стороны улочки Пикпюс, это здание было значительно ниже со стороны улицы Полонсо. На том углу, о котором мы упоминали, оно очень понижалось и переходило в стену. Но стена не обрывалась на улице; она окружала сильно срезанный конец квартала, скрытая в этом месте своими двумя углами от двух наблюдателей, если бы один из них находился на улице Полонсо, а другой — в переулке Прямой стены.

От этих двух углов стена по улице Полонсо

доходила до дома № 49, а по улице Прямой стены, где отрезок ее был много короче, — до мрачного здания, о котором мы уже упоминали и боковой фасад которого она срезала, образуя новый, вдававшийся вглубь угол. Этот боковой фасад выглядел угрюмо, в нем было только одно окно или, точнее, две ставни, обитые цинковым листом и постоянно закрытые.

Облик местности, восстанавливаемой здесь нами с величайшей точностью, несомненно, пробудит самое живое о ней воспоминание в старожилах этого квартала.

Стену на срезанном углу целиком занимало нечто вроде огромных обветшалых ворот. Они состояли из множества досок, пригнанных вкось и вкривь друг к другу, причем верхние были шире нижних, и скрепленных длинными поперечными железными полосами. Рядом были другие ворота, обычного размера, пробитые, очевидно, не более как лет пятьдесят тому назад.

В этом месте стену осеняли ветви липы, а со стороны улицы Полонсо ее обвивал плющ.

Жана Вальжана, находившегося на грани неминуемой гибели, это здание привлекло к себе своей мрачностью и уединенностью. Он быстро окинул его взглядом, подумав, что если ему удастся про-

никнуть внутрь, то, возможно, он будет спасен. Вначале это было только мыслью и надеждой, но не намерением.

В средней части переднего фасада этого здания, выходившего на улицу Прямой стены, возле всех окон на всех этажах имелись старые свинцовые воронки. Разнообразные разветвления водосточных труб, которые тянулись от верхнего желоба ко всем этим воронкам, образовали на фасаде рисунок какого-то странного дерева. Сотней своих изгибов они напоминали высохшие, лишенные листвы виноградные лозы, вьющиеся вверх по фасадам старинных ферм.

Это своеобразное шпалерное дерево с жестяными и железными сучьями было первое, что бросилось в глаза Жану Вальжану. Он усадил Козетту спиной к уличной тумбе, велел ей молчать, а сам подбежал к тому месту, где водосточная труба спускалась до мостовой. А вдруг он сумеет взобраться по ней и проникнуть в дом! Но труба была расшатана, испорчена и еле держалась на стене. Кроме того, все окна безмолвного этого жилья, даже и слуховые, были забраны толстой железной решеткой. Вдобавок луна ярко освещала весь фасад, и человек, наблюдавший с другого конца улицы, увидел бы поднимавшегося по

стене Жана Вальжана. И как быть с Козеттой? Как поднять ее на высоту трехэтажного здания?

Он отказался от намерения карабкаться вверх по водосточной трубе и двинулся вдоль стены, чтобы вернуться на улицу Полонсо.

Достигнув срезанного угла квартала, где сидела Козетта, он обнаружил, что здесь его никто не сможет заметить. Здесь, как мы уже говорили, он был недоступен ничьему взгляду, откуда бы ни велось наблюдение. К тому же он находился в тени. И, наконец, перед ним было двое ворот. Может быть, удастся их взломать? Стена, над которой виднелись липа и стебли плюща, была, несомненно, стеной сада, где, хотя деревья еще не покрылись листвой, он может по крайней мере спрятаться и провести там остаток ночи.

Время шло. Медлить было опасно.

Он быстро ощупал ворота и тут же обнаружил, что они забиты как снаружи, так и изнутри.

С большей надеждой на успех он подошел к другим, громадным воротам. Они были ужасающе ветхи, а их непомерная величина делала их даже менее крепкими; доски в них сгнили; железные полосы — их было всего три — заржавели. Ему показалось возможным прошибить эту источенную червями преграду.

Осмотрев их повнимательней, он обнаружил, что это не были ворота. На них не видно было ни петель, ни петельных крюков, ни замка, ни щели посредине. Соединенные друг с другом железные полосы пересекали их от края до края. Сквозь щели досок он разглядел грубо скрепленные цементом кирпичи и камни, которые прохожий мог заметить там еще десять лет назад. Потрясенный, он вынужден был признать, что это подобие двери — не что иное, как деревянная обшивка какого-то строения. Отодрать доску было нетрудно, но он оказался бы лицом к лицу со стеной.

Глава 5
Что было бы немыслимо при газовом освещении

В эту минуту до него донесся отдаленный глухой и мерный шум. Жан Вальжан отважился осторожно выглянуть из-за угла. Взвод солдат из семи-восьми человек выходил на улицу Полонсо. Он видел, как сверкали их штыки. Все это надвигалось на него.

Солдаты, во главе которых он различал высокую фигуру Жавера, приближались медленно, с опаской. Они часто останавливались. Очевидно, они обыскивали все углубления в стенах, все пролеты дверей и проходные аллейки.

По безошибочному предположению Жана Вальжана, это был какой-то ночной патруль, встреченный Жавером и взятый им себе в помощь.

Среди солдат были также два помощника Жавера.

Чтобы таким медленным шагом, то и дело останавливаясь, дойти до места, где находился Жан Вальжан, им требовалось около четверти часа. То

было ужасное мгновение! Лишь несколько минут отделяли Жана Вальжана от страшной пропасти, которая в третий раз разверзалась перед ним. Но теперь каторга означала для него не только каторгу, но и утрату навек Козетты, — иначе говоря, жизнь, подобную пребыванию в могиле.

У него оставалась лишь одна возможность.

Особенностью Жана Вальжана было то, что он всегда имел при себе, если можно так выразиться, две сумы: в одной из них заключались мысли святого, в другой — опасные таланты каторжника. Он пользовался то одной, то другой, смотря по обстоятельствам.

Вследствие своих многократных побегов с тулонской каторги он, как припомнит читатель, был также и непревзойденным мастером взбираться без лестницы, без крючьев, при помощи только мускульной силы, упираясь затылком, плечами, бедрами и коленями в сходящиеся под прямым углом отвесные стены, в случае нужды, — даже до высоты шестого этажа, только изредка пользуясь выступающими в них камнями. Это было то же искусство, что стяжало столь страшную и громкую славу тому уголку двора Консьержери в Париже, откуда двадцать лет тому назад бежал приговоренный к смертной казни

Батмоль.

Жан Вальжан измерил глазами стену, над которой виднелась липа. В ней было приблизительно восемнадцать футов высоты. Угол, образуемый этой стеной и боковым фасадом большого здания, был заполнен массивной каменной кладкой в форме треугольника, вероятно, с целью уберечь этот уголок, весьма удобный для тех останавливающихся за нуждой двуногих, которые зовутся прохожими. Такая предусмотрительная закладка углов в стенах очень распространена в Париже.

Эта каменная кладка была около пяти футов высоты, а в том расстоянии, которое надо было преодолеть от его верхушки до гребня стены, — не более четырнадцати футов.

Стена заканчивалась гладким камнем, без карниза.

Но как быть с Козеттой? Ведь Козетта не умела взбираться на стены. Бросить ее? Но это даже и в голову не приходило Жану Вальжану. Тащить ее на себе было невозможно. Чтобы успешно совершить это удивительное восхождение, человеку нужна вся его сила. Малейший груз, нарушив равновесие, вызвал бы его падение.

Необходима была веревка. У Жана Вальжана ее не оказалось. Где же достать веревку в полночь,

на улице Полонсо? Владей Жан Вальжан в этот миг королевством, несомненно, он отдал бы его за веревку.

Крайним жизненным обстоятельствам свойственно озарять все кругом, словно вспышкой молнии, которая нас то ослепляет, то просветляет.

Отчаявшийся взор Жана Вальжана упал на столб уличного фонаря, стоявшего в тупике Жанро.

В ту пору газовых рожков на улицах Парижа не было. При наступлении темноты зажигали уличные фонари, находившиеся на определенном расстоянии друг от друга. Их поднимали и опускали при помощи веревки, пересекавшей улицу из конца в конец и закрепленной в выемке прибитой к столбу перекладины. Катушка, на которую наматывалась эта веревка, была прикреплена под фонарем и находилась в маленьком железном шкафчике, ключ от которого хранился у фонарщика. Сама же веревка помещалась в металлическом футляре.

Нечеловеческим напряжением сил, одним прыжком, Жан Вальжан оказался в тупике, открыл острием ножа замок маленького шкафа и мгновение спустя вернулся к Козетте. В руках у

него была веревка. В борьбе с роком они действуют стремительно, эти мрачные изобретатели отчаянных средств.

Мы уже говорили, что в эту ночь уличных фонарей не зажигали. Таким образом, фонарь в тупике Жанро тоже не горел, и можно было пройти мимо, даже не заметив, что он висел ниже обычного.

А между тем поздний час, безлюдее, темнота, озабоченный вид Жана Вальжана, его исчезновения и возвращения, его странное поведение — все это начинало беспокоить Козетту. Другой ребенок на ее месте уже давно бы громко плакал. Она же ограничилась только тем, что дернула Жана Вальжана за полу его редингота. Шаги приближающегося патруля раздавались все отчетливее.

— Отец, мне страшно! — сказала она тихонько. — Кто это там идет?

— Тише! — ответил несчастный. — Это Тенардье.

Козетта задрожала. Он добавил:

— Молчи. Не мешай мне. Если ты будешь кричать, если будешь плакать, помни: Тенардье за тобой следит, она придет и заберет тебя.

Затем, не торопясь, но и не теряя времени, уверенными и точными движениями — это было

тем более удивительно, что с минуты на минуту мог появиться патруль во главе с Жавером, — он снял свой шейный платок, обернул его вокруг тела Козетты под мышками, стараясь, чтобы он не причинил ей боли, привязал к платку морским узлом один конец веревки, взял в зубы другой, разулся, перебросил чулки и башмаки через стену, влез на каменный треугольник в углу между стеной и боковым фасадом дома и так уверенно и ловко начал взбираться, словно под его ногами были ступеньки, а под рукой — перила. Не более как через полминуты он уже стоял на коленях на самом верху стены.

Козетта с изумлением глядела на него, не произнося ни слова. Просьба Жана Вальжана и имя Тенардье ввергли ее в какое-то оцепенение.

Вдруг она услыхала, как Жан Вальжан тихонько окликнул ее:

— Прислонись к стене!

Она повиновалась.

— Не говори ни слова и не бойся, — продолжал Жан Вальжан.

И она почувствовала, что ее поднимают.

Прежде чем она успела опомниться, она уже была на стене.

Жан Вальжан схватил Козетту, посадил ее к

себе на спину, взял обе ее маленькие ручки в свою левую руку, затем лег плашмя и ползком добрался до срезанного угла стены. Как он и предполагал, там действительно было строение, крыша которого, начинаясь от верха деревянных ворот, довольно отлого спускалась почти до самой земли, слегка задевая липу.

Это оказалось удачным совпадением, ибо стена была с этой стороны значительно выше, чем со стороны улицы. Жан Вальжан видел землю глубоко внизу под собой.

Едва успел он достичь наклонной плоскости крыши, едва собрался сойти с гребня стены, как сильнейший шум возвестил о приближении патруля. Раздался громовый голос Жавера:

— Обыщите тупик! За улицей Прямой стены следят, за переулком Пикпюс тоже. Ручаюсь, что он в тупике!

Солдаты ринулись к тупику Жанро.

Жан Вальжан, поддерживая Козетту, скользнул вдоль крыши, добрался до липы и спрыгнул на землю. Страх ли был тому причиной, или присутствие духа, но Козетта не издала ни звука. Руки ее были слегка оцарапаны.

Глава 6
Начало загадки

Жан Вальжан очутился в каком-то очень большом и странном саду — в одном из тех унылых садов, которые кажутся созданными для того, чтобы глядеть на них только зимой и ночью. Сад был продолговатой формы, в глубине его находилась тополевая аллея, по углам — купы высоких старых деревьев, а посредине — открытая полянка, на которой можно было различить огромное, одиноко стоящее дерево, несколько кривых и взъерошенных плодовых деревьев, похожих на высокий кустарник, грядки овощей, парник для дынь с блестевшими в лунном свете стеклянными колпаками и заброшенный сточный колодец. Там и сям стояли каменные скамьи, казавшиеся черными от покрывавшего их мха. Низкие темные прямые кусты окаймляли дорожки. Часть дорожек заросла травой, другие — покрылись зеленой плесенью.

Рядом с Жаном Вальжаном было строение, крыша которого послужила ему спуском, куча хворосту, и за нею, возле самой стены, каменная

статуя — ее изувеченное лицо казалось лишь смутно белевшей во мраке бесформенной маской.

Это строение представляло собой какие-то развалины, где можно было различить разрушенные комнаты, одна из которых, загроможденная хламом, служила, видимо, сараем. Большое здание, выходившее на улицу Прямой стены и в переулок Пикпюс, обращено было двумя своими внутренними фасадами, стоявшими под прямым углом, в сад. Эти внутренние фасады выглядели еще мрачнее, чем главный. Все окна были зарешечены, нигде ни одного огонька. В верхних этажах над ними выступали навесы, как в тюрьмах. Одно крыло здания отбрасывало на другое свою тень, стлавшуюся по саду, словно огромное черное покрывало.

Других домов не было видно. Глубь сада уходила в туман и мрак. Однако можно было смутно разглядеть какие-то стены, скрещивавшиеся друг с другом, как будто за ними находились другие участки обработанной земли, и низкие крыши домов на улице Полонсо.

Трудно было вообразить себе что-нибудь более дикое и пустынное, чем этот сад. В нем не было ни души, что естественно для такого позднего

времени, но, видимо, это место даже и днем не предназначалось для прогулок.

Первой заботой Жана Вальжана было отыскать свои башмаки и надеть их, а затем войти с Козеттой в сарай. Беглец никогда не бывает уверен, что он надежно укрыт. Девочка, все еще продолжавшая думать о тетке Тенардье, разделяла его желание спрятаться как можно лучше.

Козетта дрожала и прижималась к Жану Вальжану. Слышен был беспорядочный шум, который производил патруль, обшаривая тупик и улицу, стук прикладов о камни мостовой, оклики Жавера, обращенные к полицейским агентам, расставленным на посты, его проклятия вперемежку со словами, разобрать которые было трудно.

Через четверть часа этот похожий на громовые раскаты грохот стал понемногу стихать. Жан Вальжан затаил дыхание.

И тихонько закрыл рукой рот Козетте.

Впрочем, уединенное место, где находились они, дышало таким необычайным спокойствием, что даже этот ужасающий шум, такой неистовый и близкий, не мог его встревожить. Казалось, что стены здесь сложены из тех глухих камней, о которых говорит Священное писание.

Вдруг среди этой глубокой тишины возникли иные звуки. Звуки дивные, божественные, невыразимые, настолько же сладостные, насколько прежние были ужасны. Это был гимн, лившийся из мрака, ослепительный свет молитвы и гармонии: в черном и устрашающем безмолвии ночи пели женские голоса, звучавшие девственной чистотой и детской наивностью, — те неземные голоса, которые еще слышит новорожденный и уже различает умирающий. Пение доносилось из мрачного здания, возвышавшегося над деревьями сада. По мере того как удалялся оглушительный шум скопища демонов, казалось, хор ангелов приближался в темноте.

Козетта и Жан Вальжан упали на колени.

Они не понимали, что происходит, не знали, где они, но оба, мужчина и ребенок, кающийся и невинная, чувствовали, что надо склониться ниц.

В этих голосах было что-то странное: невзирая на них, здание продолжало казаться безлюдным. Словно то было нездешнее пение в необитаемом жилище.

Пока пели эти голоса, Жан Вальжан ни о чем не думал. Он видел уже не темную ночь: он видел голубой небосвод. Ему казалось, что душа его рас-

правляет крылья — те крылья, которые чувствует в себе каждый из нас.

Пение умолкло. Быть может, оно длилось долго. Этого Жан Вальжан сказать не мог. Часы экстаза пролетают как мгновение.

Все снова погрузилось в тишину. Ни звука на улице, ни звука в саду. Что угрожало, что ободряло — все исчезло. Только с гребня стены доносился тихий, унылый шелест сухих травинок, колеблемых ветром.

Глава 7
Продолжение загадки

Дул прохладный ночной ветер — значит, было около двух часов ночи. Бедняжка Козетта молчала. Она сидела возле Жана Вальжана, прислонившись к нему головкой, и он решил, что она уснула. Он наклонился и взглянул на нее. Глаза Козетты были широко раскрыты, и их сосредоточенное выражение встревожило Жана Вальжана.

Она вся дрожала.

— Тебе хочется спать? — спросил он.

— Мне очень холодно, — ответила девочка.

Спустя мгновение она спросила:

— А она все еще здесь?

— Кто? — спросил Жан Вальжан.

— Госпожа Тенардье.

Жан Вальжан уже забыл о средстве, к которому прибегнул, чтобы заставить Козетту молчать.

— А, вот оно что! Она уже давно ушла, — ответил он. — Не бойся ничего.

Ребенок облегченно вздохнул, словно с души его спала тяжесть.

Земля была влажная, сарай открыт со всех сторон, ветер с каждой минутой свежел. Старик снял свой редингот и укутал им Козетту.

— Теперь тебе теплее? — спросил он.

— О да, отец!

— Хорошо, подожди меня минутку. Я сейчас вернусь.

Выйдя из сарая, он пошел вдоль большого здания, отыскивая лучшее пристанище. Ему попадались двери, но они были заперты. На всех окнах первого этажа были решетки.

Миновав внутренний угол здания, он подошел к овальным окнам, в которых виднелся слабый свет. Он встал на цыпочки и заглянул в одно из окон. Все они выходили из довольно обширного, вымощенного широкими плитами и разделенного арками и колоннами зала, где ничего нельзя было различить, кроме тусклого огонька и длинных теней. Свет лился из ночника, горевшего в углу. Зал этот был пуст, все в нем было недвижимо. Однако, всмотревшись, он заметил на полу что-то, казалось, покрытое саваном и походившее на человеческую фигуру. Это существо лежало ничком, прижавшись лицом к каменным плитам, крестообразно раскинув руки, не шевелясь, словно в смертном покое. Возле него на

полу тянулось что-то похожее на змею, и можно было подумать, что шею этой зловещей фигуры обвивала веревка.

Весь зал тонул в густом тумане, как бывает в больших, едва освещенных помещениях, и это придавало всему еще более жуткий характер.

Жан Вальжан часто говорил впоследствии, что хотя он в своей жизни бывал свидетелем множества мрачных зрелищ, однако ничего более ужасного и леденящего душу, чем эта неожиданно возникшая перед ним загадочная фигура, выполнявшая какой-то таинственный ночной обряд в этом неведомом месте, он не видал. Страшно было подумать, что это мертвец, но еще страшнее вообразить себе, что это был живой человек.

У него хватило присутствия духа, прильнув к оконному стеклу, поглядеть, не шевельнется ли это существо. Напрасно ожидал он некоторое время, показавшееся ему очень долгим: распростертая на полу фигура хранила неподвижность. Внезапно его охватил невыразимый ужас, и он пустился бежать. Он мчался по направлению к сараю, не смея оглянуться. Ему казалось, что если он обернется, то увидит, как за ним, размахивая руками, поспевает это существо.

Задыхаясь, он добежал до развалин. Колени его

подгибались; он обливался потом.

Где он находился? Кто мог бы вообразить, что нечто подобное этой усыпальнице существует в самом центре Парижа? Что это за странный дом? Что это за здание, полное ночных тайн, — здание, которое ангельскими голосами созывает души во мраке, а когда те идут на призыв, вдруг показывает им это страшное видение? Оно обещало открыть им сияющие врата рая, а открывало отвратительные двери склепа! Тем не менее это было настоящее здание, настоящий дом, имевший свой номер по улице. Это не был сон. Чтобы поверить этому, Жан Вальжан должен был прикоснуться руками к камням развалин.

Холод, волнение, тревога, переживания вечера — все это вызвало у него настоящую лихорадку, мысли его путались.

Он подошел к Козетте. Она спала.

Глава 8
Загадка усложняется

Ребенок уснул, положив голову на камень. Жан Вальжан сел подле и начал смотреть на девочку. Глядя на нее, он постепенно успокаивался и обретал обычную гибкость мысли.

Он ясно осознавал истину, которая отныне легла в основу его жизни: до тех пор пока Козетта с ним, ничего ему не будет нужно для себя, а только для нее; ничто не вызовет в нем страха за себя, а только за нее. Он даже не ощущал, что продрог, хотя сбросил свой редингот, чтобы прикрыть ее.

Однако среди овладевшего им раздумья его слух поразил какой-то странный шум. Будто где-то звенел колокольчик. Звук доносился из сада и хотя был негромким, но слышался явственно. Он напоминал бессвязную ночную песенку бубенчиков, которые подвешивают скоту на пастбищах.

Звук этот заставил Жана Вальжана обернуться.

Вглядевшись в темноту, он заметил, что в саду кто-то есть.

Существо, похожее на человека, двигалось между стеклянными колпаками дынных грядок и то

наклонялось, то вставало, то останавливалось, делая равномерные движения, словно тащило что-то или расстилало по земле. Казалось, что существо это хромает.

Жан Вальжан вздрогнул; его охватил привычный для всех гонимых трепет страха. Им все враждебно, все внушает подозрение. Дневного света они боятся потому, что он может их выдать, а ночной темноты — потому, что она помогает застичь их врасплох. Только что его пугала пустынность сада, а сейчас — то, что в саду кто-то есть.

От ужасов призрачных Жан Вальжан перешел к ужасам реальным. Он говорил себе: «Может быть, Жавер и полицейские агенты не ушли отсюда; наверное, они оставили на улице засаду; если человек в саду обнаружит мое присутствие, то закричит и тем выдаст меня». Тихонько поднял он на руки уснувшую Козетту и отнес ее в самый дальний угол сарая, положив за грудой старой, ненужной мебели. Козетта не шевельнулась.

Он начал наблюдать оттуда за поведением человека, ходившего среди дынных гряд. Странно было то, что бубенчик звенел при каждом его движении. Когда человек приближался, то приближался и звон, когда он удалялся, то и звон

удалялся; когда он делал какое-нибудь резкое движение, его сопровождало тремоло бубенчика; когда он останавливался, звук затихал. По-видимому, бубенчик был привязан к этому человеку; но что же это могло означать? Кем мог быть этот человек, которому подвесили колокольчик, словно быку или барану?

Задавая себе мысленно эти вопросы, Жан Вальжан тронул руки Козетты. Они были как лед.

— О боже! — пробормотал он и тихо позвал ее: — Козетта!

Она не открыла глаз.

Он сильно встряхнул ее.

Она не проснулась.

«Неужели она умерла?» — подумал он и встал, дрожа с головы до ног.

Самые мрачные мысли беспорядочно закружились в его голове. Бывают минуты, когда чудовищные предположения осаждают нас, точно сонмы фурий, и силой проникают во все клеточки нашего мозга. Если вопрос касается тех, кого мы любим, то чувство тревоги за них рисует нам всякие ужасы. Жан Вальжан припомнил, что сон на открытом воздухе холодной ночью может быть смертельно опасным.

Козетта, бледная, неподвижная, лежала на

земле у его ног.

Он прислушался к ее дыханию; она дышала, но так слабо, что ему показалось, будто дыхание ее вот-вот остановится.

Как согреть ее? Как разбудить? Только об этом он и думал. Обезумев, выбежал он из сарая.

Во что бы то ни стало, не позднее чем через пятнадцать минут Козетта должна быть у огня и в постели.

Глава 9
Человек с бубенчиком

Он пошел прямо к человеку, которого заметил в саду. Предварительно он вынул из жилетного кармана сверток с деньгами.

Человек стоял, наклонив голову, и не заметил его приближения. В мгновение ока Жан Вальжан оказался около него.

— Сто франков! — крикнул он, обратившись к нему.

Человек подскочил и уставился на него.

— Вы получите сто франков, только приютите меня на сегодняшнюю ночь!

Луна ярко освещала встревоженное лицо Жана Вальжана.

— Как! Это вы, дядюшка Мадлен? — воскликнул человек.

Это имя, произнесенное в этот ночной час, в этой незнакомой местности, этим незнакомым человеком, заставило Жана Вальжана отшатнуться.

Он был готов ко всему, но только не к этому. Перед ним стоял сгорбленный, хромой старик,

одетый наподобие крестьянина. На левой ноге у него был кожаный наколенник, к которому был привешен довольно большой колокольчик. Так как лицо его находилось в тени, то разглядеть его было невозможно.

Между тем старик снял шапку и воскликнул, трепеща от волнения:

— Ах, боже мой! Как вы очутились здесь, дядюшка Мадлен? Господи Иисусе, как вы сюда вошли? Не упали ли вы с неба? Хотя ничего особенного в этом и не было бы; откуда же еще, как не с неба, попасть вам на землю? Но какой у вас вид! Вы без шейного платка, без шляпы, без сюртука. Ведь если не знать, кто вы, то можно испугаться. Без сюртука! Владыка небесный, неужто и святые нынче теряют рассудок? Но как же вы вошли сюда?

Вопросы так и сыпались. Старик болтал с деревенской словоохотливостью, в которой, однако, не было ничего угрожающего. Все это говорилось тоном, выражавшим одновременно изумление и детское простодушие.

— Кто вы и что это за дом? — спросил Жан Вальжан.

— Черт возьми! Вот так история! — воскликнул старик. — Да ведь я же тот самый, кого вы сюда

определили, а этот дом — тот самый, в который вы меня определили. Как, вы разве не узнаете меня?

— Нет, — ответил Жан Вальжан. — Но вы-то каким образом меня знаете?

— Вы спасли мне жизнь, — ответил человек.

Он повернулся, и луна ярко осветила его профиль. Жан Вальжан узнал старика Фошлевана.

— Ах, это вы! Теперь я вас узнал.

— Слава богу! Наконец-то! — с упреком проговорил старик.

— А что вы здесь делаете? — спросил Жан Вальжан.

— Как что делаю? Прикрываю дыни, конечно.

И действительно, в ту минуту, когда Жан Вальжан обратился к старику Фошлевану, тот держал в руках конец рогожки, которой намеревался прикрыть дынную грядку. Он уже успел расстелить несколько таких рогожек за то время, пока находился в саду. Это занятие и заставляло его делать те странные движения, которые наблюдал Жан Вальжан, сидя в сарае.

Старик продолжал:

— Я сказал себе: «Луна светит ярко, значит, ударят заморозки. Наряжу-ка я мои дыни в теплое платье!» Да и вам, — добавил он, глядя на Жана

Вальжана с добродушной улыбкой, — право, не мешало бы тоже одеться. Но как же вы здесь очутились?

Жан Вальжан, удостоверившись, что этот человек знает его, хотя и под фамилией Мадлен, говорил с ним уже с некоторой осторожностью. Он стал сам задавать ему множество вопросов. Как ни странно, роли, казалось, переменились. Спрашивал теперь он, непрошеный гость.

— А что это у вас висит за звонок?

— Этот-то? А для того, чтобы от меня убегали, — ответил Фошлеван.

— То есть как это, чтобы от вас убегали?

Старик Фошлеван подмигнул с загадочным — видом.

— А вот так! В этом доме живут только женщины; много молодых девушек. Им сдается, что встретиться со мною опасно. Звоночек предупреждает их, что я иду. Когда я прихожу, они уходят.

— А что это за дом?

— Вот тебе и на! Вы сами хорошо знаете.

— Нет, не знаю.

— Но ведь это вы определили меня сюда садовником.

— Отвечайте мне так, будто я ничего не знаю.

— Ну, хорошо! Это монастырь Малый Пикпюс.

Жан Вальжан начал понемногу вспоминать. Случай, вернее, провидение неожиданно забросило его именно в этот монастырь квартала Сент-Антуан, куда два года тому назад старик Фошлеван, изувеченный придавившей его телегой, был по его рекомендации принят садовником.

— Монастырь Малый Пикпюс, — повторил он про себя.

— Ну, а все-таки как же это вам, черт возьми, удалось сюда попасть, дядюшка Мадлен? — снова спросил Фошлеван. — Пусть вы святой, вы все равно мужчина, а мужчин сюда не пускают.

— Но вы-то живете здесь?

— Только я один и живу.

— И все же мне надобно здесь остаться, — сказал Жан Вальжан.

— О господи! — вскричал Фошлеван.

Жан Вальжан подошел к старику и сказал ему серьезно:

— Дядюшка Фошлеван, я спас вам жизнь.

— Я первый вспомнил об этом, — заметил старик.

— Так вот. Вы можете сегодня сделать для меня то, что я когда-то сделал для вас.

Фошлеван схватил своими старыми, морщинистыми, дрожащими руками могучие руки Жана

Вальжана и несколько мгновений не в силах был вымолвить ни слова. Наконец он проговорил:

— О! Это было бы милостью божьей, если бы я хоть чем-нибудь мог отплатить вам! Мне спасти вам жизнь! Располагайте мною, господин мэр!

Радостное изумление словно преобразило старика, его лицо засияло.

— Что я должен сделать? — спросил он.

— Я вам объясню. У вас есть комната?

— Я живу в отдельном домишке, вон там, за развалинами старого монастыря, в закоулке, где его никто не видит. В нем три комнаты.

Действительно, домишко этот был настолько хорошо скрыт за развалинами и настолько недоступен для взгляда, что Жан Вальжан даже не заметил его.

— Хорошо, — сказал он. — Теперь исполните мои две просьбы.

— Какие, господин мэр?

— Во-первых, никому ничего обо мне не рассказывайте. Во-вторых, не старайтесь узнать обо мне больше, чем знаете.

— Как вам угодно. Я знаю, что вы не можете сделать ничего нечестного и что вы всегда были божьим человеком. А к тому же вы сами меня определили сюда. Значит, это ваше дело. Я весь

ваш.

— Решено! Теперь идите за мной. Мы пойдем за ребенком.

— А-а! Тут, оказывается, еще и ребенок? — пробормотал Фошлеван.

Он больше ничего не сказал и последовал за Жаном Вальжаном, как собака за своим хозяином.

Спустя полчаса Козетта, порозовевшая от жаркого огня, спала в постели старого садовника. Жан Вальжан надел свой шейный платок и редингот. Шляпа, переброшенная через стену, была найдена и подобрана. Пока Жан Вальжан облачался, Фошлеван снял свой наколенник с колокольчиком; повешенный на гвоздь, рядом с корзиной для носки земли, он украшал теперь стену. Мужчины отогревались, облокотясь на стол, на который Фошлеван положил кусок сыру, ситный хлеб и поставил бутылку вина и два стакана. Тронув Жана Вальжана за колено рукой, старик сказал:

— Ах, дядюшка Мадлен, вы сразу не узнали меня! Вы спасаете людям жизнь и забываете о них! Это нехорошо. А они помнят о вас. Вы — неблагодарный человек!

Глава 10,
в которой рассказано, как Жавер сделал ложную стойку

События, закулисную, так сказать, сторону которых мы только что видели, произошли при самых простых обстоятельствах.

Когда Жан Вальжан, арестованный у смертного ложа Фантины, в ту же ночь скрылся из городской тюрьмы Монрейля-Приморского, полиция предположила, что бежавший каторжник должен был направиться в Париж. Париж — водоворот, в котором все теряется. Все исчезает в этом средоточии мира, как в глуби океана. Нет чащи, которая надежней укрыла бы человека, чем толпа. Это известно беглецам всякого вида. Они погружаются в Париж, словно в пучину; существуют пучины, спасающие жизнь. Полиции это тоже известно, и она ищет в Париже тех, кого потеряла в другом месте. Искала она там и бывшего мэра Монрейля-Приморского. Жавера вызвали в Париж, чтобы руководить розысками. Он действительно оказал большую помощь в поимке Жана Вальжана. Его усердие и сообразительность в этом деле были

замечены господином Шабулье, секретарем префектуры при графе Англесе. Поэтому господин Шабулье, и прежде покровительствовавший Жаверу, теперь перевел полицейского надзирателя Монрейля-Приморского в парижскую префектуру. Там Жавер оказался человеком полезным в самых разнообразных отношениях и, мы должны это отметить, внушающим к себе уважение, хотя это последнее слово и кажется несколько неожиданным, когда речь идет о подобных услугах.

Он уже забыл о Жане Вальжане — ведь гончие, начав травлю нового волка, забывают о вчерашнем, — как вдруг, в декабре 1823 года, он заглянул в газету, хотя вообще не читал их; на этот раз Жавер, как монархист, пожелал узнать обо всех подробностях торжественного въезда принца-генералиссимуса в Байону. Когда он уже дочитывал интересовавшую его статью, в конце страницы одно имя привлекло его внимание — это было имя Жана Вальжана. В газете сообщалось, что каторжник Жан Вальжан умер; форма этого сообщения была настолько официальной, что Жавер не усомнился в его правдивости. Он только ограничился замечанием: «Вот уж где запирают накрепко». Затем он отбросил газету и больше о нем не думал.

Спустя некоторое время префектура Сены и Уазы прислала в парижскую полицейскую префектуру донесение о том, что в Монфермейле похищен ребенок, причем, по слухам, это сопровождалось странными обстоятельствами. Девочка семи или восьми лет, говорилось в донесении, доверенная матерью местному трактирщику, была похищена каким-то незнакомцем; имя девочки Козетта, и она является дочерью девицы Фантины, умершей неизвестно когда и в какой больнице. Донесение попало в руки Жавера и заставило его призадуматься.

Имя Фантины было ему хорошо знакомо. Он припомнил, что Жан Вальжан заставил его, Жавера, расхохотаться, попросив три дня отсрочки, чтобы поехать за ребенком этой девки. Он вспомнил также, что Жан Вальжан был арестован в Париже в тот момент, когда собирался сесть в дилижанс, отъезжавший в Монфермейль. Некоторые наблюдения, сделанные тогда, наводили даже на мысль, что он воспользовался этим дилижансом вторично и что еще накануне он совершил свою первую поездку в окрестности этой деревушки, ибо в самой деревушке его не видели. Что ему надо было в Монфермейле, никто не мог угадать. Теперь Жавер понял это. Там

жила дочь Фантины. Жан Вальжан ездил за ней. И вот ребенок был похищен незнакомцем. Кто мог быть этот незнакомец? Жан Вальжан? Но Жан Вальжан умер. Никому не говоря ни слова, Жавер сел в омнибус, отъезжавший от гостиницы «Оловянное блюдо» в Дровяном тупике, и отправился в Монфермейль. Он надеялся найти там полное разъяснение этого дела, но нашел полную неизвестность.

В первые дни раздраженные Тенардье болтали о происшедшем. Исчезновение Жаворонка наделало в деревушке шуму. Сейчас же появились всевозможные версии их рассказа, превратившегося в конце концов в историю о похищении ребенка. Следствием этого и было донесение, полученное парижской префектурой. А между тем, когда первая досада улеглась, Тенардье благодаря своему удивительному инстинкту очень скоро понял, что не всегда полезно беспокоить господина прокурора его величества и что жалобы на «похищение ребенка» прежде всего направят на него самого и на множество темных его дел зоркое полицейское око. Свет — вот то, чего больше всего страшатся совы. И потом, как объяснит он получение тысячи пятисот франков? Он круто изменил свое поведение, заткнул жене рот и при-

творялся удивленным, когда его спрашивали об «украденном ребенке». Что такое? Он ничего не понимает. Ну конечно, в первое время он жаловался, что у него так быстро «отняли» его дорогую крошку; он любил ее, и ему хотелось, чтобы она побыла у него еще денек-другой; но за ней приехал ее «дедушка», что вполне естественно. Он придумал дедушку, и это производило хорошее впечатление. Именно в таком виде и услышал эту историю приехавший в Монфермейль Жавер. «Дедушка» заслонил собою Жана Вальжана.

Однако Жавер некоторыми вопросами, словно зондом, проверил рассказ Тенардье. «Кто был этот дедушка и как его звали?» Тенардье простодушно отвечал: «Это богатый земледелец. А имя его, кажется, Гильом Ламбер. Я видел его паспорт».

Ламбер — имя добропорядочное и вполне внушающее доверие. Жавер возвратился в Париж. «Этот Жан Вальжан действительно умер, а я простофиля», — сказал он себе.

Он стал уже забывать обо всей этой истории, как вдруг, в марте 1824 года, до него дошел слух о какой-то проживающей в квартале Сен-Медар странной личности, которую окрестили «нищий, что подает милостыню». Болтали, будто эта личность — богатый рантье; имени его никто в

точности не знал; жил он вдвоем с восьмилетней девочкой, которая только и помнит, что она из Монфермейля. Опять Монфермейль! Это слово заставило Жавера насторожиться. Бывший псаломщик, а сейчас полицейский шпион под личиной нищего, которому этот человек подавал милостыню, добавил и несколько других подробностей. «Этот рантье нелюдим, выходит на улицу только по вечерам, ни с кем не разговаривает, разве только с бедными, ни с кем дела не имеет. На нем ужасный старый желтый рединготстоимостью в несколько миллионов, так как он весь подбит банковыми билетами». Последнее особенно подстрекнуло любопытство Жавера. Чтобы увидеть вблизи этого фантастического рантье и вместе с тем чтобы не вспугнуть его, он занял однажды у псаломщика его лохмотья и устроился на том месте, где старый шпион, сидя каждый вечер на корточках и гнусавя свои псалмы, следил за прохожими.

«Подозрительная личность» действительно подошла к переодетому таким образом Жаверу и протянула ему подаяние. В эту минуту Жавер поднял голову и вздрогнул, думая, что узнал Жана Вальжана, так же как вздрогнул Жан Вальжан, когда предположил, что узнал Жавера.

Но он мог ошибиться в темноте; ведь о смерти Жана Вальжана было объявлено официально; у Жавера все еще оставались серьезные сомнения, а в таких случаях, будучи человеком щепетильным, Жавер никогда никого не задерживал.

Он последовал за стариком до лачуги Горбо, где без особого труда заставил разговориться старуху. Та подтвердила, что желтый редингот подбит миллионами, и рассказала ему о случае с билетом в тысячу франков. Она «сама его видела»! Она «сама его трогала»! Жавер снял комнату и в тот же вечер в ней водворился. Он подошел к двери таинственного жильца в надежде услышать звук его голоса, но Жан Вальжан, заметив сквозь замочную скважину огонек его свечи, не произнес ни слова, чем расстроил планы сыщика.

На следующий день Жан Вальжан решил переехать. Звук падения оброненной им пятифранковой монеты привлек внимание старухи, которая, услышав звон денег, подумала, что жилец собирается съезжать с квартиры, и поспешила предупредить об этом Жавера. Ночью, когда Жан Вальжан вышел, Жавер поджидал его, спрятавшись со своими двумя помощниками за деревьями на бульваре.

Жавер попросил в префектуре дать ему в по-

мощь людей, но не назвал имени того, кого надеялся изловить. Это была его тайна, и он не хотел открывать ее по трем причинам: во-первых, малейшее неосторожное слово могло возбудить подозрение Жана Вальжана; во-вторых, наложить руку на старого беглого каторжника, считающегося умершим, на преступника, который в полицейских записях числился в рубрике *самых опасных злодеев*, было таким блестящим делом, которое старые ищейки парижской полиции, безусловно, не уступили бы новичку, и Жавер боялся, что у него отнимут его каторжника; наконец, артист своего дела, Жавер любил неожиданность. Он ненавидел заранее возвещенные удачи, которые утрачивают благодаря разговорам о них всю свежесть и новизну. Он предпочитал обрабатывать свои коронные дела в тиши, чтобы затем внезапно объявлять о них.

Жавер следовал за Жаном Вальжаном от дерева к дереву, а далее от угла одной улицы до угла другой, ни на минуту не теряя его из виду. Даже тогда, когда Жан Вальжан считал себя в полной безопасности, Жавер не спускал с него глаз.

Почему же он не арестовал Жана Вальжана? Потому что он все еще сомневался.

Не следует забывать, что как раз в ту эпоху

полиция не чувствовала себя независимой в своих действиях: ее стесняла свободная печать. Несколько самовольных арестов, о которых было напечатано в газетах, наделали шуму, дойдя до сведения палат и внушив робость префектуре. Посягнуть на свободу личности считалось делом серьезным. Полицейские боялись ошибиться; префект возлагал всю вину на них; промах вел за собой отставку. Можно вообразить себе, какое впечатление произвела бы в Париже следующая коротенькая заметка, перепечатанная двадцатью газетами: «Вчера гулявший со своей восьмилетней внучкой седовласый старец, почтенный рантье, был арестован как беглый каторжник и препровожден в арестный дом»!

Кроме того, повторяем, Жавер и сам отличался большой щепетильностью; требования его совести вполне совпадали с требованиями префекта. Он действительно сомневался.

Жан Вальжан шел в темноте, повернувшись к нему спиной.

Печаль, беспокойство, тревога, усталость, это несчастье, это новое вынужденное бегство ночью и поиски в Париже случайного убежища для себя и Козетты, необходимость приноравливать свои шаги к шагам ребенка незаметно для него самого

настолько изменили походку Жана Вальжана и придали ему такой старческий вид, что даже полиция, в лице Жавера, могла ошибиться и ошиблась. Невозможность подойти поближе, одежда старого эмигранта-наставника, заявление Тенардье, превратившее Жана Вальжана в дедушку, наконец уверенность в смерти его на каторге — все вместе усиливало нерешительность Жавера.

На мгновение у него возникла мысль потребовать, чтобы старик немедленно предъявил документ. Но если этот человек не Жан Вальжан и не старый почтенный рантье, то это, вероятно, был один из молодцов, глубоко и искусно впутанных в темный заговор парижских преступлений, один из главарей опасной шайки, творящий милостыню, чтобы заслонить этим другие свои таланты, — старый, испытанный прием. Конечно, у него есть сообщники, соучастники преступления, есть запасные квартиры, где он намеревался скрыться. Все петли, которые он делал по улицам, доказывали, что это не простой старик. Задержать его слишком поспешно — значило бы «зарезать курицу, несущую золотые яйца». Почему бы не повременить с этим? Жавер был совершенно уверен, что он от него не уйдет.

Итак, он шел несколько озадаченный, сотни раз спрашивая себя, кем же могла быть эта загадочная личность?

И лишь на улице Понтуаз, при ярком свете, вырывавшемся из кабачка, он узнал Жана Вальжана; ошибки быть не могло.

В этом мире есть два существа, испытывающие равный по силе глубокий внутренний трепет: это мать, нашедшая своего ребенка, и тигр, схвативший свою добычу. Жавер ощутил такой трепет.

Как только он уверился, что перед ним Жан Вальжан, опасный каторжник, он сразу подумал о том, что взял с собой всего лишь двух помощников, и послал за подкреплением к полицейскому приставу улицы Понтуаз. Прежде чем сорвать ветку терновника, надевают перчатки.

Это промедление и остановка в переулке Ролен для совещания со своими агентами чуть было не заставили Жавера потерять след. Однако он быстро сообразил, что Жан Вальжан постарается положить между собою и своими преследователями препятствие, реку. Он склонил голову и задумался, подобно ищейке, обнюхивающей землю, чтобы не сбиться с пути. С присущим ему непогрешимым инстинктом Жавер пошел прямо к Аустерлицкому мосту и спросил сборщика

пошлины: «Видели вы мужчину с маленькой девочкой?» — «Да, я заставил его заплатить два су», — ответил сборщик. Этот ответ осветил положение. Жавер вступил на мост как раз в ту минуту, когда Жан Вальжан, держа Козетту за руку, переходил освещенное луной пространство. Увидев, что он направился в улицу Зеленая дорога, Жавер вспомнил о тупике Жанро, служившем там как бы ловушкой, вспомнил и о единственном выходе из улицы Прямой стены на улочку Пикпюс. Он, как выражаются охотники, «обложил зверя», поспешно, обходным путем, послав одного из своих помощников стеречь этот выход. Он задержал направлявшийся в арсенал для смены караула патруль и заставил его следовать за собой. В подобной игре солдаты — козыри. Кроме того, есть правило: хочешь загнать кабана — будь опытным псовым охотником и имей побольше собак. Приняв все эти меры и зная, что Жан Вальжан зажат между тупиком справа, полицейским агентом слева, а сзади им самим, Жавером, он взял понюшку табаку.

И вот началась игра. Это был момент упоительной сатанинской радости; он позволил человеку идти впереди себя, зная, что тот уже в его власти, желая, насколько возможно, отдалить момент

ареста и наслаждаясь сознанием, что этот с виду свободный человек на самом деле уже пойман. Он обволакивал его сладострастным взглядом паука, позволяющего мухе немного полетать, или кота, позволяющего мыши побегать. Когти и клешни ощущают чудовищную чувственную радость, порождаемую барахтаньем животного в мертвой их хватке. Какое наслаждение — душить!

Жавер ликовал! Петли его сети были надежны. Он был уверен в успехе; оставалось только сжать кулак.

Как бы ни был решителен и силен, как бы ни был охвачен отчаянием Жан Вальжан, Жаверу, при его свите, даже и самая мысль о сопротивлении беглеца казалась невозможной.

Он медленно подвигался вперед, обыскивая и обшаривая по пути все углы и закоулки улицы, словно карманы вора.

Когда же он достиг центра паутины, то мухи уже там не оказалось.

Легко представить его ярость.

Он расспросил своего дозорного, стерегшего улицы Прямой стены и Пикпюс. Тот, находясь безотлучно на своем посту, не видел, чтобы там проходил мужчина.

Случается иногда, что олень вот уже взят за ро-

га — и вдруг его как не бывало; иными словами, он уходит, пусть даже вся свора собак повисла у него на боках. Тогда самые опытные охотники разводят руками. Даже Дювивье, Линьивиль и Депрез и те не знают, что сказать. В минуту подобной неудачи Артонж воскликнул: «Это не олень, а оборотень!»

Жавер охотно повторил бы этот возглас.

Его разочарование в эту минуту больше походило на отчаяние и бешенство.

Как Наполеон допустил ошибки в войне с Россией, Александр — в войне с Индией, Цезарь — в африканской войне, Кир — в скифской, так, несомненно, и Жавер допустил ошибки в этом походе против Жана Вальжана. Жавер, быть может, сделал промах, медля признать в нем бывшего каторжника. Ему следовало довериться своему первому впечатлению. Жавер сделал промах, не арестовав его прямо на месте, в лачуге Горбо. Он сделал промах, не арестовав его на улице Понтуаз, когда окончательно признал его. Он сделал промах, совещаясь на перекрестке Ролен со своими помощниками, стоя в ярком лунном свете. Конечно, обмен мнениями полезен, и не мешает знать и выспросить, что думают ищейки, заслуживающие доверия. Но охотник, преследу-

ющий таких беспокойных животных, как волк и каторжник, должен быть очень предусмотрительным. Жавер, слишком озабоченный тем, чтобы пустить гончих по правильному следу, вспугнул зверя, дав ему учуять свору и скрыться. Основной же промах Жавера заключался в том, что, напав на Аустерлицком мосту на след Жана Вальжана, он повел эту ужасную и ребяческую игру, стараясь удержать такого человека, как Жан Вальжан, на кончике нити. Он мнил себя сильнее, чем был на самом деле, и решил, что может поиграть в кошки-мышки со львом. В то же время он думал, что недостаточно силен, когда счел необходимым взять себе подкрепление. Роковая предусмотрительность, повлекшая за собою потерю драгоценного времени. Хотя Жавер и совершил все эти ошибки, однако же он оставался одним из самых знающих и исполнительных сыщиков, когда-либо существовавших. Он в полном смысле слова был тем, что на охотничьем языке называется «выжлец». Но кто же без греха?

И на великих стратегов находит затмение.

Подобно тому, как множество свитых вместе бечевок образуют канат, нередко огромная глупость является всего лишь суммой мелких глупостей. Разберите канат, бечеву за бечевой, возьмите в

отдельности каждую из мельчайших решающих причин, приведших к большой глупости, и вы без труда справитесь со всеми.

«И только-то!» — скажете вы. Но скрутите, свейте их вместе — и тогда это страшная вещь. Это Аттила, который медлит в нерешительности между Марцианом на Востоке и Валентинианом на Западе; это Аннибал, который замешкался в Капуе; это Дантон, засыпающий в Арсисе-на-Обе.

Но как бы там ни было, когда Жавер увидел, что Жан Вальжан ускользнул от него, он не потерял головы. Полный уверенности, что бежавший от полицейского надзора каторжник не мог уйти далеко, он расставил стражу, устроил западни и засады и всю ночь рыскал по кварталу. Первое, что ему бросилось в глаза, это непорядок уличного фонаря, веревка которого была обрезана. Однако эта важная улика ввела его в заблуждение и заставила направить все розыски в сторону тупика Жанро. В этом тупике встречаются довольно низкие стены, выходящие в сады, которые прилегают к огромным невозделанным участкам земли. По-видимому, Жан Вальжан должен был бежать в этом направлении. Несомненно, если бы он проник поглубже в тупик Жанро, он, вероятно, так и сделал бы, и это было бы его гибелью.

Жавер так тщательно обшарил эти сады и участки, словно искал иголку.

На рассвете он оставил двух сметливых людей на страже, а сам вернулся в префектуру, пристыженный, словно сыщик, пойманный вором.

Книга шестая
Малый Пикпюс

Глава 1
Улица Пикпюс, номер 62

Полвека назад ворота дома номер 62 по улице Малый Пикпюс ничем не отличались от любых ворот. За этими воротами, по обыкновению гостеприимно полуоткрытыми, не было ничего особенно печального: там виднелся двор, окруженный стенами, увитыми виноградом, да физиономия слонявшегося по двору привратника. Над стеной, в глубине, можно было заметить высокие деревья. Когда луч солнца оживлял двор, а стаканчик вина оживлял привратника, то трудно было пройти мимо дома номер 62 по улице Малый Пикпюс, не унося с собой представления о чем-то радостном. Однако место, промелькнувшее перед вашими глазами, — было мрачное место.

Порог улыбался; дом молился и стенал.

Если вам удавалось пройти мимо привратника — что было отнюдь не просто, а для всех даже почти невозможно, ибо существовало некое «Сезам, отворись!», которое следовало знать, — итак, если вам удавалось миновать привратника, то

вы входили направо, в маленькие сени, откуда ведет наверх лестница, словно сдавленная между двумя стенами и такая узкая, что подниматься по ней мог только один человек; если эта лестница не отвращала вас своей канареечного цвета окраской и коричневым плинтусом, если вы отваживались подняться по ней, то, пройдя первую площадку, затем вторую, вы попадали в коридор второго этажа, где клеевая желтая краска и коричневый плинтус продолжали вас преследовать с каким-то спокойным ожесточением. Лестница и коридор освещались двумя великолепными окнами. Коридор делал поворот и становился темным. Если вы огибали этот мыс, то, пройдя несколько шагов, оказывались перед дверью, тем более таинственной, что она не была заперта. Толкнув ее, вы попадали в маленькую квадратную комнату размером около шести футов, с плиточным полом, вымытую, чистую, холодную, оклеенную светло-желтыми обоями с зелеными цветочками, по пятнадцати су за кусок. Бледный хмурый свет проникал слева, сквозь маленькие стекла большого решетчатого окна, занимавшего почти всю ширину стены. Вы оглядываетесь, но никого не видите; прислушиваетесь, но ни шороха шагов, ни звука человеческого голоса

не слышите. Стены там голы, комната ничем не обставлена; даже стула, и того нет.

Вы снова оглядываетесь и замечаете в стене, напротив двери, четырехугольное отверстие приблизительно в квадратный фут, забранное железной решеткой из пересекающихся черных крепких узловатых прутьев, образующих мелкие квадраты, я даже сказал бы, почти петли, примерно дюйма полтора по диагонали. Маленькие зеленые цветочки светло-желтых обоев спокойно и ровно тянутся до этих железных прутьев, не пугаясь соседства и не удирая от него вихрем во все стороны. Если предположить, что нашлось бы живое существо такой удивительной худобы, которая позволила бы ему попытаться влезть и вылезть сквозь это квадратное отверстие, то решетка все равно помешала бы этому. Но если она служила преградой телу, то не препятствовала взгляду, иными словами, душе. Казалось, это было предусмотрено, ибо за решеткой, но не совсем вплотную к ней была вделана в стену жестяная пластинка, вся пробитая дырочками, более мелкими, чем в шумовке. Внизу в этой пластинке была прорезана щель, точь-в-точь как в почтовом ящике. Направо от зарешеченного отверстия висел проволочный шнур, прикреп-

ленный к рычажку звонка.

Если за этот шнурок дергали, то звонил колокольчик, и тогда где-то совсем близко раздавался голос, заставлявший вас вздрогнуть.

— Кто там? — спрашивал голос.

Это был нежный женский голос, такой нежный, что казался скорбным.

Но здесь необходимо было знать магическое слово. Если вы его не знали, то голос умолкал, и стена вновь погружалась в безмолвие, словно по другую ее сторону царила могильная, потревоженная вами на мгновенье тьма.

Если же магическое слово вам было известно, то голос говорил:

— Войдите направо.

Тогда вы замечали направо от себя, против окна, стеклянную дверь, с застекленной верхней рамой, выкрашенную в серый цвет. Вы нажимали дверную ручку, переступали порог и испытывали точно такое же впечатление, как если бы вошли в ложу бенуара, когда решетка еще не опущена, а люстра не зажжена. Действительно, вы как будто попадали в узкую театральную ложу, еле освещенную скупым светом, льющимся сквозь стеклянную дверь, с двумя старыми стульями и растрепанной циновкой, — в настоящую ло-

жу с высоким по грудь барьером, кончавшимся сверху пластинкой черного дерева. Эта ложа была забрана решеткой; только не деревянной позолоченной решеткой, как в Опере, а безобразной решетчатой рамой из железных брусьев, отвратительно перепутанных и прикрепленных к стене огромными скрепами, похожими на сжатые кулаки.

Спустя несколько мгновений, когда вы начинали привыкать к этому полумраку подвала, вы пытались проникнуть взглядом за решетку. Но не дальше как в шести дюймах за нею пред вами вставала преграда из черных ставен, связанных и укрепленных деревянными перекладинами желтовато-коричневого цвета. То были складные ставни, разделенные на длинные тонкие полосы, прикрывавшие всю решетку целиком. Они всегда бывали закрыты.

Через несколько минут за этими ставнями раздавался голос, который окликал вас и говорил:

— Я здесь. Что вам угодно?

Это был голос той, которую вы любили, а порою той, которую вы обожали. Но вы никого не видели. Слышно было лишь едва уловимое дыхание. Казалось, вам вещает дух, заклинаниями вызванный из могилы.

При благоприятных для вас условиях, что случалось очень редко, одна из узких полос какой-нибудь ставни приоткрывалась, и дух воплощался в видение. За решеткой, за ставнями, вы различали, насколько это допускала решетка, чью-то голову, вернее рот и подбородок; все остальное было скрыто черным покрывалом. Вы видели черный апостольник и смутные очертания фигуры, закутанной в черный саван. Эта голова говорила с вами, но никогда не смотрела на вас, никогда не улыбалась вам.

Падающий из-за вашей спины свет был рассчитан на то, чтобы вы видели эту фигуру светлой, а она вас темным. Это освещение было символическим.

Тем временем ваш взор жадно силится проникнуть сквозь отверстие, приоткрывшееся в этом месте, недоступном для взгляда. Плотная мгла окутывает фигуру в трауре. Ваши глаза ищут в этой мгле, стараясь разглядеть, что окружает это видение. Но вскоре вы обнаруживаете, что разглядеть ничего нельзя. То, что вы видите, — ночь, пустота, тьма, зимний туман, смешанный с могильными испарениями; вокруг жуткий покой, тишина, в которой ничего не уловить, даже вздоха, мрак, в котором ничего не различить,

даже призрака.

То, что вы видите, — внутренность монастыря.

Это внутренность угрюмого и сурового дома, именуемого монастырем бернардинок Неустанного поклонения. Эта ложа, в которой вы находитесь, — приемная. Голос, первый, который вы здесь услышали, — голос дежурной послушницы, всегда неподвижно сидящей за стеной, возле квадратного отверстия, и защищенной, словно двойным забралом, железной решеткой и жестяной пластинкой с тысячью отверстий.

Темнота, в которую погружена забранная решеткой ложа, объяснялась тем, что в приемной было окно, выходившее на свет божий, но ни одного окна внутрь монастыря. Взоры мирских людей не смели проникать в это священное место.

Однако по ту сторону этого мрака скрывалось нечто — скрывался свет; в этой смерти таилась жизнь. Хотя монастырь этот был самым замкнутым из всех, мы постараемся проникнуть в него, поможем проникнуть туда читателю и расскажем, не переступая границ дозволенного, о том, чего никогда ни один рассказчик не видал, а потому и не мог рассказать.

Глава 2
Устав Мартина Верга

Этот монастырь, существовавший задолго до 1824 года на улице Малый Пикпюс, был общиной бернардинок устава Мартина Верга.

Бернардинки эти, следовательно, принадлежали не к Клерво — как бернардинцы, но к Сито — как бенедиктинцы, иными словами, они были подчинены не святому Бернару, а святому Бенедикту.

Тот, кто когда-либо перелистывал фолианты, знает, что Мартин Берга основал в 1425 году конгрегацию бернардинок-бенедиктинок, главная церковь которой находилась в Саламанке, а подчиненная ей — в Алкале.

Эта конгрегация разветвилась по всем католическим странам Европы.

Подобное слияние одного ордена с другим не представляло ничего необычайного для латинской церкви. Только с одним орденом Св. Бенедикта, о котором идет речь, связаны, не считая конгрегации устава Мартина Берга, еще четыре конгрегации: две в Италии — Монте-Кассини и

св. Юстины Падуанской; две во Франции — Клюни и Сен-Мор, а также девять других орденов — Валомброза, Грамон, целестинцы, камальдульцы, картезианцы, смиренные, орден Масличной горы, орден Св. Сильвестра и, наконец, Сито; ибо Сито, являвшийся для других орденом-стволом, представлял собою лишь отпрыск ордена Св. Бенедикта. Основание Сито св. Робертом, аббатом Молемским в епархии Лангр, восходит к 1098 году. Однако св. Бенедикт, еще в 529 году, в возрасте семнадцати лет, изгнал дьявола, жившего в древнем Аполлоновом храме и удалившегося потом в пустыню Субиако (он был тогда стар; уж не пожелал ли он стать отшельником?).

После устава кармелиток, которые должны ходить босыми, носить нагрудники, сплетенные из ивовых прутьев, и никогда не садиться, самым суровым является устав бернардинок-бенедиктинок Мартина Берга. Они носят черную одежду и апостольник, который, согласно предписанию св. Бенедикта, доходит им до подбородка. Саржевое платье с широкими рукавами, широкое шерстяное покрывало, апостольник, доходящий до подбородка и срезанный четырехугольником на груди, головная повязка, спускающаяся до самых глаз, — вот их одежда. Все это черное, кроме бе-

лой головной повязки. Послушницы носят такую же одежду, но только белую. Принявшие монашеский обет, помимо того, носят на поясе четки.

Бернардинки-бенедиктинки Мартина Верга соблюдают «неустанное поклонение», так же как бенедиктинки, называемые сестрами Святого причастия, которым в начале этого столетия принадлежали в Париже два монастыря: один в Тампле, другой на Новой Сент-Женевьевской улице. Однако орден бернардинок-бене-диктинок Малого Пикпюса, о которых идет речь, был совершенно не похож на орден сестер Святого причастия, обосновавшихся на Новой Сент-Женевьевской улице и в Тампле. В их уставе было множество различий; различна была и одежда. Бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса носили черные апостольники, бенедиктинки Святого причастия и с Новой Сент-Женевьевской улицы — белые; кроме того, у них на груди висело серебряное или медное позолоченное изображение чаши со святыми дарами, приблизительно в три дюйма длиной. Монахини Малого Пикпюса этого изображения чаши со святыми дарами не носили. Общее для монастыря Малый Пикпюс и для монастыря Тампль неустанное поклонение отнюдь не мешает этим двум орденам быть

совершенно отличными друг от друга. Только в соблюдении одного этого правила и заключалось сходство сестер Святого причастия и бернардинок Мартина Верга, подобно двум другим, резко отличающимся и порой даже враждующим орденам: итальянской Оратории, основанной Филиппом де Нери во Флоренции, и французской Оратории, основанной Пьером де Берюлем в Париже, которые тем не менее сходны были в ревностном изучении и прославлении всех тайн, относящихся к детству, жизни и смерти Иисуса Христа, а также Святой Девы. Оратория парижская притязала на первенство, ибо Филипп де Нери был всего только святым, тогда как Пьер де Берюль был еще и кардиналом.

Вернемся к суровому испанскому уставу Мартина Верга.

Бернардинки-бенедиктинки этого устава едят весь год постное, воздерживаются вообще от пищи постом и в многие другие показанные им дни встают, прерывая свой первый крепкий сон, чтобы между часом и тремя ночи читать требник и петь утреню. Весь год спят на грубых простынях и на соломе, никогда не топят печей, не моют свое тело, каждую пятницу подвергают себя бичеванию, соблюдают обет молчания, разгова-

ривают между собой лишь во время короткого своего отдыха и в течение шести месяцев — от 14 сентября, дня Воздвиженья, и до Пасхи — носят рубашки из колючей шерстяной материи. Шесть месяцев — это послабление, по уставу их следует носить весь год; но эта шерстяная рубашка, невыносимая во время летней жары, вызывала лихорадку и нервные судороги. Потребовалось ограничить пользование ими. Но даже при этом послаблении, когда монахини 14 сентября вновь облачаются в эти рубашки, их все равно лихорадит дня три-четыре. Послушание, бедность, целомудрие, безвыходное пребывание в монастырских стенах — вот их обеты, отягченные к тому же уставом.

Настоятельница избирается сроком на три года монахинями, которые называются «матери-изборщицы», ибо они имеют в капитуле право решающего голоса. Настоятельница может быть избрана вновь только дважды; таким образом, самый долгий допустимый срок правления настоятельницы — девять лет.

Они никогда не видят священника, совершающего богослужение, так как он всегда закрыт от них саржевым занавесом девяти футов высотой. Во время проповеди, когда священнослужитель

находится в часовне, они опускают на лицо покрывала. Они всегда должны говорить тихо, ходить, опустив глаза долу, с поникшей головой. Лишь один мужчина пользуется правом доступа в монастырь — это епархиальный архиепископ.

Впрочем, есть еще и другой — садовник; но это всегда старик; чтобы он всегда оставался в саду один, а монахини были предупреждены о его присутствии, дабы избежать с ним встречи, к его колену привязывают бубенчик.

Монахини подчинены настоятельнице, и подчинение их беспредельно и беспрекословно. Это каноническая духовная покорность во всем ее самоотречении. Они покоряются, словно голосу Христа, ut voci Christi, жесту, малейшему знаку, ad nutum, ad primum signum, немедленно, с радостью, с решимостью, со слепым послушанием, prompte, hilariter, perseveranter et caeca quadam obedientia, словно подпилок в руке рабочего, quasi limam in manibus fabri, не имея права ни читать, ни писать чего бы то ни было без особого разрешения, legere vel scribere non addiscerit sine expressa superioris licentia.

Поочередно каждая из них совершает то, что называется *искуплением*. Искупление — это молитва за все грехи, за все ошибки, за все провин-

ности, за все насилия, за все несправедливости, за все преступления, совершаемые на земле. Последовательно, в продолжение двенадцати часов, от четырех часов пополудни и до четырех часов утра или от четырех часов утра до четырех часов пополудни, сестра-монахиня, совершающая «искупление», стоит на коленях на каменном полу перед святыми дарами, скрестив на груди руки, с веревкой на шее. Когда она уже больше не в силах преодолеть усталость, она ложится ничком, лицом к земле, крестообразно раскинув руки; вот все, чем может она себя облегчить. В таком положении она молится за всех грешников мира. В этом величие, почти божественное.

Так как обряд этот выполняется у столба, на верхушке которого горит свеча, то в монастыре так же часто говорится «совершать искупление», как и «стоять у столба». Монахини из смирения даже предпочитают последнюю формулу, заключающую в себе мысль о каре и унижении.

«Совершать искупление» является делом, поглощающим всю душу. Сестра, стоящая у столба, не обернется, даже если позади нее ударит молния.

Кроме того, перед святыми дарами постоянно находится другая коленопреклоненная мона-

хиня. Стояние это длится час. Они сменяются, как солдаты на карауле. В этом-то и заключается неустанное поклонение.

Настоятельницы и матери носят почти всегда имена, отмечающие какое-нибудь исключительно важное событие из жизни Иисуса Христа, а не имена святых или мучениц, например: мать Рождество, мать Зачатие, мать Введение, мать Страсти господни. Впрочем, имена в честь святых не воспрещены.

Если смотришь на них, то видишь только их рот. У всех у них желтые зубы. Зубная щетка никогда в монастырь не проникала. Чистить зубы — это значит ступить на вершину той лестницы, у подножия которой начертано: погубить свою душу.

Они не говорят *моя* или *мой.* У них ничего нет своего, и они ничем не должны дорожить. Всякую вещь они называют *наша*, например: наше покрывало, наши четки; даже о своей рубашке они сказали бы «наша рубашка». Иногда они привыкают к какому-нибудь небольшому предмету, молитвеннику, реликвии, образку. Но как только они замечают, что начинают дорожить этим предметом, они тотчас же обязаны отдать его. Они вспоминают слова св. Терезы, которой

некая знатная дама в момент своего пострижения сказала: «Позвольте мне, матушка, послать за святой Библией, которой я очень дорожу». — «А! У вас есть что-то, чем вы дорожите? Тогда не идите к нам».

Любой монахине воспрещается затворять свои двери, иметь *свой уголок, свою комнату*. Их кельи должны быть всегда открыты. Когда одна монахиня обращается к другой, то произносит: «Хвала и поклонение пресвятым дарам престола». А другая отвечает: «Во веки веков». То же самое повторяется, когда одна монахиня стучит в келью другой. Едва она прикоснется к двери, а уж из кельи кроткий голос поспешно отвечает: «Во веки веков!» Как всякий обряд, это, в силу привычки, делается машинально; и часто одна отвечает: «Во веки веков» — еще до того, как первая успела произнести: «Хвала и поклонение пресвятым дарам престола», что, впрочем, является довольно длинной фразой. У визитандинок входящая произносит: «Ave Maria»[22], а та, к кому входят, отвечает: «Grati plena»[23]. Это их приветствие,

---

[22] Примечания: 22

«Радуйся, Мария» *(лат.)* — начальные слова католической молитвы.

[23] Примечания: 23

«Благодатная» *(лат.)* — буквально: «исполненная благодати, прелести» (продолжение той же молитвы).

которое действительно «исполнено прелести».

Каждый час в монастырской церкви слышатся еще три дополнительных удара колокола. По этому сигналу настоятельница, матери-изборщицы, сестры, принявшие монашеский обет, послушницы, служки, белицы прерывают свою речь, мысль, дела и все вместе одновременно произносят, если пробило, например, пять часов: «В пять часов и всякий час хвала и поклонение пресвятым дарам престола!» Если пробило восемь: «В восемь часов и всякий час» и т. д., смотря по тому, который час отзвонил колокол.

Этот обычай, преследующий цель прервать мысль и неустанно направлять ее к Богу, существует во многих общинах; видоизменяется лишь его форма. Так, например, в общине Младенца Иисуса говорят: «В этот час и всякий час да пламенеет в сердце моем любовь к Иисусу!»

Бенедиктинки-бернардинки Мартина Верга, затворницы Малого Пикпюса, вот уже пятьдесят лет совершают службу торжественным напевом, придерживаясь строгого церковного пения, и всегда полным голосом в продолжение всей службы. Повсюду, где в требнике стоит звездочка, они делают паузу и тихо произносят: «Иисус, Мария, Иосиф». Заупокойную службу они поют на таких

низких нотах, какие едва доступны женскому голосу. Впечатление получается захватывающее и трагическое.

Монахини Малого Пикпюса устроили под главным алтарем церкви склеп, чтобы хоронить в нем сестер своей общины. Однако «правительство», как они говорят, не разрешило, чтобы туда опускали гробы. Таким образом, после смерти они покидали монастырь. Это огорчало и смущало их, как нарушение устава.

Они выхлопотали право, хоть и в слабое себе утешение, быть погребенными в особый час, в особом уголке старинного кладбища Вожирар, расположенного на земле, некогда принадлежавшей общине.

По четвергам эти монахини выстаивают позднюю обедню, вечерню и все церковные службы точно так же, как и в воскресенье. Кроме того, они тщательно соблюдают все малые праздники, о которых люди светские и понятия не имеют, установленные щедрой рукою церкви когда-то во Франции и до сих пор еще устанавливаемые ею в Испании и Италии. Часы стояния монахинь в часовне бесконечны. Что же касается количества и продолжительности их молитв, то лучшее представление о них дают наивные слова одной

монахини: «Молитвы белиц тяжки, молитвы послушниц тяжелее, а молитвы принявших постриг еще тяжелее».

Один раз в неделю созывается капитул, где председательствует настоятельница и присутствуют матери-изборщицы. Каждая монахиня поочередно опускается перед ними на колени на каменный пол и кается вслух в тех провинностях и грехах, которые совершила в продолжение недели. После каждой исповеди матери-изборщицы совещаются и во всеуслышание налагают епитимью.

Кроме этой исповеди вслух, в которой перечисляются все сколько-нибудь серьезные грехи, существует так называемый *повин* для малых прегрешений. Повиниться — значит пасть ниц перед настоятельницей во время богослужения и оставаться в этом положении до тех пор, пока та, которую величают не иначе, как «матушка», не даст понять кающейся, постучав пальцем по церковной скамье, что та может встать. Несут повин по всевозможным пустякам: разбили стакан, разорвали покрывало, случайно опоздали на несколько секунд к богослужению, сфальшивили во время церковного пения и т. д. — этого достаточно, чтобы нести повин. Повин совершается

добровольно; *повинница* (слово это здесь этимологически вполне оправданно) сама обвиняет себя и сама накладывает на себя наказание. В праздники и воскресные дни четыре матери-певчие поют псалмы перед большим налоем с четырьмя столешницами. Однажды какая-то мать-певчая при пении псалма, начинавшегося со слова Ecce[24], громко взяла вместо Ессе три ноты — lit, si, sol; за свою рассеянность она должна была нести повин в продолжение всей службы.

Грех ее во много крат усугубило то, что весь капитул рассмеялся.

Когда какую-нибудь монахиню вызывают в приемную, то, будь это даже сама настоятельница, она, как мы уже упоминали, опускает покрывало так, что виден только ее рот.

Одна настоятельница имеет право общаться с посторонними. Все прочие могут видеться лишь с ближайшими родственниками, и то редко. Если изредка какой-либо посторонний человек выражает желание повидать монахиню, которую знавал или любил в миру, то приходится вести длительные переговоры. Если разрешения о свидании просит женщина, то его иногда дают;

---

[24] Примечания: 24
Сей *(лат.).*

монахиня приходит, и с ней беседуют сквозь ставни, которые открываются лишь для матери или для сестры. Само собой разумеется, что мужчинам в подобной просьбе всегда отказывают.

Таков устав св. Бенедикта, еще более отягченный Мартином Верга.

Эти монахини не веселы, не свежи, не румяны, какими часто бывают монахини других орденов. Они бледны и суровы. Между 1825 и 1830 годом три из них сошли с ума.

Глава 3
Строгости

В этом монастыре надо по крайней мере два года, а иногда даже четыре, пробыть в белицах и четыре года послушницей. Очень редко кто принимает большой постриг ранее двадцати трех — двадцати четырех лет. Бернардинки-бенедиктинки из конгрегации Мартина Верга не допускают в свой орден вдов.

В своих кельях они разнообразными, неведомыми способами предаются умерщвлению плоти, о чем никогда не должны говорить.

В тот день, когда послушница принимает схиму, она облачается в свой лучший наряд, голову ей убирают белыми розами, помадят волосы, завивают их; затем она простирается ниц; на нее набрасывают большое черное покрывало и поют над ней отходную. После этого монахини разделяются на два ряда: один, проходя мимо нее, печально поет: «Наша сестра умерла», а другой отвечает ликующе: «Жива во Иисусе Христе!»

В описываемую нами эпоху при монастыре существовал закрытый пансион. Воспитанницы

этого пансиона были в большинстве девушки благородного происхождения и почти все богатые; среди них находились девицы Сент-Олер, Белиссен и одна англичанка, носившая знатную католическую фамилию Тальбот. Этим молодым девушкам, воспитываемым монахинями в четырех стенах, прививалось отвращение к миру и к светским интересам. Одна из них как-то сказала нам: «При виде мостовой я содрогалась с головы до ног». Они носили голубые платья и белые чепчики, на груди у них приколото было изображение святого духа из золоченого серебра или меди. По большим праздникам, в особенности в день св. Марты, им разрешали в знак высокой милости величайшее счастье — облачаться в монашескую одежду и в продолжение целого дня выстаивать церковные службы и совершать обряды по уставу св. Бенедикта. Вначале монахини ссужали их своими черными рясами. Но это показалось нечестивым и было настоятельницей запрещено. Такое заимствование одеяния разрешали только послушницам. Интересно отметить, что исполнение роли монахинь, допускаемое и поощряемое в монастыре, несомненно, с тайной целью вербовать новообращенных и вызывать в этих детях некое влечение к монашеской жизни,

доставляло воспитанницам настоящее удовольствие и душевный отдых. Они просто-напросто забавлялись. *Это было ново, это развлекало их*. Наивная детская забава бессильна, однако, убедить нас, мирян, в том, что держать в руках кропильницу и часами стоять перед налоем, самозабвенно распевая псалмы, — высочайшее блаженство.

Воспитанницы исполняли все монастырские правила, за исключением умерщвления плоти. Нередко молодые женщины по выходе из монастыря и будучи уже несколько лет замужем не могли отвыкнуть от того, чтобы не проговорить поспешно «Во веки веков!» всякий раз, когда постучатся к ним в дверь. Как и монахини, воспитанницы виделись с родными только в приемной. Даже матери, и те не имели права целовать их. Вот образец подобной строгости. Как-то одну воспитанницу посетила ее мать в сопровождении трехлетней дочери. Воспитанница плакала, ей очень хотелось обнять свою сестренку. Нельзя. Она умоляла позволить девочке хотя бы просунуть ручку сквозь прутья решетки, чтобы она могла ее поцеловать. Но и в этом ей было отказано, и почти с возмущением.

Глава 4
Веселье

И все же эти молодые девушки оставили множество очаровательных воспоминаний о себе в суровой обители.

В определенные часы монастырь словно начинал искриться детским весельем. Звонили к рекреации. Одна из дверей поворачивалась на своих петлях. Птицы щебетали: «Чудесно! А вот и дети!» Поток юности заливал сад, выкроенный крестом, точно саван. Сияющие личики, белые лобики, невинные глазки, блещущие радостным светом, — все краски утренней зари расцветали повсюду в этом мраке. После псалмопений, колоколов, благовеста, похоронного звона, богослужений внезапно раздавался шум, более нежный, чем гуденье пчелок, — то шумели маленькие девочки! Распахивался улей веселья, и каждая несла в него свой мед. Играли, перекликались, собирались кучками, бегали; в уголках стрекотали прелестные белозубые ротики; черные рясы издали надзирали за смехом, тени наблюдали за солнечными лучами. Ну и пусть себе! Кругом

все лучилось и все смеялось. На долю этих мрачных стен тоже выпадали свои ослепительные минуты. Они присутствовали при этом кружении пчелиного роя, как бы слегка посветлев от бьющей ключом радости. Точно дождь розовых лепестков проливался над этим трауром. Девочки резвились под оком монахинь: взор праведных не смущает невинных. Благодаря этим детям в веренице строгих часов был час простодушного веселья. Младшие прыгали, старшие плясали. Небесной чистотой веяло от этих ребяческих игр. Нет очаровательнее и величественнее зрелища свежих, распускающихся душ. Гомер вместе с Перро охотно пришли бы похохотать сюда, в этот мрачный сад, где царили юность, здоровье, шум, крики, беспечность, радость и счастье, способные развеселить всех прабабок — из эпопеи и побасенок, из дворцов и хижин, начиная с Гекубы и кончая бабусей стародавних сказок.

В этой обители, быть может чаще, чем где бы то ни было, слышались те детские «словечки», в которых так много очарования и которые заставляют нас задумчиво улыбаться. Именно в этих четырех мрачных стенах однажды пятилетний ребенок воскликнул: «Матушка, одна старшая только что сказала, что мне осталось пробыть

здесь только девять лет и десять месяцев. Какое счастье!» Здесь же произошел следующий памятный разговор:

Мать-изборщица. Что ты плачешь, дитя мое?

Ребенок *(шести лет, рыдая).* Я сказала Алисе, что знаю урок по истории Франции. А она говорит, что я не знаю, когда я знаю!

Алиса *(старшая, девяти лет).* Нет, не знает.

Мать-изборщица. Как же так, дитя мое?

Алиса. Она велела мне открыть книгу где попало и задать ей оттуда какой-нибудь вопрос и сказала, что ответит на него.

— Ну и что же?

— И не ответила.

— Постой! А о чем ты ее спросила?

— Я открыла книгу где попало, как она сама велела, и задала ей первый вопрос, который увидела.

— И какой это был вопрос?

— А вот какой: *Что же произошло потом?*

Там же было сделано глубокомысленное замечание по поводу довольно прожорливого попугая, принадлежавшего одной монастырской постоялице:

«Ну не милашка ли? Она склевывает верх тартинки, словно настоящий человек!»

Это там на одной из монастырских плит найдена была следующая исповедь, заранее записанная для памяти семилетней грешницей:

«Отец мой, я грешна в скупости.

Отец мой, я грешна в прелюбодеянии.

Отец мой, я грешна в том, что смотрела на мужчин».

Это там, на дерновой скамейке сада, маленький розовый ротик шестилетней девочки пролепетал сказку, которой внимало голубоглазое дитя лет четырех или пяти:

«Жили-были три петушка, у них была своя страна, где росло много-много цветов. Они сорвали цветики и спрятали их в свой кармашек. А потом сорвали листики и спрятали их в игрушки. В стране жил волк; и там был большой лес; и волк жил в лесу; и он съел петушков».

А вот и другое произведение:

«Раз как ударят палкой!

Это Полишинель дал по голове кошке.

Ей от этого было совсем не приятно, а только больно.

Тогда одна дама посадила Полишинеля в тюрьму».

Там же бездомная девочка-найденыш, которую воспитывали в монастыре из милости, произнес-

ла трогательные, раздирающие душу слова. Она слышала, как другие девочки говорили о своих матерях, и прошептала, сидя в своем углу:

«А когда я родилась, моей мамы со мной не было!»

В монастыре жила толстая сестра-привратница, которая постоянно куда-то спешила по коридорам со связкой ключей. Звали ее сестра Агата. Старшие — то есть те, которым было больше десяти лет, — прозвали ее «Агата-ключ».

Трапезная, большая продолговатая четырехугольная комната, получала свет лишь из крытой с резными арками галереи, находившейся на одном уровне с садом. Это была сумрачная комната, сырая и, как говорили дети, полная зверей. Все близлежащие помещения наградили ее своей долей насекомых. Каждому углу трапезной воспитанницы дали свое выразительное название. Был угол Пауков, угол Гусениц, угол Мокриц и угол Сверчков. Угол Сверчков был рядом с кухней, и его особо почитали. Там было всего теплее. От трапезной эти прозвища перешли к пансиону, и по ним различали, как некогда в коллеже Мазарини, четыре землячества. Каждая воспитанница принадлежала к одному из этих четырех землячеств, в зависимости от того, в каком углу

она сидела за трапезой. Однажды архиепископ во время своего пастырского посещения монастыря заметил входящую в класс хорошенькую румяную девочку с великолепными белокурыми волосами; он спросил у другой воспитанницы, очаровательной брюнеточки со свежими щечками, стоявшей возле него:

— Кто эта девочка?

— Это паук, ваше высокопреосвященство.

— Вот оно что! А вон та, другая?

— Сверчок.

— А эта?

— Гусеница.

— Неужели? Ну, а ты?

— А я мокрица, ваше высокопреосвященство.

У каждого такого закрытого пансиона есть свои особенности. В начале этого столетия Экуан был одним из тех суровых и почти торжественных мест, где в уединении протекало детство молодых девушек. Для крестного хода в день св. причастия в Экуане их делили на «дев» и на «цветочниц». Там были также «балдахинщицы» и «кадилыцицы»; первые несли кисти от балдахина, а вторые кадили, шествуя перед чашей со святыми дарами. Цветы, разумеется, несли «цветочницы». Впереди выступали четыре «девы». Утром этого торже-

ственного дня нередко можно было слышать в спальной такой вопрос:

— А кто у нас дева?

Госпожа Кампан приводит следующие слова одной «младшей», семи летней воспитанницы, обращенные к «старшей», шестнадцати лет, возглавлявшей процессию, тогда как младшая шла в хвосте: «Так ты же дева, а я нет».

Глава 5
Развлечения

Над дверью трапезной крупными черными буквами была написана молитва, называемая воспитанницами «Беленькое отченаш» и обладавшая свойством вводить людей прямо в рай:

«Миленькое беленькое отченаш, господь его сотворил, господь его говорил, господь его в рай посадил. Вечером, как я спать ложилась, у постели трех ангелов находила, одного в изножье, двух в изголовье, преблагую деву Марию посредине. Преблагая дева мне приказывала ложиться, ничего не страшиться. Отец мой — господь, мать — богородица, братья — три апостола, сестрицы — три девы пречистые. Младенца Христа сорочка мое тело прикрывает, святой Маргариты крестик мою грудь осеняет. Уходит госпожа наша матерь божия на поля, о сыне рыдает, святого Иоанна встречает. «Сударь мой, святой Иоанн, откуда идете?» — «От Ave salus[25] иду». — «А не видали вы милосердного бога, там ли он?» — «Он на дереве крестовом, руки-ноги пригвождены, малый

---

[25] Примечания: 25
Вечерня *(лат.)*.

венчик терний белых на челе». Кто молитву эту скажет трижды ввечеру, трижды поутру, будет в раю».

В 1827 году эта своеобразная молитва исчезла под тройным слоем известки. А в наши дни сглаживается ее последний след и в памяти молодых девушек тех времен, а ныне уже старух.

Большое распятие на стене довершало украшение трапезной, единственная дверь которой, как мы уже, кажется, упоминали, выходила в сад. Два узких стола, каждый с двумя деревянными скамьями по бокам, тянулись параллельными линиями из конца в конец во всю длину трапезной. Стены были белые, столы черные; только эти два траурных цвета и чередовались в монастыре. Еда была неприхотливая, даже детей кормили скудно. К столу подавалось одно блюдо: мясо с овощами или соленая рыба — вот и вся роскошь. Однако и это грубое дежурное блюдо, предназначенное только для пансионерок, составляло исключение в монастырской пище. Дети ели молча, под присмотром сменяющейся еженедельно монахини, которая время от времени с шумом открывала и закрывала деревянный ларец в форме книги, если муха, нарушая устав, осмеливалась летать и жужжать. Эта тишина бы-

ла приправлена чтением вслух Жития святых с небольшой кафедры под распятием. Чтицей была дежурившая в эту неделю взрослая воспитанница. На голом столе там и сям стояли муравленые миски, в которых воспитанницы сами мыли свои чашки и тарелки, а иногда бросали туда же остатки пищи, жесткое мясо или тухлую рыбу; за это полагалось наказание. Миски назывались «круговыми чашами».

Ребенок, нарушивший молчание, должен был сделать «крест языком». Где? На полу. Он лизал пол. Прах, это завершение всех земных радостей, призван был карать эти бедные розовые лепесточки за то, что они шелестели.

В монастыре хранилась книга, которую всегда печатали только в *одном экземпляре* и которую запрещалось читать. Это был устав св. Бенедикта. Ничей непосвященный взор не смел касаться этой тайны. «Nemo regulas, seu constitutiones nostras, externis commu-nicabit»[26].

Однажды воспитанницам удалось похитить эту книгу, и они жадно принялись читать ее. Но страх быть застигнутыми на месте преступления часто заставлял их поспешно захлопывать книгу

---

[26] Примечания: 26

«Никто не будет сообщать наших правил или установлений посторонним» *(лат.).*

и прерывать чтение. Из этой чрезвычайно рискованной затеи они вынесли весьма умеренное удовольствие. Несколько туманных страниц *«о* грехах отроков» — вот что показалось им «самым интересным».

Они играли в аллее сада, обрамленной чахлыми фруктовыми деревьями. Невзирая на зоркую бдительность и на строгость наказаний, им удавалось, когда ветер качал деревья, украдкой поднять упавшее недозрелое яблоко, гнилой абрикос или червивую сливу. Пусть вместо меня говорит письмо, лежащее передо мной, — письмо, написанное двадцать пять лет тому назад бывшей пансионеркой, ныне герцогиней, одной из самых элегантных женщин Парижа. Привожу текст письма дословно: «Грушу или яблоко стараешься спрятать как можно лучше. Когда перед ужином поднимаешься наверх, чтобы положить на кровать свое покрывало, то засовываешь их поглубже под подушку и вечером съедаешь уже лежа в кровати, а если это не удается, то съедаешь в ретираде». Это было одним из самых жгучих наслаждений воспитанниц.

Однажды — произошло это опять-таки в одно из посещений монастыря архиепископом — молодая девушка, мадемуазель Бушар, приходившаяся

несколько сродни Монморанси, держала пари, что попросит у него день отпуска — поблажка, совершенно немыслимая в такой строгой общине. Пари было принято, но ни та, ни другая сторона не верили в возможность успеха. И вот, когда архиепископ проходил мимо воспитанниц, мадемуазель Бушар, к неописуемому ужасу своих товарок, выступила из ряда и сказала: «Ваше высокопреосвященство, прошу отпустить меня на один день!» Мадемуазель Бушар была цветущая, статная девушка, с прелестным румяным личиком. Г-н де Келен улыбнулся и ответил: «Как, милое дитя, всего на один день? На три, если вам угодно! Я даю вам три дня!» Настоятельница ничего не могла сделать — ведь это сказал архиепископ. Скандальное происшествие для монастыря, но что за радость для воспитанниц! Судите сами, каково было впечатление!

Однако угрюмый монастырь не был так наглухо замурован, чтобы мир страстей, бурливший за его стенами, чтобы драмы и даже романы не проникали туда. В доказательство мы лишь приведем, рассказав его вкратце, одно действительное происшествие, не имеющее, впрочем, само по себе никакого касательства к нашему повествованию и никак с ним не связанное. Мы

упомянем о нем лишь для того, чтобы дать читателю более полное представление о монастыре.

Итак, приблизительно в это же время в обители проживала таинственная особа, к которой, хотя она и не была монахиней, все относились с глубоким почтением, величая ее «госпожой Альбертиной». О ней было известно лишь, что она потеряла рассудок и что в свете ее считали умершей. Говорили, что вся эта история имела своей подоплекой какие-то денежные соображения, необходимые для осуществления блестящего брака.

Эта женщина, едва достигшая тридцати лет, была довольно красивая брюнетка с темными большими глазами и затуманенным взглядом. Видела ли она что-нибудь? Сомнительно. Она скорее скользила, чем ходила; она никогда не говорила; нельзя было даже с уверенностью сказать, что она дышит. Ее ноздри были сжаты и мертвенно бледны, как у покойницы. Прикасаясь к ее руке, вы словно касались снега. Она обладала какой-то странной грацией призрака. Где она появлялась, веяло холодом. Как-то, видя, как она проскользнула мимо, одна монахиня сказала другой: «Ее считают мертвой». — «А может, она и мертвая», — ответила ей та.

О г-же Альбертине ходило множество рассказов. Она непрерывно возбуждала любопытство воспитанниц. В часовне были хоры, прозванные «бычий глаз». И вот на этих-то хорах, где единственным источником света было круглое окно — «бычий глаз», и отстаивала службы г-жа Альбертина. По обыкновению она находилась там в одиночестве, так как с этих хор, расположенных в верхней части часовни, можно увидеть проповедника или священника, совершающего богослужение, что монахиням возбранялось. Однажды с амвона проповедовал молодой священник знатного рода, герцог де Роган, пэр Франции, командир красных мушкетеров в 1815 году, когда он еще именовался принцем Леонским, впоследствии кардинал и архиепископ в Безансоне, где он и скончался в 1830 году. В этот день герцог де Роган в первый раз говорил проповедь в монастыре Малый Пикпюс. Г-жа Альбертина обычно держалась во время богослужений и проповедей совершенно спокойно, храня полную неподвижность. В этот же день, увидев герцога де Рогана, она слегка выпрямилась и среди абсолютной тишины, царившей в часовне, громко произнесла: «Вот как? Огюст?» Вся община в изумлении взглянула на нее, но

г-жа Альбертина впала вновь в обычную свою оцепенелость. Дуновение внешнего мира, отблеск жизни на мгновение осветил это угасшее неподвижное лицо, затем все исчезло, и безумная вновь превратилась в труп.

Однако эти два слова развязали языки многим, кто только способен был в монастыре болтать. Чего-чего только не таило в себе это восклицание: «Вот как? Огюст?» Чего только оно не скрывало! Герцога де Рогана действительно звали Огюст. Было очевидно, что г-жа Альбертина принадлежала к самому избранному обществу, раз она знала г-на де Рогана; что и сама занимала в нем высокое положение, раз о таком вельможе говорила так фамильярно; что была, возможно, в родственных с ним отношениях, и, наверное, достаточно близких, раз ей было известно его «крестное имя».

Две весьма суровые герцогини, г-жа де Шуазель и де Серан, часто посещали общину, куда имели свободный доступ, по всей вероятности, в силу привилегии Magnates mulieres[27], и нагоняли на воспитанниц неодолимый страх. Когда эти две старые дамы проходили мимо них, то бедные

---

[27] Примечания: 27
Знатных дам *(лат.)*.

молодые девушки дрожали и опускали глаза.

Впрочем, герцог де Роган, сам того не подозревая, являлся центром внимания воспитанниц. В ту пору он, в ожидании епископского сана, получил назначение главного викария при архиепископе Парижском. У него была привычка петь на клиросе во время богослужения в часовне монастыря Малый Пикпюс. Ни одна из молодых затворниц не могла его видеть сквозь саржевый занавес, но он обладал мягким, довольно высоким голосом, который они научились узнавать и различать. Когда-то он был мушкетером; говорили, что он очень следит за своей внешностью и замечательно причесан, что его великолепные каштановые волосы изумительными завитками обрамляют его лоб, что опоясан он дивным широким муаровым поясом и что черная сутана его — самого элегантного покроя в мире. Он сильно занимал воображение всех этих шестнадцатилетних девушек.

Ни один звук из внешнего мира не проникал в монастырь. Тем не менее выпал год, когда долетели до монастыря звуки флейты. То было настоящее событие, и тогдашние пансионерки еще до сих пор помнят об этом.

Кто-то по соседству играл на флейте. Флейтист

исполнял всегда одну и ту же арию, теперь уже устаревшую: «Моя Зетюльбе, приди царить в душе моей!», и ее можно было услышать два-три раза в день. Молодые девушки часами слушали эту арию, матери-изборщицы впали в отчаяние, юные умы работали, наказания так и сыпались. Это продолжалось несколько месяцев. Все воспитанницы в большей или меньшей степени были влюблены в неведомого музыканта. Каждая воображала себя этой «Зетюльбе». Звуки флейты доносились со стороны улицы Прямой стены. Пансионерки отдали бы все, пошли бы на все, рискнули всем, лишь бы хоть на секунду поглядеть на «молодого человека», разглядеть, наглядеться на того, который так восхитительно играл на флейте и, сам того не ведая, играл на струнах их сердец. Нашлись среди них воспитанницы, которые, проскользнув в дверь черного хода, взобрались на четвертый этаж, надеясь через оконце, выходящее на улицу Прямой стены, увидеть хоть что-нибудь. Невозможно. Одна дошла даже до того, что, подняв руку над головой и просунув ее сквозь решетку оконца, стала махать белым платком. Двое оказались еще более смелыми. Они придумали способ взобраться на крышу, не побоялись это сделать и увидели,

наконец, «молодого человека». Это был старый, слепой, разорившийся дворянин-эмигрант, от скуки игравший на флейте в своей мансарде.

Глава 6
Малый монастырь

В ограде Малого Пикпюса было три совершенно отдельных здания: большой монастырь, населенный монахинями, пансион, где помещались воспитанницы, и, наконец, так называемый малый монастырь. Это был особый флигель, с садом, где жили одной семьей всевозможные старые монахини различных орденов, живые обломки монастырей, уничтоженных революцией: пестрая смесь всяких инокинь, черных, серых и белых, принадлежавших к самым разным общинам и самого разного толка. Это был, если позволительно употребить подобное выражение, лоскутный монастырь.

Со времени Империи этим бедным, рассеянным по всей стране и лишенным права женщинам дозволено было приютиться здесь, под крылышком бенедиктинок-бернардинок. Правительство выдавало им скромное пособие; монахини Малого Пикпюса с готовностью приняли их. То было самое причудливое смешение. Каждая гостья соблюдала свой устав. Иногда воспитанницам

разрешали в качестве особенного развлечения посещать их; вот почему многие юные головки навсегда запомнили мать св. Василию, мать св. Схоластику и мать св. Якобу.

Одна из таких пришлых монахинь оказалась почти дома. Это была монахиня из Сент-Ор, единственная, которая пережила свой орден. Бывший монастырь сестер Сент-Ор занимал в начале восемнадцатого века как раз то самое здание Малого Пикпюса, которое впоследствии перешло к бенедиктинкам конгрегации Мартина Берга. Эта старая монахиня, слишком бедная, чтобы носить роскошную одежду своего ордена — белое платье с пурпуровым наплечьем, благоговейно возложила ее на маленький манекен, который охотно показывала, и, на случай своей смерти, завещала монастырю. В 1824 году от этого ордена оставалась лишь одна монахиня; ныне же остался один манекен.

Кроме этих достойных сестер, несколько старых светских женщин, вроде г-жи Альбертины, также получили от настоятельницы разрешение поселиться на покое в малом монастыре. К числу их принадлежали г-жа де Босфор д'Отпуль и маркиза Дюфрен. Была там еще одна обитательница, известная только тем, что она необыкновенно

звучно сморкалась. Воспитанницы прозвали ее «мадам Шумихини».

Около 1820 или 1821 года г-жа Жанлис просила разрешения стать постоялицей монастыря. Она издавала в то время небольшой периодический сборник под названием «Неустрашимый». За нее ходатайствовал герцог Орлеанский. Великое смятение в улье! Матери-изборщицы затрепетали. Г-жа де Жанлис писала романы! Но она же заявила, что первая ненавидит их, а к тому же она достигла тогда того периода жизни, когда ее обуяло свирепое благочестие. С помощью божьей, а также герцогской, она поселилась в монастыре. Но месяцев через шесть или семь покинула его под тем предлогом, что в саду нет тени. Монахини были в восторге. Хоть она была уже очень стара, но она все еще играла на арфе, и играла чудесно.

Покидая монастырь, она оставила память о себе в келье, где жила. Г-жа де Жанлис была суеверкой и латинисткой. Несколько лет тому назад еще можно было видеть в небольшом шкафчике, где она обыкновенно хранила деньги и драгоценности, наклеенную изнутри маленькую записочку со стихами, написанными ее рукой красными чернилами на желтой бумаге. Эти пять латинских стихотворных строк, по ее мнению,

обладали свойством отпугивать воров:

> *Imparibus meritis pendent tria corpora ramis:*
>
> *Dismas et Gesmas, media est divina potestas;*
>
> *Alta petit Dismas, infelix, infima, Gesmas.*
>
> *Nos et res nostras conservet summa potestas.*
>
> *Hos versus dicas, ne tu furto tua perdas*[28].

Эти вирши на латыни VI века возбуждают вопрос: как же звали двух распятых на Голгофе разбойников — Димас и Гестас, как думают обычно, или же Дисмас и

Гесмас? Это правописание могло бы опровергнуть все притязания виконта Гестаса в прошлом столетии на происхождение от нераскаявшегося разбойника. Впрочем, в полезное свойство, приписываемое этим стихам, орден госпитальерок твердо верит.

Монастырская церковь, построенная так, что она отделяла, словно настоящим крепостным

---

[28] Примечания: 28

Неравные по заслугам, висят на крестах три тела: Дисмас и Гесмас, а посредине божественный владыка; ввысь стремится Дисмас, а несчастный Гесмас — вниз. Нас и наше имущество да сохранит всевышний. Говори эти стихи, чтобы у тебя не украли твоего добра *(лат.).*

валом, большой монастырь от пансиона, была, само собой разумеется, общей и для большого монастыря, и для пансиона, и для малого монастыря. В церковь допускалась даже и посторонняя публика через проделанный на улицу вход в лазарет. Но все было расположено таким образом, что ни одна из обитательниц монастыря не могла видеть прихожан. Вообразите себе церковь, клирос которой, как бы схваченный и согнутый исполинской рукой, не продолжается, как в обыкновенных церквах, за престолом, а образует род залы или темной пещеры направо от священника, совершающего богослужение; вообразите далее, что эта зала скрыта занавесом высотой в семь футов, о котором мы уже упоминали, и что там, за этим занавесом, на деревянных скамьях, налево скучены монахини-клирошанки, направо — воспитанницы, а в центре — послушницы и белицы, и вы получите некоторое представление о том, как монахини Малого Пикпюса присутствовали при богослужениях. Эта темная пещера, именуемая клиросом, сообщалась с монастырем посредством коридора. Свет проникал туда со стороны сада. Во время служб, на которых, согласно уставу, монахини обязаны были хранить молчание, публика узнавала об их присутствии

по стуку поднимавшихся и опускавшихся полочек с нижней стороны сидений, на которые те, кто устал стоять, могли незаметно опереться.

Глава 7
Несколько силуэтов среди мрака

В течение шести лет, с 1819 и по 1825 год, настоятельницей монастыря Малый Пикпюс была мадемуазель де Блемер, в иночестве — мать Непорочность. Происходила она из рода Маргариты Блемер, автора «Жития святых ордена св. Бенедикта». Ее избрали вторично. Это была женщина лет шестидесяти, приземистая, дородная, с голосом, дребезжащим, точно «надтреснутый горшок», как говорится в письме, о котором мы уже упоминали выше, впрочем, добрейшая душа, единственное веселое существо во всем монастыре, и за это любимая до обожания.

Мать Непорочность унаследовала качества прабабки Маргариты, этой Дасье своего ордена. Она была образованна, начитанна, учена, книжница, своеобразный знаток истории, нашпигована латынью, напичкана греческим, начинена еврейским — скорее бенедиктинец, чем бенедиктинка.

Помощницей настоятельницы была старая, почти слепая, монахиня-испанка, мать Синерес.

Самыми почитаемыми среди матерей-изборщиц были: мать св. Гонория, казначея; мать св. Гертруда, начальница послушниц; мать св. Ангела, ее помощница; мать Благовещение, заведовавшая ризницей; мать св. Августина, заведовавшая лазаретом, единственная злая женщина во всем монастыре; затем мать св. Мехтильда (девица Говэн), совсем еще молодая, обладавшая чудным голосом; мать Святые ангелы (девица Друэ), уже побывавшая в монастыре сестер Странноприимного ордена и в монастыре Священных сокровищ, что между Жизором и Маньи; мать св. Иосифа (девица Коголлудо); мать св. Аделаида (девица д'Оверне); мать Милосердие (девица де Сифуентес), которая не в состоянии была вынести строгостей устава; мать Сострадание (девица де Мильтиер), принятая в общину шестидесяти лет, вопреки уставу, очень богатая; мать Провидение (девица де Лодиньер); мать Введение (девица Сигенца), ставшая в 1847 году настоятельницей; наконец, мать св. Селина (сестра скульптора Черакки), сошедшая с ума, и мать св. Шанталь (девица де Сюзон), тоже сошедшая с ума.

В числе красивейших была также прелестная двадцатитрехлетняя девушка с острова Бурбон,

правнучка кавалера Роз. В миру она носила бы имя мадемуазель Роз, а в схиме называлась мать Вознесение.

Мать Мехтильда, руководившая пением на клиросе, охотно привлекала в свой хор пансионерок. Она обычно набирала полную гамму, то есть семь девочек от десяти до шестнадцати лет включительно, подбирая голоса и рост и заставляя их петь, выстроившись в ряд, от самой низенькой до самой высокой. Казалось, перед вами свирель из молодых девушек, род живой флейты Пана, составленной из ангелов.

Среди послушниц больше всего любили сестру СВ. Эфразию, сестру св. Маргариту, сестру св. Марфу, впавшую в детство, и сестру св. Михаилу — всех смешил ее длинный нос.

Все эти женщины относились кротко к детям. Они были суровы только к самим себе. Печи топились лишь в пансионе, а пища воспитанниц, по сравнению с монашеской, была изысканной. И сверх всего этого — бесконечные попечения о них. Но если ребенок, проходя мимо монахини, заговаривал с ней, она никогда не отвечала.

Устав молчания привел к тому, что во всем монастыре дар слова отнят был у существ живых и передан предметам неодушевленным. То гудел

церковный колокол, то звенел бубенчик садовника. Очень звонкий колокол, помещавшийся около привратницы и звучавший на весь дом, возвещал при помощи разнообразных звонов, словно некий акустический телеграф, о разных событиях повседневной жизни и призывал в приемную, по мере надобности, ту или иную обитательницу монастыря. Каждому человеку и каждому предмету был присвоен особый звук. Для настоятельницы — один и один удар; для ее помощницы — один и два. Шесть и пять ударов означали: «время идти в класс», и воспитанницы вместо «идти в класс» всегда говорили: «идти в шесть-пять». Четыре-четыре были звоном для г-жи де Жан лис. Он звучал очень часто. «Это бесовский звон для бесовки», — говорили пансионерки, не отличавшиеся милосердием. Девятнадцать ударов возвещали о важном событии: это означало, что распахивалась настежь «монастырская дверь» — ужасная железная доска, вся ощетиненная засовами, которая поворачивалась на своих петлях только перед особой архиепископа.

Кроме него, а также садовника, как мы уже говорили, ни один мужчина не имел доступа в монастырь. Впрочем, пансионерки видели еще

двух мужчин: один из них — священник, старый и безобразный аббат Банес, которым они могли любоваться сквозь решетку клироса; другой — учитель рисования, г-н Ансио, упомянутый в вышеприведенном письме как «ужасный старый горбун Ансьошка».

Отсюда явствует, что все мужчины были подобраны тщательно.

Такова была эта любопытная обитель.

Глава 8
Post corda lapides[29]

Обрисовав внутренний облик монастыря, не лишне в нескольких словах описать и его наружный вид. О нем читатель уже имеет некоторое представление.

Сент-Антуанский монастырь Малый Пикпюс заполнял почти всю площадь обширной трапеции, образуемой пересечением улицы Полонсо, улицы Прямой стены, улочки Пикпюс и глухого переулка, носящего на старинных планах название улицы Омарэ. Эти четыре улицы окружали трапецию, подобно рву. Монастырь состоял из нескольких зданий и сада. Главный корпус здания, взятый в целом, представлял собою группу строений смешанного характера, которые с высоты птичьего полета довольно точно воспроизводили очертания виселицы, положенной наземь плашмя. Столб виселицы тянулся вдоль того отрезка улицы Прямой стены, который находился между улочкой Пикпюс и улицей Полонсо; перекладину же заменял высокий, строгий се-

---

[29] Примечания: 29
После сердец — о камнях *(лат.)*.

рый фасад за решеткой, выходящий на улочку Пикпюс; ворота № 62 помещались в конце этой перекладины. У середины фасада находились другие, низкие, побелевшие от слоя пыли и золы, ворота, под сводом которых пауки ткали паутину; ворота эти отпирались на час или на два по воскресеньям и в тех редких случаях, когда из обители выносили гроб с умершей монахиней. Это был вход в церковь для мирян. Угол, образуемый столбом и перекладиной, занимала квадратная зала, служившая буфетной, которую воспитанницы прозвали «кладовкой». В столбе виселицы помещались кельи матерей, сестер и послушниц. В перекладине — кухни, трапезная, бывшая филиалом монастырской, и церковь. Между воротами под № 62 и углом тупика Омарэ находился пансион, который был незаметен снаружи. Остальную часть трапеции занимал сад, уровень которого был значительно ниже улицы Полонсо, вследствие чего его стены с внутренней стороны оказывались еще выше, чем с внешней. На середине сада возвышался пригорок; на самой верхушке пригорка росла прекрасная остроконечная конусообразная ель, от которой, словно от навершья щита, расходились четыре большие аллеи и восемь маленьких, расположенных

попарно между разветвлениями больших так, что, будь этот сад круглым, геометрический план аллей представлял бы тогда крест, положенный на колесо. Все аллеи, примыкавшие к крайне неправильной линии садовых стен, были разной длины. Их окаймляли смородинные кусты. В глубине сада, от развалин старого монастыря, помещавшегося на углу улицы Прямой стены, и до здания малого монастыря на углу переулка Омарэ, тянулась аллея тополей. Перед малым монастырем находился так называемый «малый сад». Прибавьте ко всему этому двор, разнообразные углы, образуемые внутренними строениями, тюремные стены, а вместо всякого соседства, вместо всякой перспективы — длинную черную линию крыш, окаймлявшую противоположную сторону улицы Полонсо, — и вы получите довольно точное представление о том, каков был сорок пять лет тому назад монастырь бернардинок Малого Пикпюса. Эта обитель построена как раз на том месте, где с четырнадцатого и до шестнадцатого века находилось помещение со знаменитым залом для игры в мяч, прозванное «вертепом одиннадцати тысяч чертей».

Все эти улицы принадлежали к числу самых старинных в Париже. Названия — Прямая стена

и Омарэ — очень давние, а улицы, носящие их, еще старше. Тупик

Омарэ назывался тупиком Мальту; улица Прямая стена называлась улицей Шиповника, ибо господь стал растить цветы много раньше, чем человек стал тесать камень.

Глава 9
Сто лет под апостольником

Теперь, когда мы ознакомились в подробностях с тем, что собою представлял монастырь Малый Пикпюс в прошлом, и осмелились бросить взгляд внутрь этого ревниво охраняющего свою тайну убежища, да позволит нам читатель еще одно небольшое отступление, не относящееся к сути этой книги, но характерное и полезное в том смысле, что оно показывает, с какими своеобразными личностями можно было встретиться в самой обители.

В малом монастыре жила столетняя старуха, поступившая туда из аббатства Фонтевро. До революции она даже принадлежала к светскому обществу. Она часто рассказывала о г-не Миромениле, хранителе печати при Людовике XVI, и о г-же Дюпла, супруге председателя суда, с которой была близко знакома. Поминая то и дело этих людей, она испытывала удовольствие и чувство удовлетворенного тщеславия. Об аббатстве Фонтевро она рассказывала всевозможные чудеса: будто оно похоже было на город и будто в мона-

стыре были проложены настоящие улицы.

Она говорила на пикардийском наречии, что очень забавляло воспитанниц. Всякий год она торжественно возобновляла свои обеты и, прежде чем произнести их, говорила священнику: «Монсеньор святой Франсуа вручил свой обет монсеньору святому Евсевию, монсеньор святой Евсевий — монсеньору святому Прокопию… ит. д., ит. д., а мой я вручаю вам, пресвятой отец». И воспитанницы смеялись исподтишка, или, вернее, из-под покрывала, прелестным сдержанным смешком, заставлявшим матерей-изборщиц хмурить брови.

Иногда эта столетняя монахиня рассказывала разные истории. Она утверждала, что во времена ее молодости «бернардинцы не уступали мушкетерам». Ее устами говорил целый век, но век восемнадцатый. Она рассказывала об обычае «четырех вин», существовавшем до революции в Шампани и Бургундии. Когда какое-нибудь именитое лицо — маршал Франции, принц, герцог или пэр — проезжало через один из городов Шампани или Бургундии, то городской совет выходил его приветствовать и подносил в четырех серебряных чашах в виде ладьи четыре различных сорта вина. На первом кубке красо-

валась надпись: «обезьянье вино», на втором — «львиное вино», на третьем — «баранье вино» и на четвертом — «свиное вино». Эти четыре надписи обозначали четыре ступени, по которым спускается пьяница. Первая ступень опьянения веселит, вторая — раздражает; третья — оглупляет; наконец, четвертая — оскотинивает.

Она хранила у себя в шкафу под ключом какой-то таинственный предмет, которым очень дорожила. Устав аббатства Фонтевро не воспрещал этого. Она никому не хотела его показывать. Она запиралась у себя, что также не было воспрещено уставом, когда желала им тайком полюбоваться. Лишь только раздавался звук чьих-нибудь шагов в коридоре, она запирала шкаф с поспешностью, на какую только были способны ее дряхлые руки. Стоило кому-нибудь заговорить с ней об этом, как она, обычно такая болтливая, тотчас же умолкала. Самые любопытные не в силах были сломить ее молчание, а самые настойчивые отступали перед ее упорством. Это, разумеется, давало пищу для пересудов всем праздным или скучающим обитательницам монастыря. Что ж это был за предмет, столь драгоценный и столь таинственный, — предмет, являвшийся сокровищем столетней старухи? Может быть, ка-

кая-нибудь священная книга? Редкостные четки? Чудодейственные мощи? Все терялись в догадках. Когда бедная старушка умерла, то бросились к шкафу, быть может поспешнее, чем то дозволяло приличие, и отперли его. Предмет этот нашли завернутым в тройной полотняный покров, как освященный дискос. Это оказалось фаэнцское блюдо, на котором изображены были улетающие амуры, преследуемые аптекарскими учениками с огромными клистирными трубками. Эта сцена преследования изобиловала всякими гротескными гримасами и комическими позами. Например, один из очаровательных маленьких амуров уже попался; он отбивается, трепещет маленькими крылышками и пытается взлететь, но клистирщик хохочет сатанинским смехом. Мораль: любовь, побежденная резью в желудке! Это блюдо, кстати, чрезвычайно интересное и, быть может, вдохновившее Мольера, существовало еще в сентябре 1845 года: оно продавалось у антиквара на бульваре Бомарше.

Добрая старушка не желала, чтобы ее посещали миряне, «потому что приемная слишком мрачна», — говорила она.

Глава 10
Происхождение «Неустанного поклонения»

Впрочем, эта почти загробная приемная, о которой мы старались дать некоторое понятие, — явление местное, оно не повторяется с тою же строгостью в других монастырях. В частности, на улице Тампль, в монастыре, принадлежавшем, правда, другому ордену, вместо черных ставен были кофейного цвета шторы, а сама приемная представляла собой гостиную с паркетным полом и окнами, на которых висели белые кисейные занавески; на стенах красовались различные картины — например, портрет бенедиктинки с открытым лицом, букеты цветов и даже изображение головы турка.

В монастырском саду на улице Тампль рос знаменитый индийский каштан, слывший самым красивым и высоким во Франции. В восемнадцатом веке его называли патриархом всех каштановых деревьев королевства.

Мы уже говорили, что монастырь на улице Тампль был занят бенедиктинками ордена Не-

устанного поклонения, совершенно отличными от тех, которые были подчинены цистерьянцам. Этот орден Неустанного поклонения не принадлежит к числу очень древних, он насчитывает всего двести лет. В 1649 году святые дары на протяжении нескольких дней были дважды осквернены в двух храмах Парижа: Сен-Сюльпис и Сен-Жан-ан-Грев — неслыханное и страшное святотатство, взволновавшее весь город. Старший викарий, он же настоятель монастыря Сен-Жермен-де-Пре, назначил торжественный крестный ход всего духовенства обители, причем богослужение совершал папский нунций. Но этот искупительный обряд не удовлетворил двух достойных женщин — г-жу Куртен, маркизу де Бук, и графиню Шатовье. Оскорбление, нанесенное «высокочтимой святыне алтаря», хотя и мимолетное, не изглаживалось из памяти этих двух благочестивых душ и, по их мнению, могло быть смыто лишь «неустанным поклонением» в какой-либо женской обители. Обе они, одна в 1652 году, другая в 1653-м, пожертвовали крупные суммы бенедиктинской монахине из конгрегации Святых даров, матери Катерине де Бар, на основание, с этой благочестивой целью, монастыря ордена св. Бенедикта. Первое разрешение

основать такой монастырь было дано Катерине де Бар г-ном де Мецом, аббатом Сен-Жерменским, с тем чтобы ни одна из девиц не принималась в него иначе, как при условии уплаты трехсот ливров в год за содержание, которые являлись бы доходом с шести тысяч ливров основного взноса. Вслед за аббатом Сен-Жерменским король дал жалованную грамоту, а все вместе — аббатская хартия и королевская грамота — было в 1654 году утверждено счетной палатой и парламентом.

Таково происхождение узаконенной церковью и государством парижской конгрегации бенедиктинок «Неустанного поклонения святым дарам». Их первый монастырь был «заново воздвигнут» в улице Кассет на средства г-жи де Бук и г-жи Шатовье.

Этот орден, как мы видим, не имел ничего общего с орденом бенедиктинок Сито, именовавшихся цистерьянками. Он находился под главенством аббата Сен-Жермен-де-Пре, подобно тому, как монахини ордена Сердце Иисусово подчинялись генералу ордена иезуитов, а монахини ордена Милосердие — генералу ордена лазаристов.

Он нисколько не походил и на общину бернардинок Малого Пикпюса, внутреннюю жизнь которой мы только что описали. В 1657 году папа

Александр VII особой грамотой разрешил бернардинкам Малого Пикпюса неустанное поклонение, по примеру бенедиктинок ордена Святых даров. Но тем не менее оба ордена сохранили за собой все присущие им особенности.

Глава 11
Конец Малого Пикпюса

С самого начала Реставрации монастырь Малый Пикпюс стал хиреть, что было одним из проявлений общего упадка ордена, который после восемнадцатого века сошел на нет, как и все монашеские ордена той эпохи. Созерцание, как и молитва, — потребность человечества; но, подобно всему, чего коснулась революция, оно преобразится и из враждебного станет благоприятствующим прогрессу.

Монастырь Малый Пикпюс быстро обезлюдел. В 1840 году малый монастырь исчез, пансион исчез также. Уже не было там больше ни дряхлых старух, ни юных девушек. Первые умерли, вторые рассеялись. Volaverunt[30].

Устав конгрегации Неустанного поклонения настолько суров, что отпугивает всех; все меньше и меньше желающих принять постриг; орден не пополняется. В 1845 году еще находились охотницы идти в сестры-послушницы, но в монахини-клирошанки — ни одной. Сорок лет тому

---

[30] Примечания: 30
Улетели *(лат.)*.

назад монахинь было более ста; пятнадцать лет тому назад их осталось всего двадцать восемь. Сколько их теперь? В 1847 году настоятельница была молодая — признак того, что выбор суживался. Ей не было и сорока лет. С уменьшением числа монахинь возрастает тяжесть искуса, обязанности каждой становятся все более непосильными; недалек уже момент, когда останется не более двенадцати согбенных и измученных спин, способных нести тяжкий крест устава св. Бенедикта. Это бремя неумолимо и остается неизменным вне зависимости от того, мало их или много. Прежде оно угнетало, теперь оно сокрушало. И монахини стали умирать. В то время, когда автор этой книги жил в Париже, умерли две монахини. Одной было двадцать пять лет, другой двадцать три. Последняя могла сказать о себе, как Юлия Альпинула: «Hic jaceo. Vixi annos viginti et tres»[31]. По причине этого упадка монастырь и отказался от воспитания девушек.

Мы не в силах были пройти мимо этого своеобразного неизвестного темного дома, чтобы не проникнуть в него и не ввести туда всех, кто следует за нами, внимая, быть может, не без пользы

---

[31] Примечания: 31

«Здесь я покоюсь. Прожила я двадцать три года» *(лат.).*

для себя, грустной истории Жана Вальжана, которую мы рассказываем. Мы вошли в эту обитель, сохранившую древние обряды, которые ныне представляются нам столь новыми. Это запертый сад. Hortus conclusus. Мы рассказали об этом странном месте подробно, но с уважением, — с тем уважением по крайней мере, которое совместимо с подробным рассказом. Мы понимаем не все, но мы ничего не хулим. Мы одинаково далеки как от осанны Жозефа де Местра, дошедшего до прославления палача, так и от насмешки Вольтера, шутившего даже над распятием.

Заметим, между прочим, что со стороны Вольтера это не логично, ибо он защищал бы Иисуса, как защищал Жана Каласа; даже для тех, кто отрицает воплощение божества, — что представляет собой распятие? Убиение праведника.

В девятнадцатом веке религиозная идея переживает кризис. Люди от многого отучаются, и хорошо делают, — лишь бы, отучившись от одного, научились бы другому. Сердце человеческое не должно пустовать. Происходит известное разрушение, и пусть происходит, — но при условии, чтобы оно сопровождалось созиданием.

А пока изучим те явления, которых не существует более. С ними необходимо ознакомиться

хотя бы для того только, чтобы их избежать. Подделки прошлого принимают чужое имя и охотно выдают себя за будущее. Прошлое, это привидение, способно подчистить свой паспорт. Остережемся ловушки. Будем начеку! У прошлого свое лицо — суеверие и своя маска — лицемерие. Откроем же это лицо, сорвем с него маску.

Что касается монастырей, то это вопрос сложный. Цивилизация осуждает их, а свобода защищает.

Книга седьмая
В скобках

Глава 1
Монастырь как отвлеченное понятие

Эта книга — драма, в которой главное действующее лицо — бесконечность. Человек в ней лицо второстепенное. Посему, встретив на пути своем монастырь, мы проникли в него. Зачем? Потому что монастырь — достояние как Востока, так и Запада, как мира древнего, так и мира современного, как язычества, буддизма, магометанства, так и христианства — является одним из оптических приборов, применяемых человеком для познания бесконечности.

Здесь отнюдь не место слишком подробно развивать некоторые идеи. Однако же, нисколько не поступаясь нашей сдержанностью, нашими мысленными оговорками и даже нашим негодованием, мы должны признаться, что всякий раз, когда мы встречаем в человеке стремление к бесконечности, хорошо ли, дурно ли понятой, мы чувствуем к нему уважение. В синагоге, в мечети, в пагоде, в вигваме есть сторона отвратительная, которой мы гнушаемся, и есть сторона величественная, которую мы почитаем. Какой

предмет для созерцания, для глубоких дум это отражение бога на экране, которым служит ему человечество!

Глава 2
Монастырь как исторический факт

С точки зрения истории, разума и истины монашество подлежит осуждению.

Монастыри, в изобилии расплодившиеся у какой-нибудь нации и загромождающие страну, являются помехами для движения и средоточиями праздности там, где надлежит быть средоточиям труда. Монашеские общины по отношению к великим общинам социальным — это то же, что омела по отношению к дубу или бородавка — к телу человека. Их процветание и благоденствие означает обнищание страны. Монастырский уклад, полезный в младенческую пору цивилизации, смягчающий своим духовным воздействием грубость нравов, вреден в период возмужалости народов. Кроме того, с появлением в обителях распущенности, в период их упадка, уклад этот, поскольку он все еще продолжает служить примером, становится пагубным по тем же причинам, по которым был благотворным в период его чистоты.

Затворничество отжило свое время. Монасты-

ри, полезные во времена появления современной цивилизации, препятствовали дальнейшему ее росту и стали губительны для ее развития. Как институты, как способ формирования человека, эти монастыри, благотворные в десятом веке, спорные в пятнадцатом, отвратительны в девятнадцатом. Монашеская проказа разъела почти до костей две прекрасных нации — Италию и Испанию, олицетворявших одна — светоч, другая — великолепие

Европы в течение ряда веков. И если в современную нам эпоху эти две прославленные нации начинают излечиваться, то лишь благодаря целительной и здоровой гигиене 1789 года.

Обитель, старинная обитель, особенно женская, в том виде, в каком мы находим ее еще на рубеже нашего столетия в Италии, Австрии, Испании, является одним из самых мрачных воплощений Средних веков. Подобный монастырь — средоточие всех ужасов. Монастырь католический, в подлинном значении этого слова, залит зловещим сиянием смерти.

Особенно мрачен испанский монастырь. Там, в темноте, под сводами, полными мглы, под куполами, тонущими в мути теней, громоздятся массивные исполинские алтари, высокие,

как соборы; там, в потемках, свисают на цепях огромные белые распятия; там вытягиваются на черном дереве большие нагие Иисусы из слоновой кости, окровавленные, более того — кровоточащие, безобразные и в то же время великолепные, с обнажившимися на локтях костями, с содранной на коленях кожей, с открытыми ранами, увенчанные серебряными терниями, пригвожденные золотыми гвоздями, с рубиновыми каплями крови на лбу и алмазными слезами в глазах. Эти алмазы и рубины кажутся влажными и заставляют рыдать у подножия распятия существа, окутанные покрывалами, у которых тело истерзано власяницей и плетью с железными наконечниками, грудь сдавлена плетением из ивовых прутьев, колени изранены от стояний на молитве. То женщины, которые мнят себя супругами Христовыми; призраки, которые мнят себя серафимами. Мыслят ли эти женщины? Нет. Есть ли у них желания? Нет. Любят ли они? Нет. Живут ли они? Нет. Их нервы превратились в кость; их кости превратились в камень. Их покрывала сотканы из ночи. Их дыхание под покрывалами подобно какому-то трагическому веянию смерти. Игуменья, кажущаяся привидением, и благословляет их, и держит

их в трепете. Здесь бдит непорочность во всей своей свирепости. Таковы старинные испанские монастыри. Гнездилища грозного благочестия; вертепы девственниц; дикие места.

Католическая Испания была более римской, чем самый Рим. Испанский монастырь был по преимуществу монастырем католическим. В нем чувствовался Восток. Архиепископ, небесный кизляр-ага, шпионил за этим сералем душ, уготованных для Бога, и держал его на запоре. Монахиня была одалиской, священник — евнухом. Наиболее ревностные в вере становились во сне избранницами и супругами Христа. Ночью прекрасный юноша сходил нагой с креста и повергал в экстаз келью. Высокие стены охраняли от всех впечатлений живой жизни мистическую султаншу, которой распятый заменял султана. Единственный взгляд, брошенный на внешний мир, почитался изменой. In-pace[32]заменяло собой кожаный мешок. То, что на Востоке кидали в море, на Западе бросали в недра земные. И там и тут женщины ломали себе руки; на долю одних — волны, на долю других — могила; там утопленницы, здесь — погребенные. Чудовищная

---

[32] Примечания: 32
Подземная темница пожизненного заключения *(лат.)*.

параллель!

Ныне защитники старины, не будучи в состоянии отрицать эти факты, отделываются усмешкой. В моду вошла удобная и своеобразная манера устранять разоблачения истории, уничтожать комментарии философии и обходить все щекотливые факты и мрачные вопросы. «Предлог для пышных фраз», — говорят люди ловкие. «Это пышные фразы», — вторят им простаки. Жан-Жак — фразер; Дидро — фразер; Вольтер, защищавший Каласа, Лабара и Сирвена, — фразер. Некто — кто именно, не помню — недавно доказывал, что Тацит был фразером, что Нерон — жертва и что решительно надо пожалеть «этого бедного Олоферна».

А факты между тем нелегко сбить с толку, они упорны. Автор этой книги собственными глазами видел в восьми лье от Брюсселя — вот подлинное средневековье, имеющееся под рукой у всех у нас, — в аббатстве Вилье, ямы от «каменных мешков» среди луга, который когда-то был монастырским двором, а на берегу

Диля — четыре каменные темницы, наполовину под землей, наполовину под водой. Это были in-pace. В каждой из таких темниц целы остатки железной двери, отхожее место и заре-

шеченное оконце, которое с наружной стороны находится в двух футах от воды, а с внутренней — в шести футах от земли. Река протекает вдоль стен на высоте четырех футов. Пол в темнице всегда мокрый. Эта мокрая земля заменяла ложе заключенному в in-pace. В одной из таких темниц сохранился обломок железного ошейника, вделанного в стену; в другой — подобие квадратного ящика из четырех кусков гранита, — ящика, слишком короткого, чтобы в нем можно было лежать, слишком низкого, чтобы в нем можно было стоять. В него помещали живое существо, прикрывая гранитной крышкой. Так было. Это можно видеть. Можно осязать. Эти in-pace, эти темницы, эти железные крючья, эти ошейники, это высоко прорезанное слуховое окно, в уровень с которым протекает река, этот каменный ящик, прикрытый гранитной плитой, словно могила, с той только разницей, что здесь мертвецом был живой человек, эта грязь, заменяющая пол, эта дыра отхожего места, эта стена, сквозь которую просачивается вода! Каковы фразеры!

Глава 3
При каких условиях можно уважать прошлое

Монашество в том виде, в каком оно существовало в Испании, и в том виде, в каком до сих пор еще существует в Тибете, — род чахотки для цивилизации. Оно совершенно останавливает жизнь. Оно просто-напросто опустошает страну. Монастырское заточение — оскопление. Оно было бичом Европы. Добавьте к этому насилие, так часто применяемое над совестью, принудительное пострижение, феодальный строй, опирающийся на монастырь, право первородства, разрешающее старшим отсылать в монастыри младших членов слишком больших семей, те жестокости, о которых мы только что упоминали, in-pace, замкнутые уста, заточенные мысли, такое множество несчастных душ, брошенных в темницу монашеских обетов, принятие схимы, погребение заживо. Добавьте к захирению всей нации муки этих людей, и, кто бы вы ни были, вы содрогнетесь перед рясой и покрывалом, этими двумя саванами, изобретенными человечеством.

Однако, вопреки философии, вопреки прогрессу, в некоторых местах и в некоторых отношениях дух монашества стойко держится в самый разгар девятнадцатого века, и непонятное усиление аскетизма изумляет в настоящее время цивилизованный мир. Упорное желание отживших установлений продлить свою жизнь похоже на назойливость затхлых духов, которые требовали бы, чтобы мы все еще душили ими наши волосы, на притязание испорченной рыбы, которая захотела бы, чтобы ее съели, на надоедливые просьбы детского платья, которое пожелало бы, чтобы его носил взрослый, и на нежность покойника, который бы вернулся на землю, чтобы обнимать живых.

«Неблагодарный! — говорит одежда. — Я прикрывала вас в непогоду, почему же теперь я вам больше не нужна?» — «Я родилась в морском просторе», — говорит рыба. «Мы были розой», — твердят духи. «Я любил вас», — говорит покойник. «Я просвещал вас», — говорит монастырь.

На это есть один ответ: «То было когда-то».

Мечтать о бесконечном продлении того, что истлело, и об управлении людьми с помощью этого забальзамированного тлена, укреплять расшатавшиеся догматы, освежать позолотой

раки, подновлять монастыри, вновь освящать ковчеги с мощами, восстанавливать суеверия, подкармливать фанатизм, приделывать новые ручки к кропилам и рукоятки к шпагам, возрождать монашество и милитаризм, веровать в возможность спасти общество путем размножения паразитов, навязывать прошлое настоящему — все это кажется странным. Однако находятся теоретики, развивающие подобные теории. Эти теоретики, впрочем, люди умные, применяют весьма простой прием: они покрывают прошлое штукатуркой, которую именуют общественным порядком, божественным правом, моралью, семьей, уважением к предкам, авторитетом веков, священной традицией, законностью, религией и шествуют, крича: «Вот вам, получайте, добрые люди!» Но подобная логика была знакома еще древним. Ее применяли аруспиции. Они натирали мелом черную телку и заявляли: «Она белая». Bos cretatus[33]. Что касается нас, то мы в иных случаях почитаем прошлое, щадим его всюду, лишь бы оно соглашалось мирно покоиться в могиле. Если же оно упорно хочет восстать из мертвых, мы нападаем на него и стараемся убить.

---

[33] Примечания: 33
Набеленный мелом бык *(лат.)* — Ювенал (Сатира 10).

Суеверия, ханжество, пустосвятство, предрассудки — эти призраки, несмотря на всю свою призрачность, цепляются за жизнь: они зубасты и когтисты, хоть и эфемерны; с ними надо вступить врукопашную и воевать с ними, не давая им передышки, ибо одним из роковых предназначений человечества является вечная борьба с привидениями. Трудно схватить за горло тень и повергнуть ее наземь.

Монастырь во Франции в середине девятнадцатого века — это сборище сов среди бела дня. Монастырь, открыто исповедующий аскетизм в центре города, пережившего 1789, 1830 и 1848 годы, этот Рим, пышно распустившийся в Париже, — настоящий анахронизм. В обычное время, чтобы обнаружить анахронизм и заставить его исчезнуть, надо только разобраться в годе его чеканки. Но мы живем не в обычное время.

Будем бороться!

Будем бороться, но осмотрительно. Свойство истины — никогда не преувеличивать. Ей нет в этом нужды! Существует нечто, подлежащее уничтожению, иное же надо только осветить и в нем разобраться. Великая сила таится в благожелательном и серьезном изучении предмета! Не надо языков пламени там, где достаточно

простого луча.

Итак, живя в девятнадцатом веке, мы вообще относимся враждебно к аскетическому затворничеству, у каких бы народов оно ни существовало, будь то в Азии или в Европе, в Индии или в Турции. Кто говорит: «монастырь» — говорит: «болото». Их способность к загниванию очевидна, их стоячие воды вредоносны, их брожение заражает лихорадкой и изнуряет народы; их размножение становится казнью египетской. Мы без ужаса не можем помыслить о тех странах, где кишат, как черви, всевозможные факиры, бонзы, мусульманские монахи-отшельники, калугеры, марабуты, буддистские священники и дервиши.

И все же религиозный вопрос существует. В нем есть таинственные, почти грозные стороны. Да будет нам дозволено вглядеться в них пристальней.

Глава 4
Монастырь с точки зрения принципов

Люди собираются и живут сообща. В силу какого права? По праву объединения.

Они запираются у себя. В силу какого права? По праву каждого человека отворять или запирать свою дверь.

Они не покидают своих четырех стен. В силу какого права? По праву свободного передвижения, включающего также право оставаться у себя.

Но что делают они там, у себя?

Они говорят шепотом; они опускают глаза долу; они работают. Они отрекаются от мира, от городов, от чувственных наслаждений, от удовольствий, от суетности, от гордыни, от корысти. Они облачены в грубую шерсть или грубый холст. Никто из них не владеет никакой собственностью. Вступая в подобную общину, богатый становится бедным. То, чем он владеет, он отдает всем. Тот, кто был так называемого благородного происхождения, дворянин, вельможа, равен теперь простому крестьянину. Келья одна и та же для всех. Все подвергаются тому же

обряду пострижения, носят одинаковые рясы, едят тот же черный хлеб, спят на той же соломе, на одинаковом пепле умирают. То же вретище на спине, то же вервие вокруг чресел. Если положено ходить босыми, все ходят босые. Среди них может быть князь, но и князь — такая же тень, как и другие. Титулов больше нет. Даже фамилии исчезают. Остаются лишь имена. Крестное имя равняет всех. Люди отторгаются от семьи кровной и создают в своей общине семью духовную. У них нет иной родни, кроме всего человечества. Они помогают бедным, ухаживают за больными. Они сами избирают тех, кому повинуются. Они называют друг друга «брат».

Вы прерываете меня, восклицая: «Но ведь это идеальный монастырь!»

Да, если бы такой монастырь существовал, я должен был бы принять его в расчет.

Потому-то в предыдущих главах книги я говорил об одном монастыре с почтением. Если забыть о Средних веках, забыть об Азии, отложить до другого времени вопросы исторический и политический, то, с точки зрения чистой философии, оставляя в стороне требования воинствующей политики, я, при условии совершенно добровольного пострижения и пребывания в

монастыре, всегда готов относиться к общинному началу монашества с известного рода вдумчивой, а в некоторых отношениях даже и с благожелательной серьезностью. Где налицо община — там коммуна; где налицо коммуна — там право. Монастырь является продуктом формулы: Равенство, Братство. О величие свободы! Какое блистательное преображение! Достаточно одной свободы, чтобы монастырь превратить в республику.

Продолжаем.

Эти мужчины или эти женщины, заключенные в четырех стенах, носят грубые рясы, они все равны, они зовут друг друга братьями, все это так; но ведь они еще что-то делают?

Да.

Что же?

Они устремляют взор во мрак, становятся на колени и складывают руки.

Что это означает?

Глава 5
Молитва

Они молятся.

Кому?

Богу.

Молиться Богу — что это значит?

Существует ли какая-нибудь бесконечность вне нас? Едина ли она, перманентна, имманентна ли? Непременно ли субстанциональна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она ограниченной там, вне нас, не обладая субстанцией? Непременно ли разумна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она конечной там, вне нас, не обладая разумом? Пробуждает ли в нас эта бесконечность идею сущности мироздания, в то время как мы самим себе можем приписать только идею личного существования? Иными словами, не является ли она абсолютным понятием, по отношению к которому мы — лишь понятие относительное?

И нет ли, одновременно с бесконечностью вне нас, другой бесконечности, внутри нас самих? Не наслаиваются ли эти две бесконечности (какое страшное множественное число!) друг на друга?

Не лежит ли, так сказать, эта вторая бесконечность под первой? Не является ли она зеркалом, отражением, отголоском, бездной, имеющей общий центр с другой бездной? Обладает ли эта вторая бесконечность разумом, как первая? Мыслит ли она? Любит ли? Желает ли? Если эти обе бесконечности одарены разумом, то у каждой из них есть волевое начало, и есть свое «я» как в высшей, так и в низшей бесконечности. Это низшее «я» — душа; это высшее «я» — Бог.

Мысленно приводить в соприкосновение низшую бесконечность с высшей и значит молиться.

Не будем ничего оспаривать у человеческого духа; упразднять — дурно. Следует преобразовывать и преображать. Некоторые способности человека направлены к Неведомому: мысль, мечта, молитва. Неведомое — это океан. Что такое сознание? Это компас в Неведомом. Мысль, мечта, молитва — могучее свечение тайны. Будем уважать их. К чему тяготеет это величественное лучеиспускание души? К мраку; то есть к свету.

Величие демократии заключается в том, чтобы ничего не отвергать, ничего не отрицать у человечества. Наряду с правом Человека — по меньшей мере, возле него — стоит право Души.

Сокрушить фанатизм и благоговеть перед бесконечным — таков закон. Не будем ограничиваться тем, что, коленопреклоненные перед древом мироздания, мы созерцаем его несметные разветвления, унизанные светилами. У нас есть долг: трудиться над душой человеческой, защищать тайное от чудесного, чтить непостижимое и отвергать нелепое, допускать в области необъяснимого лишь необходимое, оздоровлять верования, освобождать религию от суеверий; уничтожать все, что паразитирует во имя Бога.

Глава 6
Неоспоримая благодать молитвы

Что же до способа молиться, то хорош всякий, лишь бы молитва была от души. Переверните ваш требник вверх ногами и слейтесь с бесконечностью.

Мы знаем, что существует философия, отрицающая бесконечность. Существует также философия, отрицающая солнце; эту философию, относящуюся к области патологии, именуют слепотой.

Возводить недостающее нам чувство в источник истины — на это способна лишь дерзкая самоуверенность слепца.

Любопытны те замашки высокомерия, превосходства и снисхождения, которые эта бредущая ощупью философия усваивает по отношению к философии, зрящей Бога. Она напоминает крота, восклицающего: «Как они жалки со своим солнцем!»

Мы знаем, что есть прославленные, мудрые атеисты. Приведенные к познанию истины самой своей мудростью, они в глубине души не слишком

уверены в собственном атеизме; остается лишь дать им другое название. Но во всяком случае, если они и не верят в Бога, то уже само величие их разума подтверждает существование Бога.

Мы приветствуем в них философов, неумолимо осуждая их философию.

Продолжаем.

Достойна восхищения и та легкость, с какою иные отделываются словами. Одна северная школа метафизики, отличающаяся некоторой туманностью, вообразила, что произвела переворот в человеческих умах, заменив слово «сила» словом «воля».

Сказать «растение хочет», вместо того чтобы сказать «растение произрастает», было бы действительно очень плодотворно, если бы добавляли: «вселенная хочет». Почему? Потому что вывод был бы такой: растение хочет, значит, у него есть свое «я», вселенная хочет, значит, у нее есть свой бог.

Что же касается нас, то хотя мы, в противоположность этой школе, и ничего не отметаем a priori[34], все же присутствие воли в растении, признаваемое этой школой, нам труднее допу-

---

[34] Примечания: 34
Заранее; независимо от опыта *(лат.)*.

стить, нежели присутствие воли во вселенной, ею отрицаемое.

Отрицать волю бесконечности, то есть волю Бога, возможно лишь при условии отрицания бесконечности. Мы это доказали.

Отрицание бесконечности ведет непосредственно к нигилизму. Все становится «измышлением разума».

Всякий спор с нигилизмом бесполезен. Ибо нигилист, если он логичен, сомневается в существовании своего собеседника и не совсем уверен в собственном существовании.

С его точки зрения допустимо, что он сам для себя — «измышление разума».

Однако он не замечает того, что все, отрицавшееся им, принимается им же в совокупности, как только он произносит слово «разум».

Словом, всякий путь для мысли закрыт той философией, которая сводит все к односложному «нет».

На «нет» есть лишь один ответ: «да».

Нигилизм заводит в тупик.

Небытия нет. Нуля не существует. Все представляет собой нечто. Ничто — есть что-то.

Человек живет утверждением еще более, чем хлебом.

Видеть и показывать — недостаточно. Философия должна быть действенной; ее стремлением и целью должно быть совершенствование человека. Сократ должен воплотиться в Адама и воспроизвести Марка Аврелия, другими словами — должен выявить в человеке-жизнелюбце человека-мудреца, заменить Эдем Аристотелевым Ликеем. Наука должна быть живительным средством. Наслаждаться — какая жалкая цель и какое суетное тщеславие! Наслаждается и скот. Мыслить — вот подлинное торжество души. Протянуть жаждущему человечеству чашу мышления, дать всем людям в качестве эликсира познание Бога, заставить в их душах совесть побрататься со знанием, сделать их справедливыми в силу этого таинственного союза — таково назначение реальной философии. Нравственность — это цветение истин. Созерцание приводит к действию. Абсолютное должно быть целесообразным. Надо, чтобы идеал можно было вдыхать, впивать, надо, чтобы он стал удобоварим для ума человеческого. Именно идеал и вправе сказать: «Приимите, ядите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Мудрость — это святое причастие. Лишь при этом условии она перестает быть бесплодной любовью к науке, и, став единственным

и главным средством объединения людей, она из философии превращается в религию.

Философия не должна быть башней, воздвигнутой для того, чтобы созерцать оттуда тайну в свое удовольствие и ради одного только любопытства.

Мы же, откладывая подробное развитие нашей мысли до другого случая, лишь скажем: нам непонятны ни человек как точка отправления, ни прогресс как цель без двух движущих сил — веры и любви.

Прогресс есть цель, идеал есть образец.

Что такое идеал? Это бог.

Идеал, абсолют, совершенство, бесконечность — слова тождественные.

Глава 7
Порицать следует с осторожностью

На истории и философии лежат обязанности, вечные и в то же время простые; бороться против Кайафы-первосвященника, против Дракона-судьи, против Тримальхиона-законодателя, против Тиверия-императора, — все это ясно, определенно, четко и ничего туманного в себе не содержит. Но право жить обособленно, при всех неудобствах и злоупотреблениях, связанных с этим, требует признания и пощады. Отшельничество — проблема чисто человеческая.

Говоря о монастырях, этих местах заблуждения, но вместе с тем и непорочности, самообмана, но и добрых намерений, невежества, но и самоотвержения, мучений, но и мученичества, следует почти всегда и допускать их, и отвергать.

Монастырь — противоречие. Его цель — спасение; средство — жертва. Монастырь — это предельный эгоизм, искупаемый предельным самоотречением.

Отречься, чтобы властвовать, — вот, по-видимому, девиз монашества.

В монастыре страдают, чтобы наслаждаться. Выдают вексель, по которому платить должна смерть. Ценой земного мрака покупают лучезарный небесный свет. Принимают ад как залог райского блаженства.

Пострижение в иноки или инокини — самоубийство, вознаграждаемое вечной жизнью.

По-нашему, тут насмешки неуместны. Здесь все серьезно: и добро и зло.

Человек справедливый нахмурится, но никогда не позволит себе язвительной улыбки. Нам понятен гнев, но не злоба.

Глава 8
Вера, закон

Еще несколько слов.

Мы осуждаем церковь, когда она преисполнена козней, мы презираем хранителей даров духовных, когда они алчут даров мирских; но мы всюду чтим того, кто погружен в размышление.

Мы приветствуем тех, кто преклоняет колени.

Вера! Вот что необходимо человеку. Горе не верующему ни во что!

Быть погруженным в созерцание не значит быть праздным. Есть труд видимый, и есть труд невидимый.

Созерцать — все равно что трудиться; мыслить — все равно что действовать. Руки, скрещенные на груди, — работают, сложенные пальцы — творят. Взгляд, устремленный к небесам, — деяние.

Фалес оставался четыре года неподвижным. Он заложил основы философии.

В наших глазах затворники — не праздные люди, отшельники — не тунеядцы.

Размышлять о Сокровенном — в этом есть величие.

Не отказываясь ни от чего сказанного нами выше, мы полагаем, что живым никогда не следует забывать о могиле. В этом вопросе и священник и философ сходятся. *Смерть неизбежна.* Аббат ордена траппистов перекликается тут с Горацием.

Вкрапливать в свою жизнь мысль о смерти — правило для мудреца и правило для аскета. В этом и мудрец, и аскет согласны друг с другом.

Существует материальное развитие — и его мы хотим. Существует также нравственное величие — и к нему мы стремимся.

Легкомысленные и скорые на заключения люди говорят:

— Какой смысл в этих неподвижных фигурах, обращенных своей мыслью к тайне? Для чего они? Что они делают?

Увы! Перед лицом той тьмы, которая окружает нас и ожидает нас, и в неведении того, во что превратит нас великий конечный распад, мы отвечаем: «Быть может, нет деяния выше того, что творят эти души». И добавляем: «Быть может, нет труда более полезного».

Нужны ведь людям вечные молельщики за тех, кто никогда не молится.

По-нашему, весь вопрос в том, сколько мысли примешивается к молитве.

Молящийся Лейбниц — это величественно; Вольтер, поклоняющийся божеству, — это прекрасно. Deo erexit Voltaire[35].

Мы стоим за религию против религий.

Мы принадлежим к числу тех, кто уверен в ничтожестве молитвословий и в возвышенности молитвы.

Впрочем, в переживаемое нами время, которое, к счастью, не наложит своего отпечатка на девятнадцатый век, — время, когда существует столько людей с низкими лбами и низменными душонками, когда столько людей возводят наслаждение в моральный принцип и поглощены скоропреходящими и отвратительными материальными благами, — всякий удаляющийся от мира заслуживает в наших глазах почета. Монастырь — отречение. Жертва, в основе которой лежит ошибка, все же жертва. Поставить себе долгом суровую ошибку — это не лишено высокого благородства.

Если взять истину и беспристрастно исследовать ее до конца, со всех сторон, то нельзя не признать, что монастырь, сам по себе и как отвлеченное понятие, бесспорно, обладает некоторым

---

[35] Примечания: 35
Богу вознес молитву Вольтер *(лат.)*.

величием. И особенно женская обитель, ибо в нашем обществе больше всего страдает женщина, а в этом добровольном уходе в иночество звучит протест.

Столь суровое и столь безотрадное монастырское существование, отдельные черты которого мы только что обрисовали, — не жизнь, ибо в нем нет свободы, и не могила, ибо в нем нет успокоения; это странное место, откуда, как с вершины высокой горы, по одну сторону видна бездна, где мы находимся, а по другую — бездна, где будем находиться. Это грань, узкая и туманная, разделяющая два мира, освещаемая и омрачаемая обоими одновременно, — здесь угасающий луч жизни сливается с мглистым лучом смерти; это полумрак гробницы.

Мы же, не веруя в то, во что веруют эти женщины, но живя, как и они, верой, — мы никогда не могли смотреть без некоторого священного и нежного трепета, без страдания, смешанного с какой-то завистью, на эти самоотверженные существа, трепещущие и доверчивые, на эти смиренные и возвышенные уповающие души, осмеливающиеся жить на самом краю тайны, между миром, который замкнут для них, и небом, которое для них не отверсто. Обратившись ду-

шой к невидимому свету, обладая лишь счастьем думать, что им известно, где этот свет находится, ищущие бездны и неведомого, они вперяют взор в неподвижный мрак, коленопреклоненные, исступленные, изумленные, трепещущие, в иные часы полувознесенные могучим дуновением вечности.

Книга восьмая
Кладбища берут то, что им дают

Глава 1,
где говорится о способе войти в монастырь

Именно в такую обитель Жан Вальжан и «упал с неба», как выразился Фошлеван.

Он перелез через садовую ограду, на углу улицы Полонсо. Этот гимн ангелов, донесшийся до него среди глубокой ночи, был хор монахинь, певших утреню; эта зала, представшая перед ним во мраке, была часовня; этот призрак, который он увидел простертым на полу, была сестра, «совершающая искупление»; этот бубенчик, звук которого столь поразил его, был бубенчик садовника, привязанный к колену дедушки Фошлевана.

Уложив Козетту спать, Жан Вальжан и Фошлеван, как мы уже упоминали, поужинали куском сыра и стаканом вина перед ярко пылающим очагом; затем они быстро улеглись на двух охапках соломы, так как единственная постель в сторожке занята была Козеттой. Улегшись, Жан Вальжан сказал: «Я должен остаться здесь навсегда». Эти слова всю ночь вертелись в голове Фошлевана.

Говоря по правде, ни тот, ни другой не сомкнули глаз до самого утра.

Жан Вальжан, чувствуя, что Жавер узнал его и идет по горячим следам, понимал, что если он и Козетта вернутся в Париж, то погибнут. Но налетевший на него новый шторм забросил их в этот монастырь, и Жан Вальжан теперь помышлял лишь об одном: остаться здесь. Сейчас для несчастного в его положении этот монастырь был одновременно и самым опасным, и самым безопасным местом, самым опасным, ибо ни один мужчина не имел права ступить за его порог; если его там обнаруживали, то считали застигнутым на месте преступления, — таким образом, для Жана Вальжана этот монастырь мог оказаться дорогой к тюрьме; самым безопасным, ибо если человеку удавалось проникнуть сюда и остаться, то кому же взбредет в голову искать его здесь? Поселиться там, где поселиться невозможно, — вот спасение.

Ломал себе над этим голову и Фошлеван. Начал он с признания в том, что ровно ничего не понимает. Каким образом г-н Мадлен оказался здесь, когда кругом стены? Через монастырские ограды так просто не пролезть. Как же так он оказался здесь, да еще с ребенком? По отвесным стенам не

карабкаются с ребенком на руках. Что это был за ребенок? Откуда они оба появились? С той поры как Фошлеван находился в монастыре, он никогда ничего не слыхал о Монрейле-Приморском и ни о чем происшедшем там не знал. Дядюшка Мадлен держал себя так, что подступиться к нему с вопросами нельзя было; к тому же Фошлеван и сам говорил себе: «Святых не расспрашивают». В его глазах г-н Мадлен продолжал оставаться значительной особой. Единственно, что мог заключить садовник из нескольких слов, вырвавшихся у Жана Вальжана, это что г-н Мадлен по причине тяжелых времен, видимо, разорился и его преследуют кредиторы, или же замешан в каком-нибудь политическом деле и скрывается; но это отнюдь не отвратило от него Фошлевана, который, как многие из наших северных крестьян, был старой бонапартистской закваски. Скрываясь, г-н Мадлен избрал убежищем монастырь и, само собою разумеется, захотел в нем остаться. Но что для Фошлевана было необъяснимым, к чему он постоянно возвращался и перед чем становился в тупик, это — каким образом г-н Мадлен очутился здесь, и не один, а с малюткой. Фошлеван видел их, касался их, говорил с ними — и не мог этому поверить. Впервые в сторожку

Фошлевана вступило непостижимое. Фошлеван терялся в догадках и ничего ясно себе не представлял, кроме того, что г-н Мадлен спас ему жизнь. В этом он был уверен твердо, и это повлияло на его решение. Он сказал себе: «Теперь моя очередь». А совесть его добавила: «Господин Мадлен столько не раздумывал, когда нужно было кинуться под повозку меня оттуда вытаскивать». Он решил спасти г-на Мадлена.

Он задал себе все же несколько вопросов и сам дал на них ответы: «А что, если б он оказался вором, стал бы я его спасать, помня, кем он был для меня? Конечно. Если бы он был убийцей, стал бы я его спасать? Конечно. Но он святой, стану я его спасать? Конечно».

Однако как помочь ему остаться в монастыре? Какая трудная задача! Перед такой попыткой, почти не осуществимой, Фошлеван тем не менее не отступил. Скромный пикардийский крестьянин решил преодолеть крепостной вал монастырских запретов и сурового устава св. Бенедикта, имея взамен штурмовой лестницы лишь преданность, искреннее желание и некоторую долю старой крестьянской смекалки, призванной на этот раз сослужить ему службу в великодушном его намерении. Дедушка Фошлеван был старик,

проживший всю свою жизнь эгоистом, и вот, на склоне дней, хромой, немощный, ничем уже в жизни не интересующийся, он нашел отраду в чувстве признательности и, увидев возможность совершить добродетельный поступок, с такой жадностью накинулся на это, с какой умирающий, найдя под рукой стакан хорошего вина, никогда им не отведанного, хватает его и пьет. Добавим к этому, что атмосфера монастыря, которой он дышал вот уже несколько лет, уничтожила в нем себялюбие и привела к тому, что в душе его возникла потребность проявить милосердие, совершив хоть какое-нибудь доброе дело.

Итак, он решился отдать себя в распоряжение г-на Мадлена.

Мы только что назвали его «скромным пикардийским крестьянином». Определение правильное, но не исчерпывающее. Мы дошли до того места нашего рассказа, где полезно дать некоторую психологическую характеристику дедушке Фошлевану. Он был из крестьян, но когда-то служил письмоводителем у нотариуса, и это придало некоторую гибкость его уму и проницательность его простодушию. Потерпев по множеству разнообразных причин крушение в своих делах, он из письмоводителя превратился

в возчика и поденщика. И все же, вопреки ругани и щелканью кнутом, что составляло его занятие и без чего, по-видимому, не могли обходиться его лошади, в нем был еще жив письмоводитель. Он обладал природным умом; его речь была правильной; он, что редко встречается в деревне, умел поддерживать разговор, и крестьяне говорили про него: «Он что твой барин в шляпе». Фошлеван действительно принадлежал к тому разряду простолюдинов, которые на дерзком и легкомысленном языке прошлого столетия назывались «полугорожанин, полудеревенщина» и которые в метафорах, употребляемых во дворцах по адресу хижин, именовались так: «Не то мещанин, не то мужик; в общем, ни то ни се». Фошлеван, этот жалкий старик, дышавший на ладан, хоть и много претерпел от судьбы и был изрядно ею измучен, все же оставался человеком, повинующимся, и совершенно добровольно, первому побуждению, — драгоценное качество, никогда не допускающее человека творить зло. Его недостатки и его пороки, ибо он таковыми обладал, были поверхностны; словом, он принадлежал к числу людей, которые при ближайшем соприкосновении с ними выигрывают. На этом старческом лице отсутствовали те неприятные

морщины, которые, покрывая верхнюю часть лба, свидетельствуют о злобе или тупости.

Открыв глаза на рассвете, Фошлеван, размышлявший всю ночь напролет, увидел, что г-н Мадлен, сидя на своей охапке соломы, глядит на спящую Козетту. Фошлеван приподнялся и сказал:

— Теперь, когда вы здесь, как вы думаете поступить, чтобы войти сюда уже по всем правилам?

Эти слова определили положение вещей и вывели Жана Вальжана из задумчивости.

Старики принялись совещаться.

— Прежде всего, — сказал Фошлеван, — вы не переступите порога этой комнаты, ни вы, ни девочка. Стоит вам выйти в сад, мы пропали.

— Это верно.

— Господин Мадлен, вы попали сюда в очень хорошее время, то есть я хочу сказать, в очень плохое. Одна из этих преподобных здорово больна. Значит, на нас не будут обращать особенного внимания. Сдается, она уже при смерти. Ее соборуют. Вся обитель на ногах. Они заняты. Та, что отходит, — святая. Сказать правду, все мы тут святые. Между ними и мною только и разницы, что они говорят: «наша келья», а я говорю: «мой закуток». Сначала будут служить отходную, а

потом заупокойную. Сегодня мы можем не беспокоиться, но за завтра я не ручаюсь.

— Однако, — заметил Жан Вальжан, — эта хижина стоит в углублении стены, она скрыта чем-то вроде развалин, окружена деревьями, из монастыря ее не видно.

— А я прибавлю еще, что монахини никогда к ней и не подходят.

— Так в чем же дело? — воскликнул Жан Вальжан.

Вопросительный знак, которым заканчивалась его фраза, означал: «Мне кажется, что здесь можно жить незамеченным». Именно на это Фошлеван и возразил:

— А девочки?

— Какие девочки? — удивился Жан Вальжан.

Только что Фошлеван собрался ответить, как раздался удар колокола.

— Монахиня скончалась, — сказал он. — Слышите похоронный звон?

Он сделал знак Жану Вальжану, чтобы тот прислушался.

Колокол прозвучал вторично.

— Это похоронный звон, господин Мадлен. Колокол будет звонить ежеминутно целых двадцать четыре часа, до самого выноса тела из

церкви. А девочки, видите ли, играют; если во время перемены у них закатится сюда мячик, так они, несмотря на запрещение, все равно прибегут сюда и будут совать свой нос повсюду. Эти херувимчики — настоящие дьяволята!

— Кто? — спросил Жан Вальжан.

— Девочки. Вас мигом обнаружат, не сомневайтесь. А потом станут кричать: «Глядите-ка, мужчина!» Но сегодня опасаться нечего. Никакой перемены у них не будет. Весь день уйдет на молитвы. Вы слышите колокол? Я вам уже говорил — по удару в минуту. Это похоронный звон.

— Понимаю, дедушка Фошлеван. Здесь, значит, есть воспитанницы?

А про себя он подумал: «Воспитание Козетты было бы обеспечено».

Фошлеван воскликнул:

— Еще бы! Конечно, тут есть маленькие девочки! Ну и подняли же бы они тут около вас пискотню! И задали же бы стрекача! Здесь мужчина — все равно что чума. Вы сами видите, что мне к лапе привязывают бубенчик, словно я дикий зверь.

Жан Вальжан глубоко задумался.

— Этот монастырь — наше спасение, — шептал он про себя. Затем сказал вслух: — Да, самое труд-

ное — это остаться здесь.

— Нет, — ответил Фошлеван, — выйти отсюда.

Жан Вальжан почувствовал, что вся кровь отхлынула у него от сердца.

— Выйти?

— Да, господин Мадлен, для того чтобы вы могли сюда вернуться, необходимо сначала отсюда выйти.

И, переждав очередной удар колокола, Фошлеван продолжал:

— Никак нельзя, чтобы вас тут застали. Сейчас же спросят, откуда вы появились. Я-то могу считать, что вы упали с неба, потому что я вас знаю. А что касается монахинь, так им требуется, чтобы вы вошли в ворота.

Вдруг послышался более замысловатый звон другого колокола.

— Ага! — сказал Фошлеван. — Это сбор капитула. Зовут матерей-изборщиц. Так бывает всегда, когда кто-нибудь умирает. Она скончалась на рассвете. Все обыкновенно умирают на рассвете. А вы не могли бы выйти тем же путем, каким вошли? Слушайте, это не потому, что я хочу вас допрашивать, но скажите, как вы сюда вошли?

Жан Вальжан побледнел. Одна мысль о том, чтобы спуститься через стену обратно на эту

страшную улицу, приводила его в трепет. Вообразите себе, что вы выбрались из леса, полного тигров, и, когда вы в безопасности, вдруг вы слышите дружеский совет вновь возвратиться туда же. Жан Вальжан представил себе весь квартал, еще кишащий полицией, агентов, ведущих наблюдение, дозоры, руки, протянутые к его вороту, и, быть может, на углу перекрестка — сам Жавер.

— Невозможно! — воскликнул он. — Дедушка Фошлеван, считайте, что я упал сюда с неба.

— Ну, я-то верю этому, охотно верю, вам незачем говорить мне, — отвечал Фошлеван. — Господь бог, наверное, взял вас на руки, чтобы разглядеть поближе, а потом выпустил. Только он хотел, чтобы вы попали в мужской монастырь, да ошибся. Ну вот, опять звонят. Этим звоном предупреждают привратника, чтобы он пошел предупредить муниципалитет, а уж тот предупредит врача покойников, чтобы пришел посмотреть покойницу. Так уж водится, когда умирают. Наши преподобные недолюбливают такие осмотры. Ведь врачи — это народ, который ни во что не верит. Врач приподымает покрывало. Иногда он даже приподымает кое-что другое. Что это они так поспешили на этот раз предупредить врача? Что такое случилось? А ваша малютка все еще

спит. Как ее зовут?

— Козетта.

— Это ваша девочка? Вернее сказать, вы будете ее дед?

— Да.

— Ей-то выйти отсюда будет легко. Есть тут служебная калитка прямо во двор. Я постучусь. Привратник откроет. У меня за спиной корзина, в ней малютка. Я выхожу. Дедушка Фошлеван вышел с корзиной — ничего странного в этом нет. Вы скажете девочке, чтобы она сидела смирно. Ее не будет видно под чехлом. На столько времени, сколько потребуется, я помещу ее у моей старой приятельницы, глухой торговки фруктами на улице Зеленая дорога, у нее есть детская кроватка. Я крикну ей в ухо, что это моя племянница и что я ее оставлю до завтра у нее. А потом малютка вернется уже с вами, потому что я устрою так, что вы вернетесь. Это непременно надо сделать. Но вы-то как отсюда выйдете?

Жан Вальжан покачал головой.

— Лишь бы меня никто не видел, дедушка Фошлеван, в этом все дело. Найдите способ, чтобы я мог выбраться отсюда в какой-нибудь корзине и под чехлом, как Козетта.

Фошлеван принялся чесать у себя за ухом, что

служило признаком серьезного замешательства.

Третий удар колокола придал другой оборот его мыслям.

— Это уходит врач покойников, — сказал Фошлеван. — Он поглядел и сказал: «Она умерла, так и есть». После того как доктор заверил пропуск в рай, бюро похоронных процессий присылает гроб. Если скончалась игуменья, то ее в гроб обряжают игуменьи; если сестра-монахиня, то обряжают сестры. Потом я заколачиваю гроб. Это тоже мое дело, дело садовника. Садовник, он всегда немножко могильщик. Гроб ставят в нижнюю, выходящую на улицу церковную залу, куда не имеет права входить ни один мужчина, кроме доктора. Меня да факельщиков за мужчин не считают. В этой самой зале я забиваю гроб. Факельщики приходят, выносят гроб — и с богом! Таким-то манером и отправляются на небеса. Вносят пустой ящик, а выносят уже с грузом внутри. Вот что такое похороны. «De profundis»[36].

Косой утренний луч слегка касался личика Козетты; она спала с чуть приоткрытым ртом и казалась ангелом, пьющим солнечное сияние. Жан Вальжан загляделся на нее. Он больше не

---

[36] Примечания: 36

«Из глубины взываю» *(лат.)* — начало заупокойного псалма.

слушал Фошлевана.

Если тебя не слушают, то это еще не значит, что ты должен замолчать. Добряк садовник спокойно продолжал переливать из пустого в порожнее:

— Могилу роют на кладбище Вожирар. Говорят, что кладбище Вожирар собираются закрыть. Это старинное кладбище, никаких уставов оно не соблюдает, мундира не имеет и должно скоро выйти в отставку. Жаль, потому что оно удобное. У меня там есть приятель, могильщик, дядюшка Метьен. Здешним монахиням дают там поблажку — их отвозят на это кладбище в сумерки. Префектура насчет этого издала особый приказ. Но чего-чего только не случилось со вчерашнего дня! Матушка Распятие скончалась, а дядюшка Мадлен…

— Погребен, — сказал Жан Вальжан с грустной улыбкой. Фошлеван подхватил это слово.

— Ну, разумеется, если бы вы здесь остались навсегда, это было бы настоящим погребением!

Звон колокола раздался в четвертый раз. Фошлеван поспешно снял с гвоздя наколенник с колокольчиком и снова пристегнул его к колену.

— На этот раз звонят мне. Меня требует мать-настоятельница. Так и есть, я укололся шпеньком от пряжки. Господин Мадлен, не трогайтесь с ме-

ста и ждите меня. Видно, есть какие-то новости. Если проголодаетесь, то вот вино, хлеб и сыр.

И он вышел из сторожки, приговаривая: «Иду! Иду!»

Жан Вальжан видел, как он быстро, насколько ему позволяла хромая нога, направился через сад, оглядывая мимоходом свои дынные грядки.

Не прошло и десяти минут, а дедушка Фошлеван, бубенчик которого обращал в бегство встречавшихся на его пути монахинь, уже тихонько стучался в дверь, и нежный голос ответил ему: «Во веки веков», что означало: «Войдите».

Эта дверь вела в приемную, отведенную для разговоров с садовником по делам его службы. А приемная примыкала к залу заседаний капитула. На единственном стоящем в приемной стуле сидела настоятельница и ожидала Фошлевана.

Глава 2
Фошлеван в затруднительном положении

При некоторых критических обстоятельствах людям известного склада характера, а также людям известных профессий свойственно принимать взволнованный и одновременно значительный вид — особенно священнослужителям и монахам. В ту минуту, когда вошел Фошлеван, именно такое двойственное выражение озабоченности и лежало на лице настоятельницы — некогда очаровательной и ученой мадемуазель Блемер, а ныне матушки Непорочность, обычно такой веселой.

Садовник боязливо поклонился, остановившись на пороге кельи. Настоятельница, перебиравшая четки, взглянула на него и сказала:

— А, это вы, дедушка Фован?

Этим сокращенным именем принято было называть его в монастыре.

Фошлеван снова поклонился.

— Дедушка Фован, я приказала позвать вас.

— Вот я и пришел, честна́я мать.

— Мне нужно поговорить с вами.

— И мне тоже, — сам испугавшись своей дерзости, сказал Фошлеван. — Мне тоже надо кое-что сказать вам, пречестна́я мать.

Настоятельница поглядела на него.

— Вы хотите сообщить мне что-то?

— Нет, попросить.

— Хорошо, говорите.

Добряк Фошлеван, бывший письмоводитель, принадлежал к тому типу крестьян, которые не лишены самоуверенности. Невежество, приправленное хитрецой, — сила; его не страшатся, и поэтому на него попадаются. Прожив около двух с лишним лет в монастыре, Фошлеван добился признания в общине. Если не считать его работу по садоводству, ему, в постоянном его одиночестве, больше ничего не оставалось делать, как всюду совать свой нос. Держась на расстоянии от всех этих скрытых монашескими покрывалами женщин, снующих взад и вперед, Фошлеван сначала видел перед собой одно лишь мелькание каких-то теней. Но наблюдательность и проницательность помогли ему в конце концов облечь эти призраки в плоть и кровь, и все эти мертвецы ожили для него. Он был словно глухой, глаза которого приобрели дальнозоркость, или

слепой, слух которого обострился. Он старался разобраться в значении всех разновидностей колокольного звона и преуспел в этом настолько, что загадочная и молчаливая обитель уже не таила в себе для него ничего непонятного. Этот сфинкс выбалтывал ему на ухо все свои тайны. Фошлеван обо всем знал и обо всем молчал. В этом заключалось его искусство. В монастыре все считали его дурачком. Это большое достоинство в глазах религии. Матери-изборщицы дорожили Фошлеваном. Это был удивительный немой. Он внушал доверие. Кроме того, он знал порядок и выходил из своей сторожки только тогда, когда того явно требовала необходимость быть либо в огороде, либо в саду. Подобная сдержанность была ему поставлена в заслугу. Тем не менее Фошлеван заставил проболтаться двух людей: в монастыре — привратника, и потому знал подробности всего происходившего в приемной; а на кладбище — могильщика, и потому знал все особые обстоятельства похорон. Таким образом, он получал двойного рода сведения о монахинях: одни проливали свет на их жизнь, другие — на их смерть. Но он не злоупотреблял ничем. Община ценила его. Старый, хромой, решительно ничего не смыслящий, без сомнения, глуховатый — ка-

кое множество достоинств! Заменить его было бы трудно.

С уверенностью человека, знающего себе цену, добряк обратился к почтенной настоятельнице с весьма глубокомысленной и по-деревенски многословной речью. Он пространно говорил о своем возрасте, хворостях, о бремени лет, удвоившемся для него отныне благодаря возрастающей трудности работы, обширности сада и бессонным ночам, — к примеру, нынешней, когда ему из-за того, что светила луна, пришлось накрывать соломенными матами дынные грядки, — и договорился до следующего: у него есть брат (настоятельница сделала движение), — брат отнюдь не молодой (настоятельница опять сделала движение, но уже более спокойное), и если пожелают, то этот брат мог бы поселиться с ним и помогать ему в работе; это превосходный садовник, и для общины он будет очень полезен, полезнее его самого; а если этого брата взять не согласятся, в таком случае он, Фошлеван-старший, чувствуя упадок сил и видя, что ему не справиться с работой, вынужден будет, как это ни обидно, уйти отсюда; наконец, у его брата есть дочка, которую тот привел бы с собой, девочка выросла бы здесь в страхе божьем и, как знать, может статься, в один

прекрасный день постриглась бы в монахини.

Когда он умолк, настоятельница бросила перебирать четки и сказала:

— Можете ли вы сегодня же, до наступления вечера, раздобыть крепкий железный брус?

— Для чего?

— Чтобы можно было употребить его вместо рычага.

— Да, честна́я мать, — ответил Фошлеван.

Не сказав больше ни единого слова, настоятельница встала и удалилась в соседние покои, бывшие залом заседаний капитула, где, по всей вероятности, собрались матери-изборщицы. Фошлеван остался один.

Глава 3
Мать Непорочность

Прошло приблизительно четверть часа. Настоятельница вернулась и вновь села на стул.

Оба собеседника казались озабоченными. Записываем со всей тщательностью их диалог.

— Дедушка Фован!

— Да, честна́я мать?

— Знаете вы часовню?

— У меня там есть свое местечко, откуда я слушаю обедню и прочие службы.

— А заходили вы на клирос по служебным надобностям?

— Два или три раза.

— Вот в чем дело. Там надо приподнять камень.

— Тяжелый?

— Каменную плиту возле алтаря.

— Которая закрывает вход в склеп?

— Да.

— Вот случай, когда бы пригодился еще один мужчина.

— Матушка Вознесение вам поможет, она силь-

на, как мужчина.

— Женщина никогда не заменит мужчину.

— Мы можем дать вам в помощь только женщину. Каждый делает то, что в его силах. Только потому, что отец Мабильон приводит четыреста семнадцать посланий святого Бернара, а Мерлонус Горстиус всего триста шестьдесят семь, я ведь не отношусь презрительно к Мерлонусу Горстиусу.

— И я так же отношусь.

— Заслуга в том, чтобы работать сообразно со своими силами. Монастырь — не дровяной склад.

— А женщина — не мужчина. Вот брат мой, тот силен!

— А кроме того, у вас будет рычаг.

— Только такой ключ и подходит к таким — дверям.

— В плите есть кольцо.

— В него я продену рычаг.

— А плита устроена так, что можно ее повернуть.

— Хорошо, честна́я мать. Я отворю склеп.

— А четыре матери-певчие вам помогут.

— И когда склеп будет отворен?..

— Тогда его придется вновь закрыть.

— И это все?

— Нет.

— Приказывайте, пречестна́я мать.

— Фован, мы доверяем вам.

— Я здесь, чтобы исполнять все приказания.

— И соблюдать молчание.

— Да, честна́я мать.

— Когда склеп будет открыт…

— То я его опять закрою.

— Но сначала…

— Что, честна́я мать?

— В него надо будет кое-что опустить.

Наступило молчание. Настоятельница поджала нижнюю губу, точно сомневаясь в чем-то, затем, прервав молчание, заговорила:

— Дедушка Фован!

— Да, честна́я мать?

— Вам известно, что сегодня утром скончалась монахиня?

— Нет.

— Разве вы не слыхали колокольного звона?

— В глубине сада ничего не слышно.

— Правда?

— Я даже с трудом слышу звон, которым вызывают меня.

— Она скончалась на рассвете.

— А кроме того, ветер сегодня дул не в мою сторону.

— Преставилась матушка Распятие. Праведница.

Настоятельница умолкла, пошевелила губами, словно мысленно произнося молитву, и продолжала:

— Три года тому назад госпожа Бетюн, янсенистка, приняла истинную веру только потому, что видела, как молится мать Распятие.

— А, верно! Вот теперь я слышу похоронный звон, честна́я мать.

— Монахини перенесли ее в покойницкую, смежную с церковью.

— Я знаю, где это.

— Ни один мужчина, кроме вас, не смеет и не должен входить в эту комнату. Следите за этим. Каково было бы, если бы в покойницкую проник какой-нибудь мужчина!

— Как бы не так!

— Что?

— Как бы не так!

— Что вы говорите?

— Я говорю, что как бы не так!

— Что как бы не так?

— Честная мать, я не говорю «что как бы не

так!», а говорю «как бы не так!».

— Я вас не понимаю. Почему вы говорите «как бы не так»?

— Чтобы подтвердить то, что вы сказали, честна́я мать.

— Но я не говорила «как бы не так!».

— Вы этого не говорили, но я это сказал, чтобы подтвердить то, что вы сказали.

В эту минуту пробило девять часов.

— В девять часов и во всякий час хвала и поклонение пресвятым дарам престола, — произнесла настоятельница.

— Аминь, — сказал Фошлеван.

Часы пробили очень кстати. Они пресекли это «как бы не так». Не пробей они, вполне вероятно, что настоятельница и Фошлеван никогда бы не выпутались из этого дела.

Фошлеван отер пот со лба.

Настоятельница опять что-то пробормотала про себя, наверное, из Святого Писания, потом, повысив голос, изрекла:

— При жизни матушка Распятие творила обращения; после смерти она будет творить чудеса.

— Уж она-то будет их творить! — подтвердил Фошлеван, подделываясь к настоятельнице и стараясь больше не сплоховать.

— Дедушка Фован, для общины матушка Распятие была благословением божьим. Конечно, не всякому дана такая кончина, как кардиналу Берюлю, который, служа обедню, со словами «Hanc igitur oblationem»[37] на устах, отдал богу душу. Но, хотя наша усопшая и не была удостоена такого счастья, кончина ее все же достойна зависти. Она до последней минуты была при полном сознании. Она говорила с нами, потом говорила с ангелами. Она сообщила нам свою последнюю волю. Если бы вы были крепче в вере и если бы могли тогда быть у нее в келье, то она одним своим прикосновением исцелила бы вашу ногу. Она улыбалась. Так и чувствовалось, что она воскресает в боге. Блаженная кончина!

Фошлеван решил, что настоятельница заканчивает молитву.

— Аминь, — сказал он.

— Дедушка Фован, волю умерших надо исполнять.

Настоятельница пропустила сквозь пальцы несколько зерен на четках. Фошлеван молчал. Она продолжала:

— По этому вопросу я справлялась у многих

---

[37] Примечания: 37

«Вот это приношение» *(лат.)* — слова из католической мессы.

духовных лиц, трудившихся во Христе над подвигами монашеской жизни. Плоды их усилий удивительны.

— Честна́я мать, отсюда похоронный звон слышен много лучше, чем из сада.

— Кроме того, она больше, чем просто усопшая, она — святая.

— Как и вы, честна́я мать.

— Она двадцать лет спала в своем гробу, с особого разрешения святого нашего отца папы Пия Седьмого.

— Того самого, который короновал импе… Буонапарта.

Для такого смышленого человека, каким был Фошлеван, подобное воспоминание было неудачным. К счастью, настоятельница, всецело поглощенная своей мыслью, не расслышала его. Она продолжала:

— Дедушка Фован!

— Да, честна́я мать?

— Святой Диодор, архиепископ Каппадокийский, пожелал, чтобы на его склепе было написано единственное слово: «Acarus», что значит «червь земляной»; это было исполнено. Не так ли?

— Так, честна́я мать.

— Блаженный Меццокан, аквилийский аббат, пожелал быть преданным земле под виселицей; это было исполнено.

— Верно.

— Святой Теренций, епископ города Порта, расположенного при впадении Тибра в море, пожелал, чтобы на его надгробной плите была вырезана такая же надпись, как у отцеубийц, надеясь, что все прохожие будут плевать на его могилу; это было сделано. Волю усопших следует исполнять.

— Да будет так.

— Тело Бернара Гвидония, родившегося во Франции близ Рош-Абейль, было, как он приказал и вопреки королю Кастилии, перенесено в церковь доминиканцев, в городе Лиможе, хотя Бернар Гвидоний был епископом испанского города Тюи. Можно ли на это что-нибудь возразить?

— Никак нет, честна́я мать.

— Этот случай засвидетельствован Плантавием де ла Фос.

Молча пропустив еще несколько зерен, настоятельница продолжала:

— Дедушка Фован, матушка Распятие будет погребена в том гробу, в котором спала двадцать

лет.

— Это правильно.

— Это будет продолжение ее сна.

— Значит, мне придется заколотить ее в этот самый гроб?

— Да.

— А казенный гроб мы так и оставим без дела?

— Именно.

— Я к услугам пречестной общины.

— Четыре матушки-певчие вам помогут.

— Это чтобы заколотить гроб? И без них обойдусь.

— Не заколотить, а спустить.

— Куда?

— В склеп.

— В какой склеп?

— Под алтарем.

Фошлеван так и подскочил на месте.

— В склеп под алтарем!

— Под алтарем.

— Но…

— У вас будет железный брус.

— Да, но…

— Вы приподнимете плиту за кольцо, продев в него этот брус.

— Но…

— Воле усопших надо повиноваться. Быть погребенной в склепе под алтарем часовни, не лежать в неосвященной земле, остаться после смерти там, где молилась при жизни, — это предсмертная воля матери Распятие. Она просила нас об этом, иначе говоря, приказала.

— Но ведь это запрещено.

— Запрещено людьми, повелено богом.

— А если об этом узнают?

— Мы вам доверяем.

— Ну, я-то нем, как камень из вашей ограды.

— Капитул собрался. Матери-изборщицы, с которыми я только что опять советовалась и которые продолжают еще обсуждение, решили, что матушка Распятие, согласно ее желанию, будет похоронена в своем гробу под нашим алтарем. Вы только подумайте, дедушка Фован, сколько здесь будет твориться чудес! Как прославится во имя господа наша обитель! Из могил и исходят чудеса.

— Но, честна́я мать, а если уполномоченный санитарной комиссии…

— Святой Бенедикт Второй расходился по вопросам погребения с Константином Погонатом.

— А полицейский пристав…

— Хонодмер, один из семи королей германских,

вторгшихся в Галлию при императоре Констанции, именно за монахами признал право быть погребенными в лоне религии, то есть под алтарем.

— Но инспектор префектуры…

— Все мирское есть прах перед лицом церкви! Мартин, одиннадцатый генерал картезианцев, дал ордену своему такой девиз: «Stat crux dum volvitur orbis»[38].

— Аминь, — сказал Фошлеван, неизменно выходивший подобным образом из затруднительного положения, в какое его всякий раз ставила латынь.

Для того, кто слишком долго молчал, годятся любые слушатели. В тот день, когда ритор Гимнасторас вышел из тюрьмы, с множеством вбитых там в него новых дилемм и силлогизмов, то, остановившись перед первым попавшимся ему по дороге деревом, он обратился к нему с речью и затратил огромные усилия, чтобы его убедить. Настоятельница, обычно соблюдавшая обет строгого молчания, но обуреваемая желанием высказаться, поднялась и разразилась речью с неудержимостью потока, хлынувшего в откры-

---

[38] Примечания: 38

«Крест стоит, пока вращается вселенная» *(лат.).*

тый шлюз.

— По правую руку мою — Бенедикт, по левую — Бернар. Кто такой Бернар? Он первый настоятель Клерво-Фонтен в Бургундии — место благословенное, ибо там он появился на свет. Отца его звали Теселином, а мать Алетой. Свой подвиг он начал в Сито, а закончил в Клерво; в настоятели он был рукоположен епископом Шалона-на-Соне, Гильомом де Шампо. У него было семьсот послушников, он основал сто шестьдесят монастырей; он поверг во прах Абеляра на Санском соборе в тысяча сто сороковом году, а также Пьера де Брюи и его ученика Генриха и других заблудших, которые именовались «апостольскими учениками»; он смутил Арно из Брешии, разгромил монаха Рауля, убийцу евреев; в тысяча сто сорок восьмом году он диктовал свою волю собору в Реймсе, осудил Жильбера де ла Поре, епископа Пуатье, осудил Зона де л'Этуаль, уладил распри между принцами, обратил в истинную веру Людовика Младшего, давал советы папе Евгению Третьему, руководил монастырем Тампль, проповедовал крестовый поход, сотворил двести пятьдесят чудес в течение своей жизни, творя иногда по тридцати девяти чудес в день. Кто такой Бенедикт? Это патриарх Монте-Кассини; это второй

основоположник монастырских уставов, это Василий Великий Запада. Учрежденный им орден дал сорок пап, двести кардиналов, пятьдесят патриархов, тысячу шестьсот архиепископов, четыре тысячи шестьсот епископов, четырех императоров, двенадцать императриц, сорок шесть королей, сорок одну королеву, три тысячи шестьсот канонизированных святых и существует уже тысячу четыреста лет. С одной стороны, святой Бернар; с другой — уполномоченный санитарной комиссии! С одной стороны, святой Бенедикт; с другой — инспектор городских свалок! Государство, инспекция, бюро похоронных процессий, правила, администрация — какое нам до этого дело? Любой встречный был бы возмущен, если бы увидел, как с нами обходятся. Мы не имеем даже права отдавать прах наш Иисусу Христу! Ваша санитарная комиссия — это революционная выдумка. Господь, подчиненный полицейскому приставу, — вот наш век! Молчите, Фован!

Под этим ливнем слов Фошлеван чувствовал себя не в своей тарелке. Настоятельница продолжала:

— В праве монастыря на погребение никто не сомневается. Только фанатики и еретики отрицают его. Мы живем в эпоху страшных за-

блуждений. То, о чем следует знать, никому не ведомо, а ведомо то, о чем знать не следует. Люди невежественны и нечестивы. В наше время находятся среди них такие, что не делают различия между Бернаром, величайшим из святых, и так называемым Бернаром Бедных католиков, добрым священником, жившим в тринадцатом веке. А иные доходят до такого богохульства, что сравнивают казнь Людовика Шестнадцатого на эшафоте с казнью Иисуса Христа на кресте. Людовик Шестнадцатый был всего только королем. Убоимся же гнева господня! Нет больше ни праведного, ни неправедного. Все знают имя Вольтера, но никто не знает имени Цезаря де Бюса. Между тем Цезарь де Бюс был блаженный, а Вольтер — просто блажной. Последний архиепископ, кардинал Перигор, не знал даже, что Шарль де Гондран был преемником Берюля, а Франсуа Бургуэн — преемником Гондрана, а Жан-Франсуа Сэно — преемником Бургуэна, а отец Сент-Март — преемником Жана-Франсуа Сэно. Все знают имя отца Котона, но не потому, что он был одним из трех основателей Оратории, а потому, что дал предлог для бранной поговорки короля-гугенота Генриха Четвертого. Сердцу мирских людей святой Франсуа Сальский любезен потому, что он

плутовал в карточной игре. А после этого нападают на религию. Почему? Потому что были дурные пастыри, потому что епископ Гапский был братом Салона, епископа Амбренского, и потому что оба они были последователями Момоля. Ну и что же? Разве это помешало Мартину Турскому остаться святым и отдать половину своего плаща нищему? Святых преследуют. Закрывают глаза на истину. Привыкли к мраку. А самые свирепые звери — звери слепые. Никто всерьез не думает об аде. О негодный народ! «Именем короля» означает ныне «именем революции»; люди забыли свой долг и в отношении живых, и в отношении мертвых. Умирать, как должно праведнику, воспрещено. Погребение стало делом гражданских властей. Это ужасно. Его святейшество Лев Второй написал по этому поводу два обращения — одно к Пьеру Нотеру, другое к королю вестготов, с целью оспорить и низвергнуть главенство экзарха и верховную власть императора в вопросах, касающихся усопших. Готье, епископ Шалонский, дал по этому же поводу отпор Отону, герцогу Бургундскому. Прежде магистратура держалась того же мнения. В былое время, в капитуле, мы имели право высказываться и по мирским делам. Аббат Сито, генерал ордена, был

почетным советником в бургундской судебной палате. Мы поступаем с нашими усопшими так, как считаем нужным. Разве прах святого Бенедикта не покоится во Франции в аббатстве Флери, именуемом Сен-Бенуа-на-Луаре, хотя он скончался в Италии, в Монте-Кассини, в субботу двадцать первого марта пятьсот сорок третьего года? Все это неоспоримо. Я презираю гнусавых псалмопевцев, терпеть не могу приоров, питаю отвращение к еретикам, но еще больше я возненавижу того, кто станет мне противоречить. Довольно перелистать Арну Виона, Габриэля Буселена, Тритема, Мороликуса и Люка д'Ашери, чтобы всякий согласился со мною.

Настоятельница перевела дух и обратилась к Фошлевану:

— Решено, дедушка Фован?

— Решено, честна́я мать.

— Можно на вас рассчитывать?

— Я буду повиноваться.

— Отлично.

— Я всей душой предан монастырю.

— Хорошо. Вы заколотите гроб. Сестры отнесут его в часовню. Там отслужат панихиду. Затем все вернутся в монастырь. Между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи вы придете с вашим

железным брусом. Все будет совершено в величайшей тайне. В часовне будут находиться только четыре матери-певчие, мать Вознесение и вы.

— А сестра, которая стоит у столба?

— Она не обернется.

— Но она услышит.

— Она не будет слушать. Кроме того, что ведомо монастырю, то неизвестно миру.

Вновь наступила пауза. Затем настоятельница продолжала:

— Вы снимете ваш бубенчик. Сестре у столба незачем знать о вашем присутствии.

— Честна́я мать!

— Что, дедушка Фован?

— А врач покойников был здесь?

— Он придет сегодня, в четыре часа. Уже прозвонили, чтобы пришел врач. Но вы ведь не слышите никакого звона?

— Я прислушиваюсь только к своему.

— Это похвально, дедушка Фован.

— Честна́я мать, рычаг должен быть по крайней мере шести футов длины.

— Где же вы найдете такой?

— Там, где есть железные решетки, найдутся и железные брусья. У меня куча всякого железного лома в глубине сада.

— Примерно без четверти двенадцать; не забудьте же.

— Честна́я мать!

— Что?

— Если у вас еще когда-нибудь встретится надобность в такой работе, то вспомните о моем брате. Вот это силач! Настоящий турок!

— Вы сделаете все это как можно быстрее.

— Я-то не очень проворен. Я калека; потому мне бы нужен был помощник. Я хромаю.

— Хромота не недостаток, она может быть даже благодатью. У императора Генриха Второго, который ниспроверг лжепапу Григория и восстановил Бенедикта Восьмого, было два имени: «Святой» и «Хромой».

— Конечно, очень хорошо иметь два имения, — пробормотал Фошлеван, который действительно был туговат на ухо.

— Дедушка Фован, пожалуй, возьмем на все это час времени. Это не так уж много. Будьте у главного алтаря с вашим железным брусом в одиннадцать часов ночи. Заупокойная служба начинается в полночь. Надо, чтобы все было кончено по крайней мере за четверть часа до того.

— Я сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать общине мое усердие. Мое слово крепко.

Я заколочу гроб. Ровно в одиннадцать я буду в часовне. Там уже будут матери-певчие. Там будет и мать Вознесение. Двое мужчин со всем этим управились бы лучше. Ну да ладно, как-нибудь! У меня будет рычаг. Мы откроем склеп, спустим туда гроб и опять закроем склеп. И никаких следов! Начальство об этом и подозревать не будет. Честна́я мать, значит, все в порядке?

— Нет.

— Что же еще?

— А пустой гроб?

Это замечание послужило причиной паузы в диалоге. Фошлеван раздумывал. Раздумывала и настоятельница.

— Дедушка Фован, что же делать с гробом?

— Его понесут на кладбище.

— Пустым?

Снова молчание. Фошлеван сделал жест левой рукой, словно отмахиваясь от назойливой мысли.

— Честна́я мать, но ведь я один заколачиваю гроб в нижней церковной комнате, и туда, кроме меня, никто не может войти, я и накрою гроб покровом.

— Да, но когда носильщики будут поднимать гроб на похоронные дроги, а потом опускать его

в могилу, они непременно почувствуют, что он пустой.

— Ах, дья…! — воскликнул Фошлеван.

Настоятельница подняла руку, чтобы осенить себя крестным знамением, и пристально взглянула на садовника. Окончание «вол» застряло у него в глотке.

— Честна́я мать, я насыплю в гроб земли. Будет казаться, что в нем кто-то лежит.

— Вы правы. Земля — то же, что человек. Значит, вы уладите дело с пустым гробом?

— Я беру это на себя.

Лицо настоятельницы, до сей поры мрачное и встревоженное, прояснилось. И начальническим жестом она отпустила своего подчиненного. Фошлеван направился к двери. Когда он переступал порог, настоятельница тихонько окликнула его:

— Дедушка Фован, я вами довольна; завтра после похорон придите ко мне с вашим братом и скажите ему, чтобы он привел с собой девочку.

Глава 4,
в которой может показаться, что Жан Вальжан читал Остена Кастильхо

Шаг хромого похож на подмигивание кривого: они не скоро достигают цели. Кроме того, Фошлеван был растерян. Он потратил около четверти часа, чтобы достигнуть садовой сторожки. Козетта уже проснулась. Жан Вальжан усадил ее возле огня. В то мгновение, когда Фошлеван входил в сторожку, Жан Вальжан, указывая ей на висевшую на стене корзинку садовника, говорил:

— Слушай меня хорошенько, маленькая моя Козетта. Мы должны уйти из этого дома, но мы опять вернемся сюда, и нам здесь будет очень хорошо. Старичок, который тут живет, вынесет тебя отсюда в этой корзине на своей спине. Ты будешь поджидать меня у одной женщины. Я приду за тобой. Главное, если не хочешь, чтобы Тенардье опять тебя забрала, будь послушна и ничего не говори!

Козетта серьезно кивнула головой.

На скрип отворяемой Фошлеваном двери Жан Вальжан обернулся.

— Ну как?

— Все устроено, а толку мало, — ответил Фошлеван. — Мне разрешили привести вас; но прежде чем привести, надо вас отсюда вывести. Вот в чем загвоздка! С малюткой это просто.

— Вы унесете ее?

— А она будет молчать?

— Ручаюсь.

— Ну, а как же вы, дядюшка Мадлен?

После некоторого молчания, в котором чувствовалось беспокойство, Фошлеван воскликнул:

— Да выйдите отсюда той же дорогой, какой вошли!

Как и в первый раз, Жан Вальжан коротко ответил:

— Невозможно.

Фошлеван, обращаясь больше к самому себе, чем к Жану Вальжану, пробурчал:

— Еще и другая вещь беспокоит меня. Я ей сказал, что наложу туда земли. Но мне кажется, что земля в гробу вместо тела… — нет, тут не обманешь, ничего не выйдет, она будет передвигаться, пересыпаться. Носильщики это почувствуют. Понимаете, дядюшка Мадлен, начальство непременно догадается.

Жан Вальжан пристально поглядел на него и

подумал, что он бредит.

Фошлеван продолжал:

— Но как же вам, дья… шут его возьми, выйти отсюда? Главное, все это надо уладить до завтрашнего дня! Как раз завтра мне велено привести вас. Настоятельница будет ждать.

И он объяснил Жану Вальжану, что это было вознаграждением за услугу, которую он, Фошлеван, оказывал общине: что в круг его обязанностей входит участие в похоронах, что он заколачивает гробы и помогает могильщику на кладбище; что умершая сегодня утром монахиня завещала положить ее в гроб, который при жизни служил ей ложем, и похоронить в склепе под алтарем часовни; что это воспрещено полицейскими правилами, но усопшая принадлежала к того рода праведницам, предсмертной просьбе которых перечить нельзя; что поэтому мать-настоятельница и прочие монахини намеревались исполнить волю усопшей; что тем хуже для правительства; что он, Фошлеван, заколотит гроб в келье, поднимет в часовне плиту и опустит усопшую в склеп; что в благодарность настоятельница согласна принять в монастырь его брата садовником, а племянницу воспитанницей; что его брат — это он, г-н Мадлен, а племянница — Козетта; что

настоятельница приказала привести к ней брата на следующий день вечером, после мнимых похорон на кладбище; что он не может привести в монастырь г-на Мадлена, если тот уже находится внутри монастыря; что в этом заключается первое затруднение; что, наконец, есть и другое затруднение — пустой гроб.

— Какой такой пустой гроб? — спросил Жан Вальжан.

— Казенный гроб.

— Почему гроб? И почему казенный?

— Умирает монахиня. Приходит врач из мэрии, потом он говорит: «Умерла монахиня». Городское начальство присылает гроб. Назавтра оно присылает катафалк и факельщиков, чтобы взять гроб и отвезти его на кладбище. Факельщики придут, поднимут гроб, а внутри — ничего.

— Так положите в него что-нибудь.

— Покойника? Его у меня нет.

— Нет, не покойника.

— А кого?

— Живого.

— Какого живого?

— Меня, — сказал Жан Вальжан. Фошлеван вскочил с места так стремительно, словно под его стулом взорвалась петарда.

— Вас?

— А почему бы нет?

И Жан Вальжан улыбнулся одной из своих редких улыбок, походившей на солнечный луч на зимнем небе.

— Помните, Фошлеван, вы сказали: «Матушка Распятие скончалась», и я добавил: «А дядюшка Мадлен погребен». Так оно и будет.

— Ну, ну, вы шутите, вы это не всерьез говорите!

— Очень даже всерьез. Выйти отсюда надо?

— Ну конечно.

— Говорил я вам, чтобы вы нашли корзину с чехлом и для меня?

— Ну, говорили.

— Корзина будет сосновая, а чехол из черного сукна.

— Во-первых, белого сукна. Монахинь хоронят в белом.

— Пусть будет белое.

— Вы не похожи на других людей, дядюшка Мадлен.

Увидеть, как подобная игра воображения, являющаяся лишь примером дикарской и смелой изобретательности каторги, возникает среди окружающей его мирной обстановки и пося-

гает на то, что он именовал «житьем-бытьем монастырским», было для Фошлевана так же необычайно, как для прохожего увидеть морскую чайку, вылавливающую рыбу из канавы на улице Сен-Дени.

Жан Вальжан продолжал:

— Все дело в том, чтобы выйти отсюда незамеченным. А это и есть такой способ. Но раньше расскажите мне подробности. Как это происходит? Где гроб?

— Пустой гроб?

— Да.

— Внизу, в комнате, которую называют покойницкой. Он стоит на двух подставках и накрыт погребальным покровом.

— Какова длина гроба?

— Шесть футов.

— А какая она, эта покойницкая?

— Это комната в нижнем этаже; в ней есть окно с решеткой, которое выходит в сад и закрывается снаружи ставнями, да двое дверей — одна в монастырь, другая — в церковь.

— В какую церковь?

— В церковь, что на этой улице, в общую церковь.

— У вас есть ключи от этих двух дверей?

— Нет. У меня ключ от двери, ведущей в монастырь; а ключ от двери в церковь у привратника.

— А когда привратник отворяет эту дверь?

— Когда приходят факельщики за гробом. Как вынесут гроб, так сейчас дверь и запирается.

— А кто заколачивает гроб?

— Я.

— Кто накладывает погребальный покров?

— Я.

— Вы бываете один в это время?

— Никто, кроме врача, не может войти в покойницкую. Это даже на стене написано.

— Могли бы вы сегодня ночью, когда все в обители уснут, спрятать меня в этой комнате?

— Нет. Но я могу вас спрятать в темной маленькой каморке рядом с покойницкой, я там держу мои инструменты для погребения, я за ней присматриваю, и у меня есть ключ от нее.

— В котором часу приедет завтра катафалк за гробом?

— В три часа пополудни. Хоронят на кладбище Вожирар, когда свечереет. Кладбище довольно далеко отсюда.

— Я спрячусь в вашей каморке с инструментами на всю ночь и на все утро. Но как быть с едой?

Ведь я проголодаюсь.

— Я принесу вам что-нибудь.

— Вы могли бы прийти заколотить меня в гроб часа в два ночи.

Фошлеван отшатнулся и хрустнул пальцами.

— Это невозможно!

— Ба! Трудно ли взять молоток и вбить несколько гвоздей в доски!

То, что Фошлевану казалось неслыханным, для Жана Вальжана было, повторяем, делом простым. Ему приходилось проскальзывать в любые щели. Кто бывал в тюрьме, познал искусство уменьшаться в соответствии с выходом, ведущим на волю. Заключенный так же неизбежно приходит к попытке бегства, как больной к кризису, который исцеляет его или губит. Исчезновение — это выздоровление. А на что только не решаются, лишь бы выздороветь! Дать себя заколотить в ящик и унести, как тюк с товаром, лежать в такой коробке долгое время, находить воздух там, где его нет, часами сберегать дыхание, уметь задыхаться, не умирая, — вот один из мрачных талантов Жана Вальжана.

Впрочем, эта уловка каторжника — гроб, в который ложится живое существо, — была также и уловкой короля. Если верить монаху Остену

Кастильхо, то к такому способу, желая в последний раз повидать г-жу Пломб, прибегнул после своего отречения Карл Пятый, чтобы ввести ее в монастырь святого Юста и затем вывести оттуда.

Придя немного в себя, Фошлеван воскликнул:

— Но как же вы будете дышать там?

— Уж как-нибудь буду.

— В этом ящике! Только подумаю об этом, и я уже задыхаюсь.

— У вас, конечно, найдется буравчик, вы просверлите около моего рта несколько дырочек, а верхнюю доску приколотите не слишком плотно.

— Ладно. Ну, а если вам случится кашлянуть или чихнуть?

— Тот, кто спасается бегством, не кашляет и не чихает.

И Жан Вальжан добавил:

— Дедушка Фошлеван, необходимо решиться: дать себя захватить здесь, или выехать отсюда на погребальных дрогах.

Всем известна повадка кошек останавливаться у приотворенной двери и прохаживаться меж ее двух створок. Кто из нас не говорил кошке: «Ну, входи же!» Есть люди, которые, попав в неопределенное положение, так же склонны колебаться

между двумя решениями, рискуя быть раздавленными судьбой, внезапно закрывающей для них всякий выход. Слишком осторожные, при всех их кошачьих свойствах и именно благодаря им, иногда подвергаются большей опасности, чем смельчаки. Фошлеван и был человеком такого нерешительного склада. Однако, вопреки его воле, хладнокровие Жана Вальжана покоряло его. Он пробормотал:

— И вправду, другого тут средства не найдешь.

Жан Вальжан продолжал:

— Одно только меня беспокоит, как все это пройдет на кладбище.

— А вот это меня как раз и не тревожит! — воскликнул Фошлеван. — Если вы уверены в том, что выберетесь живым из гроба, то я уверен, что вытащу вас из ямы. Могильщик тамошний — пьяница. Это мой приятель, дядюшка Метьен. Старый пропойца. Мертвец у могильщика в яме, а сам могильщик у меня в кармане. Я вам объясню, как оно все будет. На кладбище мы приедем незадолго до сумерек, за три четверти часа до закрытия кладбищенских ворот. Похоронные дроги доедут до могилы. Я пойду следом; это моя обязанность. У меня с собой будут молоток, долото, клещи. Дроги останавливаются, факельщики

обвязывают ваш гроб веревкой и спускают в могилу. Священник читает молитву, крестится, брызгает святой водой — и поминай как звали. Мы остаемся вдвоем с дядюшкой Метьеном. Повторяю, он мой приятель. Одно из двух: или он уже будет пьян, или он еще не будет пьян. Если он не пьян, то я говорю ему: «Идем выпьем по стаканчику, пока не заперли «Спелую айву». Я его увожу, угощаю, — а дядюшку Метьена напоить недолго, он и так-то всегда под мухой, — потом укладываю его под стол, забираю его пропуск на кладбище и возвращаюсь один. Тогда вы уже имеете дело только со мной. Ну, а если он будет уже пьян, то я скажу ему: «Ступай себе, я сам все за тебя сделаю». Он уходит, а я вытаскиваю вас из ямы.

Жан Вальжан протянул ему руку, Фошлеван схватил ее с трогательной сердечностью крестьянина.

— Договорились, дедушка Фошлеван. Все будет хорошо!

«Только бы прошло гладко, — подумал Фошлеван. — А вдруг какая беда стрясется!»

Глава 5
Быть пьяницей еще не значит быть бессмертным

Назавтра сильно поредевшие к вечеру прохожие обнажали головы, встретив на Менском бульваре старинные похоронные дроги, украшенные изображениями черепов, берцовых костей и стеклянными слезками. На дрогах стоял гроб под белым покровом, на котором виднелся большой черный крест, напоминавший огромную покойницу со свисающими по обе стороны руками. Сзади следовала парадная траурная карета, в которой можно было разглядеть священника в стихаре и маленького певчего в красной скуфейке. Два факельщика в серой одежде с черными галунами шли по левую и по правую сторону похоронных дрог. Сзади плелся хромой старик в одежде рабочего. Шествие направлялось к кладбищу Вожирар.

Из кармана рабочего высовывались ручка молотка, лезвие простого долота и концы клещей.

Кладбище Вожирар представляло исключение среди парижских кладбищ. У него были

свои особые порядки, были свои ворота и своя калитка, которые у старожилов квартала, придерживающихся старинных наименований, назывались воротами для всадников и воротами для пешеходов. Как мы уже говорили, бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса получили разрешение хоронить своих покойниц вечером и в отдельном углу кладбища, так как этот участок земли некогда принадлежал их общине. Для могильщиков, которые по этой причине работали там летом по вечерам, а зимой по ночам, были установлены особые правила. В те времена ворота парижских кладбищ запирались при закате солнца, а так как приказ этот исходил от городского управления, он распространялся и на кладбище Вожирар. Ворота для всадников и ворота для пешеходов решетками своими соприкасались с двух сторон с павильоном работы архитектора Перроне, в котором жил кладбищенский привратник. Эти решетки неумолимо повертывались на своих петлях в ту самую минуту, когда солнце опускалось за купол Инвалидов. Если к этому времени какой-нибудь могильщик задерживался на кладбище, то у него оставалась только одна возможность выйти оттуда: предъявить свой пропуск, выданный ему

бюро похоронных процессий. В ставню окна привратницкой вделано было нечто вроде почтового ящика. Могильщик бросал туда свой пропуск, привратник слышал звук падения, дергал за шнур, и ворота для пешеходов отворялись. Если у могильщика пропуска не было, то он называл свое имя, и тогда привратник, иногда уже спавший, вставал с постели, опознавал могильщика и отпирал ключом ворота; могильщик выходил, уплачивая, однако, пятнадцать франков штрафа.

Это кладбище, со всеми его особенностями, выходящими за рамки общих правил, нарушало административное единообразие. Вскоре после 1830 года кладбище Вожирар закрыли. На его месте возникло кладбище Мон-Парнас, унаследовавшее заодно и граничивший с кладбищем Вожирар знаменитый кабачок, увенчанный нарисованной на доске айвой. Он стоял под углом к столикам посетителей одной своей стороной, а к могилам — другой. На вывеске его значилось: «Под спелой айвой».

Кладбище Вожирар, что называется, отмирало. Им переставали пользоваться. Его завоевывала плесень, цветы покидали его. Буржуа не стремились быть похороненными на кладбище Вожирар; это говорило бы о бедности. Кладбище

Пер-Лашез — дело другое! Покоиться на кладбище Пер-Лашез — все равно что иметь обстановку красного дерева. В этом сказывался изящный вкус. Кладбище Вожирар, разбитое по образцу старинных французских садов и обнесенное оградой, было уголком, который внушал чувство почтения. Прямые аллеи, буксы, туи, остролистники, старые могилы, осененные старыми тисами, высокая трава. Вечером от него веяло чем-то трагическим. В его очертаниях чувствовалась мрачная печаль.

Солнце еще не успело зайти, когда катафалк с гробом, под белым сукном и черным крестом, появился на аллее, ведущей к кладбищу Вожирар. Следовавший за ним хромой старик был не кто иной, как Фошлеван.

Погребение матери Распятие в склепе под алтарем, выход Козетты из монастыря, проникновение Жана Вальжана в покойницкую — все прошло благополучно, без малейшей заминки.

Заметим мимоходом, что погребение матери Распятие в склепе под алтарем кажется нам поступком вполне простительным. Это одно из тех прегрешений, которые походят на выполнение долга. Монахини совершили его, не только не смущаясь, но с полного одобрения их сове-

сти. В монастыре действия того, что именуется «правительством», рассматриваются лишь как вмешательство в чужие права, — вмешательство, всегда требующее отпора.

Превыше всего монастырский устав; что же касается закона — там видно будет. Люди, сочиняйте законы, сколько вам заблагорассудится, но берегите их для себя! Последняя подорожная кесарю — всегда лишь крохи, оставшиеся после уплаты подорожной богу. Земной властитель перед лицом высшей власти — ничто.

Фошлеван, очень довольный, ковылял вслед за колесницей. Его два тесно связанных друг с другом заговора — один с монахинями, другой с г-ном Мадленом, один — в интересах монастыря, другой — в ущерб этим интересам, — удались на славу. Невозмутимость Жана Вальжана была сродни тому нерушимому спокойствию, которое сообщается и другим. Фошлеван больше не сомневался в успехе. То, что теперь оставалось сделать, было пустяком. В течение двух лет Фошлеван раз десять угощал могильщика, этого славного толстяка, дядюшку Метьена. Он обводил его вокруг пальца, этого дядюшку Метьена. Он делал с ним что хотел. Он вбивал ему в голову все, что вздумается. И дядюшка Метьен поддакивал

всякому его слову. У Фошлевана была полная уверенность в успехе.

В ту минуту, когда похоронная процессия достигла аллеи, ведущей к кладбищу, счастливый Фошлеван взглянул на дроги и, потирая свои ручищи, пробормотал:

— Вот так комедия!

Внезапно катафалк остановился; подъехали к решетке. Надо было предъявить разрешение на похороны. Служащий похоронного бюро вступил в переговоры с кладбищенским привратником. Во время этой беседы, обычно останавливающей кортеж на две-три минуты, подошел какой-то незнакомец и стал позади катафалка, рядом с Фошлеваном. По виду это был рабочий, в блузе с широкими карманами, с заступом под мышкой.

Фошлеван взглянул на незнакомца.

— Вы кто будете? — спросил он.

Человек ответил:

— Могильщик.

Если, получив пушечное ядро прямо в грудь, человек остался бы жив, то у него, наверное, было бы такое же выражение лица, как у Фошлевана в эту минуту.

— Могильщик?

— Да.

— Вы?

— Я.

— Могильщиком работает здесь дядюшка Метьен.

— Работал.

— Как это работал?

— Он умер.

Фошлеван приготовился к чему угодно, но только не к тому, что могильщик может умереть. А между тем это так; могильщики тоже смертны. Копая могилу другим, приоткрываешь и свою собственную.

Фошлеван остолбенел. Он насилу пролепетал, заикаясь:

— Не может этого быть!

— Это так.

— Но, — слабо возразил Фошлеван, — могильщик — это же дядюшка Метьен.

— После Наполеона — Людовик Восемнадцатый. После Метьена — Грибье. Моя фамилия Грибье, деревенщина.

Весь побледнев, Фошлеван всматривался в этого Грибье.

То был высокий, тощий, землисто-бледный, весьма мрачный человек. Он походил на неудачливого врача, который взялся за работу могиль-

щика.

Фошлеван расхохотался.

— Ну что за потешные вещи случаются на свете! Дядя Метьен умер. Умер добрый дядюшка Метьен, но да здравствует добрый дядюшка Ленуар! Вы знаете, кто такой дядюшка Ленуар? Это кувшинчик запечатанного красного винца в шесть су. Кувшинчик сюренского, будь я неладен! Настоящего парижского сюрена. А! Он умер, старина Метьен! Да, жаль; он был не дурак пожить. Ну, а вы? Вы ведь тоже не дурак пожить? Не правда ли, приятель? Мы сейчас отправимся вместе пропустить стаканчик.

Человек ответил:

— Я получил образование. Я окончил четыре класса. Я никогда не пью.

Погребальные дроги снова тронулись в путь и покатили по главной аллее кладбища.

Фошлеван замедлил шаги. От волнения он стал еще сильнее прихрамывать.

Могильщик шел впереди.

Фошлеван принялся снова оглядывать этого свалившегося с неба Грибье.

Новый могильщик принадлежал к тому сорту людей, которые, несмотря на молодость, кажутся стариками и, несмотря на худобу, бывают очень

сильны.

— Приятель! — окликнул его Фошлеван.

Человек обернулся.

— Я могильщик из монастыря.

— Мой коллега, — ответил человек.

Фошлеван, хотя и малограмотный, но очень проницательный малый, понял, что имеет дело с опасной породой человека, то есть с краснобаем.

Он проворчал:

— Значит, дядюшка Метьен умер.

Человек ответил:

— Окончательно. Господь бог справился в своей вексельной книге. Увидел, что пришел черед расплачиваться дядюшке Метьену. И дядюшка Метьен умер.

Фошлеван повторил машинально:

— Господь бог…

— Да, господь бог, — внушительно заявил человек. — Для философов он — отец предвечный; для якобинцев — верховное существо.

— Разве мы не познакомимся с вами поближе? — пролепетал Фошлеван.

— Мы уже это сделали. Вы деревенщина, я парижанин.

— Пока не выпьешь вместе — по-настоящему не познакомишься. Раскупоришь бутылочку,

раскупоришь и душу. Идем выпьем. От этого не отказываются.

— Нет, дело прежде всего.

«Я пропал», — подумал Фошлеван.

До маленькой аллейки, ведущей к уголку, где хоронили монахинь, оставалось всего лишь несколько шагов.

Могильщик заговорил снова:

— Деревенщина, у меня семеро малышей, которых надо прокормить. Чтобы они могли есть, я не должен пить.

И с удовлетворенным видом мыслителя, нашедшего нужное выражение, он присовокупил:

— Их голод — враг моей жажды.

Похоронные дроги обогнули купу кипарисов, свернули с главной аллеи и направились по боковой, затем, проехав прямо по траве, они углубились в чащу деревьев. Это указывало на непосредственную близость места погребения. Фошлеван замедлял свои шаги, но не в силах был замедлить движение катафалка. К счастью, рыхлая и размытая зимними дождями земля налипала на колеса и затрудняла их ход.

Он приблизился к могильщику.

— Там есть такое отличное аржантейльское вино, — прошептал он.

— Поселянин, — снова заговорил человек, — мне бы не могильщиком быть. Мой отец был привратником в Пританэ. Он предназначал меня к литературной карьере. Но на него свалились всякие несчастья. Он проигрался на бирже. Я должен был отказаться от литературного поприща. Однако я и сейчас работаю общественным писцом.

— Значит, вы не могильщик? — воскликнул Фошлеван, цепляясь за эту, столь хрупкую, веточку.

— Одно не мешает другому. Я совмещаю.

Фошлеван не понял последнего слова.

— Идем выпьем, — сказал он.

Тут необходимо сделать замечание. Фошлеван, как ни велика была его тревога, предлагая выпить, насчет одного пункта умалчивал, а именно: кто будет платить? Обычно Фошлеван предлагал выпить, а дядюшка Метьен платил. Предложение выпить со всей очевидностью вытекало из нового положения, созданного новым могильщиком; сделать подобное предложение, конечно, было необходимо, но старый садовник преднамеренно оставлял пресловутые, так называемые раблезианские четверть часа во мраке неизвестности. Что касается его самого, Фошлевана, то, несмотря на все свое волнение, он и не думал раскоше-

ливаться.

Могильщик продолжал, высокомерно улыбаясь:

— Ведь есть-то надо! Я согласился стать преемником дядюшки Метьена. Когда получаешь почти законченное образование, становишься философом. К работе пером я добавил работу заступом. Моя канцелярия на рынке, на Севрской улице. Вы его знаете? На Зонтичном рынке. Все кухарки из госпиталей Красного Креста обращаются ко мне. Я стряпаю им нежные послания к солдатикам. По утрам сочиняю любовные цидулки, по вечерам — копаю могилы. Такова-то жизнь, селянин!

Похоронные дроги подвигались вперед. Фошлеван, тревога которого дошла до последнего предела, озирался по сторонам. Со лба у него катились крупные капли пота.

— А между тем, — продолжал могильщик, — нельзя служить двум господам. Придется сделать выбор между пером и заступом. Заступ портит мне почерк.

Дроги остановились.

Из траурной кареты вышел маленький певчий, за ним священник.

Одно из передних колес катафалка слегка за-

дело кучку земли, по другую сторону которой виднелась отверстая могила.

— Вот так комедия! — растерянно повторил Фошлеван.

Глава 6
Меж четырех досок

Кто лежал в гробу? Мы знаем. Жан Вальжан. Жан Вальжан устроился в нем так, чтобы сохранить жизнь, чтобы можно было пусть с трудом, но дышать.

Удивительно, до какой степени от спокойствия совести зависит спокойствие человека вообще. Вся затея, придуманная Жаном Вальжаном, удавалась, и удавалась отлично со вчерашнего дня. Он, как и Фошлеван, рассчитывал на дядюшку Метьена. В благополучном исходе Жан Вальжан не сомневался. Нельзя вообразить положение более критическое; нельзя вообразить спокойствие более безмятежное.

От четырех гробовых досок веяло каким-то умиротворением. Казалось, спокойствие Жана Вальжана восприняло нечто от мертвого покоя усопших.

Из глубины этого гроба он мог следить, и следил, за всеми этапами той опасной игры, которую он вел со смертью.

Вскоре после того как Фошлеван приколотил

верхнюю доску, Жан Вальжан почувствовал, что его понесли, а затем повезли. По более редким толчкам он почувствовал, что с мостовой съехали на утоптанную землю, то есть проехали улицы и достигли бульваров. По глухому стуку он догадался, что переезжает Аустерлицкий мост. При первой остановке он понял, что подъехали к кладбищу; при второй он сказал себе: «Вот могила».

Внезапно он почувствовал, что гроб приподнят руками, потом послышалось какое-то резкое трение о доски; он сообразил, что гроб обвязывают веревкой, чтобы спустить его в яму.

Затем у него как будто закружилась голова.

По всей вероятности, факельщик и могильщик покачнули гроб и опустили его вниз изголовьем. Жан Вальжан пришел окончательно в себя, когда почувствовал, что лежит прямо и неподвижно. Гроб коснулся дна могилы.

Он ощутил какой-то особенный холод.

Леденящий торжественный голос раздался над ним. Он услыхал, как медленно — так медленно, что он мог уловить каждое из них, — над ним произносились латинские слова, которых он не понимал:

«Qui dormiunt in terrae pulvere, evigilabunt: alii

in vitam aeternam et alii in opprobrium; ut videant semper»[39].

И детский голос ответил:

«De profundis»[40].

Суровый голос продолжал:

«Requiem aeternam dona ei, Domine»[41].

Детский голос ответил:

«Et lux perpetua luceat ei»[42].

Он услышал, как по крышке гроба что-то мягко застучало, словно дождевые капли. Вероятно, гроб окропили святой водой.

Он подумал: «Это должно скоро кончиться! Еще немного терпения. Священник сейчас уйдет. Фошлеван уведет Метьена выпить. Меня оставят. Потом Фошлеван вернется один, и я выйду. На все это уйдет добрый час времени».

Суровый голос возгласил вновь:

---

[39] Примечания: 39

«Спящие во прахе земли пробудятся: одни на вечную жизнь, а другие на вечное мучение; пусть всегда это помнят» *(лат.).*

[40] Примечания: 40

«Из глубины» *(лат.).*

[41] Примечания: 41

«Вечный покой даруй ему, Господи» *(лат.).*

[42] Примечания: 42

«И да светит ему вечный свет» *(лат.).*

«Requiescat in pace»[43].

И детский голос ответил:

«Amen»[44].

Жан Вальжан, напрягши слух, уловил нечто вроде звука удаляющихся шагов.

«Вот они и уходят, — подумал он, — я один».

Вдруг он услыхал над головой звук, показавшийся ему раскатом грома.

То был ком земли, упавшей на гроб.

Упал второй ком.

Одно из отверстий, через которые он дышал, забилось землей.

Упал третий ком.

Затем четвертый.

Есть вещи, превосходящие силы самого сильного человека. Жан Вальжан лишился чувств.

---

[43] Примечания: 43
«Да почиет в мире» *(лат.).*

[44] Примечания: 44
Аминь *(лат.).*

Глава 7,
из которой читатель уяснит, как возникла поговорка: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь»

Вот что происходило над гробом, в котором лежал Жан Вальжан.

Когда похоронные дроги удалились, когда священник и маленький певчий уселись в траурную карету и отъехали, Фошлеван, не спускавший глаз с могильщика, увидел, что тот нагнулся и схватил воткнутую в кучу земли лопату.

Тогда Фошлеван принял отчаянное решение.

Он стал между могилой и могильщиком, скрестил руки и сказал:

— Я плачу́!

Могильщик удивленно взглянул на него.

— Что такое, деревенщина?

Фошлеван повторил:

— Я плачу́!

— За что?

— За вино.

— Какое вино?

— Аржантейльское.

— Где оно, твое аржантейльское?

— В «Спелой айве».

— Пошел к черту! — выругался могильщик.

И сбросил в могилу лопату земли.

Гроб ответил глухим звуком. Фошлеван почувствовал, что земля уходит у него из-под ног и что он сам готов упасть в могилу. Он крикнул сдавленным, хриплым голосом:

— Приятель, поторопимся же, пока «Спелая айва» еще не закрыта!

Могильщик снова набрал на лопату земли. Фошлеван продолжал:

— Я плачу́!

И он схватил могильщика за локоть.

— Послушайте-ка, приятель. Я монастырский могильщик, я пришел подсобить вам. Это дело можно сделать и ночью. А сначала пойдем глотнем стаканчик.

И, продолжая говорить, продолжая упорно, безнадежно настаивать, он в то же время мрачно раздумывал над следующим: «А вдруг он и выпьет, да не охмелеет?»

— Провинциал, если вам так этого хочется, я согласен, — сказал могильщик. — Выпьем. Но после работы, никак не раньше.

И он взялся за лопату. Фошлеван удержал его.

— Это аржантейльское вино, по шесть су которое!

— Ах, вы, звонарь! — сказал могильщик. — Динь-дон, динь-дон, только одно и знаете. Пойдите прогуляйтесь.

И он сбросил вторую лопату земли.

Фошлеван дошел до такого состояния, что сам уже не понимал, что говорит:

— Да идемте же выпьем, — крикнул он, — ведь платить-то буду я!

— После того как уложим ребенка спать, — ответил могильщик.

И он сбросил третью лопату земли.

Затем, воткнув ее в землю, он добавил:

— Видите ли, сегодня ночью будет холодно, и покойница начнет звать нас, если мы бросим ее здесь без одеяла.

В это мгновение, набирая лопатой землю, могильщик нагнулся, и карман его блузы раскрылся.

Блуждающий взгляд Фошлевана случайно упал на этот карман и задержался на нем.

Солнце еще не скрылось за горизонтом; было достаточно светло, чтобы можно было разглядеть в глубине этого кармана что-то белое. Глаза Фошлевана блеснули так ярко, насколько это

мыслимо для пикардийского крестьянина. Его вдруг осенила одна мысль.

Осторожно, чтобы могильщик, занятый лопатой, ничего не заметил, он запустил сзади руку к нему в карман и вытащил из этого кармана лежавший в нем белый предмет.

Могильщик сбросил в могилу четвертую лопату земли.

Когда он обернулся, чтобы набрать пятую, Фошлеван, взглянув на него с самым невозмутимым видом, сказал:

— Кстати, новичок, а пропуск у вас при себе?

Могильщик остановился.

— Какой пропуск?

— Но ведь солнце-то заходит.

— Ну и хорошо, пусть напяливает на себя ночной колпак.

— Сейчас запрут кладбищенскую решетку.

— И что же дальше?

— А пропуск у вас при себе?

— Ах, пропуск! — понял могильщик.

И стал шарить в кармане.

Обшарив один карман, он принялся за другой. Затем перешел к жилетным карманам, обследовал один, вывернул второй.

— Нет, — сказал он, — у меня нет пропуска…

Должно быть, забыл его дома.

— Пятнадцать франков штрафу, — заметил Фошлеван.

Могильщик позеленел. Зеленоватый оттенок означает бледность у людей с землистым цветом лица.

— О-Иисусе-Христе-сверни-шею-луне! — воскликнул он. — Пятнадцать франков штрафу!

— Три монеты по сто су, — уточнил Фошлеван.

Могильщик выронил лопату.

Теперь настал черед Фошлевана.

— Ну, ну, юнец, — сказал Фошлеван, — не горюйте. Из-за этого самоубийством не кончают, даже если готовая могила под боком. Пятнадцать франков — это всего-навсего пятнадцать франков, а кроме того, можно их и не уплачивать. Я стреляный воробей, а вы еще желторотый. Мне тут прекрасно известны все ходы, выходы, приходы, уходы. Я дам вам дружеский совет. Ясно одно: солнце заходит, оно достигло уже купола Инвалидов, через пять минут кладбище закроют.

— Это верно, — ответил могильщик.

— За пять минут вы не успеете засыпать могилу, она чертовски глубокая, эта могила, и не успеете выйти до того, как запрут решетку.

— Правильно.

— В таком случае, с вас пятнадцать франков штрафу.

— Пятнадцать франков!

— Но время не потеряно… Где вы живете?

— В двух шагах от заставы. Четверть часа ходьбы отсюда. Улица Вожирар, номер восемьдесят семь.

— Время не потеряно, если вы возьмете ноги в руки и уйдете отсюда немедленно.

— Это точно.

— Как только вы окажетесь за воротами, вы мчитесь домой, хватаете ваш пропуск, бежите обратно, привратник впускает вас. А раз у вас будет пропуск, ничего платить не придется. И тогда уже вы зароете вашего покойника. А я пока что постерегу его, чтобы он не сбежал.

— Я обязан вам жизнью, провинциал.

— Убирайтесь-ка поскорей, — сказал Фошлеван.

Вне себя от радости, могильщик потряс ему руку и пустился бежать.

Когда он скрылся в чаще деревьев и последний звук его шагов замер, Фошлеван нагнулся над могилой и сказал вполголоса:

— Дядюшка Мадлен.

Никакого ответа.

Фошлеван вздрогнул. Он не слез, а прямо скатился в могилу, припал к изголовью гроба и закричал:

— Вы здесь?

В гробу царила тишина.

Фошлеван, еле переводя дух, так его трясло, вынул из кармана долото и молоток и оторвал верхнюю доску у крышки гроба. В сумеречном свете перед ним появилось лицо Жана Вальжана, бледное, с закрытыми глазами.

У Фошлевана волосы на голове встали дыбом. Он поднялся, но вдруг, едва не упав на гроб, осел, привалившись к внутренней стенке могилы. Он взглянул на Жана Вальжана.

Жан Вальжан лежал недвижимо, мертвенно-бледный.

Фошлеван тихо, точно вздохнув, прошептал:

— Он умер!

И, снова выпрямившись, он так яростно скрестил на груди руки, что сжатые кулаки ударили его по плечам.

— Так вот как я спас его! — вскричал он.

Бедняга принялся всхлипывать и разговаривать с самим собой. Ошибочно думать, что монолог не свойственен человеческой природе. Сильное волнение нередко говорит о себе во

всеуслышание.

— В этом виноват дядюшка Метьен, — причитал он. — С какой стати он умер, этот дуралей? Ну зачем понадобилось ему околевать, когда никто этого не ждал? Это он уморил господина Мадлена. Дядюшка Мадлен! Вот он лежит в гробу! Он достиг всего. Кончено! Ну разве во всем этом есть какой-нибудь смысл? Господи боже! Он умер! А его малютка, что мне с ней делать? Что скажет торговка фруктами? Чтобы такой человек и так умер! Господи, возможно ли это? Только подумать, что он подлез под мою телегу! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Ей-богу, он задохся, я ведь говорил. Он не хотел мне верить. Нечего сказать, хороша шуточка для-ради конца! Он умер, такой славный человек, самый добрый из всех божьих людей. А его малютка! Ах! Во-первых, я не вернусь туда. Я остаюсь здесь. Отколоть такую штуку! И ведь надо же было двум старым людям дожить до таких лет, чтобы оказаться двумя старыми дураками. Как же он все-таки попал в монастырь? С этого и началось. Не следует проделывать такие вещи. Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Мадлен! Господин Мадлен! Господин мэр! Он не слышит. Ну попробуйте-ка теперь из этого выкрутиться!

И он стал рвать на себе волосы.

Издали из-за деревьев послышался пронзительный скрип. Запирали кладбищенскую решетку.

Фошлеван наклонился над Жаном Вальжаном и вдруг подскочил и отшатнулся назад, насколько это возможно было в могиле. У Жана Вальжана глаза были открыты, и они смотрели на него.

Видеть смерть жутко, видеть воскресение — почти так же жутко. Фошлеван точно окаменел: бледный, растерянный, потрясенный всеми этими чрезмерными волнениями, он не понимал, покойник перед ним или живой, и глядел на Жана Вальжана, а тот глядел на него.

— Я уснул, — сказал Жан Вальжан.

И он привстал на своем ложе.

Фошлеван упал на колени.

— Пресвятая дева! Ну и напугали вы меня!

Затем он поднялся и крикнул:

— Спасибо, дядюшка Мадлен!

Жан Вальжан был только в обмороке. Свежий воздух привел его в сознание.

Радость — это отлив ужаса. Фошлевану надо было затратить почти столько же сил, сколько Жану Вальжану, чтобы прийти в себя.

— Так вы не умерли! Ну, до чего ж вы умный! Я так долго звал вас, что вы вернулись! Когда я уви-

дел ваши закрытые глаза, то я сказал себе: «Так, ну вот он и задохся!» Я помешался бы, стал бы настоящим буйным помешанным, на которого надевают смирительную рубашку. Меня бы посадили в Бисетр. А что мне было еще делать, если бы вы умерли? А ваша малютка? Вот уж кто ничего не понял бы, так это торговка фруктами. Ей сбрасывают на руки ребенка, а дедушка умирает! Ну что за история! Святители, что за история! Ах, вы живы, вот счастье-то!

— Мне холодно, — сказал Жан Вальжан.

Эти слова окончательно вернули Фошлевана к действительности, настойчиво о себе напоминавшей. Эти двое людей, даже придя в себя, продолжали, сами того не понимая, испытывать душевное смятение, в них говорило какое-то необычайное чувство, порожденное мрачной затерянностью этого места.

— Уйдем скорее отсюда! — воскликнул Фошлеван.

Он пошарил у себя в кармане и вытащил флягу, которой запасся заранее.

— Но сначала хлебните водочки, — сказал он.

Фляга довершила то, что начал свежий воздух. Жан Вальжан отпил глоток и вполне овладел собой.

Он вылез из гроба и помог Фошлевану снова заколотить крышку.

Через три минуты они выбрались из могилы.

Впрочем, Фошлеван был спокоен. Он не спешил. Кладбище было заперто. Неожиданного возвращения могильщика Грибье опасаться было нечего. Этот «юнец» находился у себя дома и разыскивал свой пропуск, который ему довольно трудно было найти, ибо он лежал в кармане у Фошлевана. Без пропуска вернуться на кладбище он не мог.

Фошлеван взял лопату, Жан Вальжан заступ, и оба закопали пустой гроб.

Когда могила была засыпана, Фошлеван сказал Жану Вальжану:

— Идем. Я беру лопату, а вы несите заступ.

Дело шло к ночи.

Жану Вальжану нелегко было двигаться и ходить. В этом гробу он окостенел и сам почти уподобился трупу. Среди четырех гробовых досок им овладела неподвижность смерти. Ему надо было, так сказать, оттаять от могилы.

— Вы окоченели? — спросил Фошлеван. — Как жаль, что я хромаю, а то мы потопали бы ногами, чтобы согреться.

— Пустяки! — ответил Жан Вальжан. — Два-три

шага, и я снова научусь ходить.

Они направились теми же аллеями, по которым ехали погребальные дроги. Дойдя до запертой решетки и павильона привратника, Фошлеван, державший в руке пропуск могильщика, бросил его в ящик, привратник дернул за шнур, дверь открылась, и они вышли.

— Как все хорошо устраивается! Какая хорошая мысль пришла вам в голову, дядюшка Мадлен! — сказал Фошлеван.

Они спокойно миновали заставу Вожирар. В окрестностях кладбища лопата и заступ служат паспортами.

Улица Вожирар была пустынна.

— Дядюшка Мадлен, — сказал Фошлеван, подвигаясь вперед и всматриваясь в дома, — вы видите лучше моего. Покажите-ка мне, где номер восемьдесят седьмой?

— Вот как раз и он, — сказал Жан Вальжан.

— На улице никого нет, — продолжал Фошлеван. — Дайте мне заступ и подождите здесь минутку.

Фошлеван вошел в дом, поднялся на самый верхний этаж, повинуясь инстинкту, неизменно ведущему бедняка к чердачному помещению, и постучался в темноте в дверь мансарды. Чей-то

голос ответил:

— Войдите.

То был голос Грибье.

Фошлеван толкнул дверь. Квартира могильщика, как все эти убогие жилища, представляла собою лишенную мебели тесную каморку. Какой-то ящик для упаковки товара — может быть, и гроб — служил комодом, горшок из-под масла — посудой для воды, соломенный тюфяк — постелью, вместо стульев и стола — плитчатый пол. В углу на дырявом обрывке старого ковра сидели, сбившись в кучку, худая женщина и несколько детей. Все в этой жалкой комнате носило следы домашней бури. Можно было подумать, что здесь произошло какое-то «комнатное» землетрясение. Крышки с кастрюль были сдвинуты с места, лохмотья разбросаны, кружка разбита, мать заплакана, дети, по-видимому, избиты; всюду следы безжалостного, грубого обыска. Было очевидно, что могильщик совсем потерял голову, разыскивая свой пропуск, и возложил ответственность за пропажу на все, что находилось в каморке, — от кружки до своей жены. Всем своим видом он выражал отчаяние.

Но Фошлеван слишком торопился к развязке приключения, чтобы обращать внимание на

печальную сторону своего успеха.

Войдя, он заявил:

— Я принес вам ваши заступ и лопату.

Грибье изумленно взглянул на него.

— Это вы, поселянин?

— А завтра утром у кладбищенского привратника вы получите ваш пропуск.

И он положил на пол лопату и заступ.

— Что это значит? — спросил Грибье.

— Это значит, что вы выронили из кармана ваш пропуск, что, когда вы ушли, я его нашел на земле, что я похоронил покойницу, что я засыпал могилу, что я выполнил вашу работу, что привратник вернет вам ваш пропуск и что вы не будете платить пятнадцать франков штрафа. Так-то, новичок!

— Благодарю, провинциал! — вскричал восхищенный Грибье. — В следующий раз за выпивку плачу я!

Глава 8
Удачный допрос

Час спустя, поздним вечером, двое мужчин и ребенок подошли к дому номер 62 по улочке Пикпюс. Старший из мужчин поднял молоток и постучал.

Это были Фошлеван, Жан Вальжан и Козетта.

Оба старика зашли за Козеттой к торговке фруктами на улицу Зеленая дорога, куда Фошлеван доставил ее накануне. Все эти двадцать четыре часа Козетта провела, дрожа втихомолку от страха и ничего не понимая. Она так боялась, что даже не плакала. Она не ела, не спала. Почтенная фруктовщица задавала ей тысячу вопросов, получая в ответ лишь все тот же угрюмый взгляд. Козетта ничего не выдала из того, что видела и слышала в течение этих двух дней. Она догадывалась, что происходит какой-то перелом в ее жизни. Она всем своим существом ощущала, что надо «быть умницей». Кто не испытал могущества трех слов, произнесенных с определенным выражением на ухо маленькому, напуганному существу: «Не говори ничего!» Страх нем. Впрочем, лучше всех

хранят тайну дети.

Но когда после этих мрачных суток она вновь увидела Жана Вальжана, то испустила такой восторженный крик, что, услышь его человек вдумчивый, он угадал бы в нем счастье спасения из бездны.

Фошлеван жил в монастыре, и ему были известны условные слова. Все двери перед ним открылись.

Так была разрешена двойная и страшная задача: выйти и войти.

Привратник, которому дано было особое распоряжение, отпер маленькую служебную калитку со двора в сад, которую еще двадцать лет тому назад можно было видеть с улицы, в стене, в глубине двора, как раз против входных ворот. Привратник впустил всех троих через эту калитку, и они дошли до той внутренней, отдельной приемной, где накануне Фошлеван выслушал распоряжения настоятельницы.

Настоятельница ожидала их, перебирая четки. Одна из матерей-изборщиц, с опущенным на лицо покрывалом, стояла возле нее. Робкий огонек единственной свечи освещал, вернее, силился осветить приемную.

Настоятельница произвела смотр Жану Валь-

жану. Всего зорче — взгляд из-под опущенных век.

Затем она стала его расспрашивать:

— Вы его брат?

— Да, честна́я мать, — ответил Фошлеван.

— Ваше имя?

Фошлеван ответил:

— Ультим Фошлеван.

У него действительно был когда-то брат Ультим, давно умерший.

— Откуда вы родом?

Фошлеван ответил:

— Из Пикиньи, близ Амьена.

— Сколько вам лет?

Фошлеван ответил:

— Пятьдесят.

— Какова ваша профессия?

Фошлеван ответил:

— Садовник.

— Добрый ли вы христианин?

Фошлеван ответил:

— В нашей семье все добрые христиане.

— Это ваша малютка?

Фошлеван ответил:

— Да, честна́я мать.

— Вы ее отец?

Фошлеван ответил:

— Я ее дедушка.

Мать-изборщица заметила настоятельнице вполголоса:

— Он отвечает разумно.

Жан Вальжан не произнес ни слова.

Настоятельница внимательно оглядела Козетту и тихонько сказала матери-изборщице:

— Она будет дурнушкой.

Обе монахини тихо побеседовали в углу приемной, затем настоятельница обернулась и проговорила:

— Дедушка Фован, вам дадут второй наколенник с бубенчиком. Теперь нужны будут два.

И правда, на следующий день в саду уже раздавался звон двух бубенчиков, и монахини не могли побороть искушения приподнять кончик своего покрывала. В глубине сада, под деревьями, двое мужчин бок о бок копали землю — Фован и кто-то другой. Событие из ряда вон выходящее! Молчание было нарушено до такой степени, что монахини даже стали сообщать друг другу: «Это помощник садовника».

А матери-изборщицы присовокупляли: «Это брат дедушки Фована».

Действительно, Жан Вальжан вступил в

должность согласно всем правилам; у него был кожаный наколенник и бубенчик; отныне он стал лицом официальным. Его звали Ультим Фошлеван.

Решающей причиной согласия принять его на службу явилось соображение настоятельницы относительно Козетты: «Она будет дурнушкой».

Предсказав это, настоятельница тотчас же почувствовала расположение к Козетте и зачислила ее бесплатной монастырской пансионеркой.

Это было вполне последовательно. Пусть в монастырях нет зеркал, но внутреннее чувство подсказывает женщинам, какова их внешность; поэтому девушки, сознающие свою красоту, неохотно постригаются в монахини. Так как степень склонности к монашеству обратно пропорциональна красоте, то больше надежд возлагается на уродов, чем на красавиц. Отсюда и вытекает живой интерес к дурнушкам.

Все это происшествие возвеличило добряка Фошлевана; он имел тройной успех: в глазах Жана Вальжана, которого он приютил и спас; в глазах могильщика Грибье, говорившего себе: «Он избавил меня от штрафа»; в глазах монастырской обители, которая, сохранив благодаря ему гроб матушки Распятие под своим алтарем, обошла

кесаря и воздала «богово богу». Гроб с телом усопшей покоился в монастыре Малый Пикпюс, а пустой гроб — на кладбище Вожирар. Конечно, общественный порядок был серьезно подорван, но никто этого не заметил. Что же касается монастыря, то его благодарность Фошлевану была очень велика. Фошлеван стал считаться лучшим из служителей и исправнейшим из садовников. При ближайшем же посещении монастыря архиепископом настоятельница рассказала обо всем его преосвященству, как будто бы и каясь слегка, но вместе с тем и похваляясь. Архиепископ, покинув монастырь, с одобрением шепнул об этом г-ну де Латилю, духовнику его высочества, впоследствии архиепископу Реймскому и кардиналу. На этом слава Фошлевана не остановилась, она дошла и до самого Рима. Мы собственными глазами видели записку папы Льва XII, адресованную к одному из его родственников, архиепископу, парижскому нунцию, носившему ту же фамилию делла Женга; в ней можно прочесть следующие строки: «Говорят, что в одном из парижских монастырей есть замечательный садовник и святой человек по имени Фован». Но ни единого отзвука этой славы не достигло сторожки Фошлевана; он продолжал прививать, полоть, прикрывать

от холода дынные грядки, не подозревая о своих высоких достоинствах и о своей святости. Он столько же знал о собственной славе, сколько знает о своей дургемский или сюррейский бык, изображение которого красуется в «Illustrated London News»[45], со следующей подписью: «Бык, получивший первый приз на выставке рогатого скота».

[45] Примечания: 45
«Иллюстрированные лондонские новости» *(англ.).*

Глава 9
Жизнь в заточении

Козетта и в монастыре продолжала молчать. Козетта, что было вполне естественно, считала себя дочерью Жана Вальжана. Но ничего не зная, она ничего и не могла рассказать, а если б и знала, все равно никому не сказала бы. Ничто так не приучает детей к молчанию, как несчастье, — мы недавно упомянули об этом. Козетта так много страдала, что боялась всего, даже говорить, даже дышать. Как часто из-за одного только слова на нее обрушивалась страшная лавина! Она понемногу начала приходить в себя лишь с тех пор, как попала к Жану Вальжану. Довольно быстро освоилась она с монастырем. Тосковала только по Катерине, но говорить об этом не осмеливалась. Как-то раз она все же сказала Жану Вальжану: «Если бы я знала, отец, то взяла бы ее с собой».

Сделавшись воспитанницей монастыря, Козетта обязана была носить форму пансионерок. Жану Вальжану удалось упросить, чтобы ему отдали сброшенную ею одежду. Это был тот самый траурный наряд, в который он переодел ее,

когда увел из харчевни Тенардье. Она его еще не совсем износила. Жан Вальжан запер это старое платьице вместе с ее шерстяными чулками и башмачками в маленький чемодан, который умудрился себе раздобыть, пересыпав все камфорой и благовонными веществами, столь распространенными в монастырях. Этот чемодан он поставил на стул возле своей кровати, а ключ от него всегда носил при себе. «Отец, — однажды спросила его Козетта, — что это за ящик, который так хорошо пахнет?»

Дедушка Фошлеван, кроме славы, о которой мы только что говорили и о которой он не подозревал, был вознагражден за свое доброе дело: во-первых, он был счастлив, что оно удалось, а во-вторых, у него намного убавилось работы благодаря помощнику. Наконец, питая сильное пристрастие к табаку, он теперь мог нюхать его втрое чаще и с гораздо большим наслаждением, так как платил за него г-н Мадлен.

Имя Ультим у монахинь не привилось; они называли Жана Вальжана «другой Фован».

Если бы эти святые души обладали хотя бы долей проницательности Жавера, то заметили бы в конце концов, что всякий раз, когда приходилось отправляться за пределы монастыря по каким-

нибудь надобностям, касающимся садоводства, то шел дряхлый, хворый, хромой Фошлеван-старший, а другой — никогда. Но потому ли, что взор, всегда устремленный к богу, не умеет шпионить, потому ли, что монахини предпочтительно были заняты тем, что следили друг за другом, они на это не обращали внимания.

Впрочем, счастье Жана Вальжана, что он оставался в тени, нигде не показываясь. Жавер целый месяц наблюдал за кварталом.

Этот монастырь для Жана Вальжана был словно окруженный безднами остров. Отныне эти четыре стены представляли для него вселенную. Там он мог видеть небо — этого было достаточно для душевного спокойствия, и Козетту — этого было достаточно для счастья.

Для него вновь началась жизнь, полная отрады.

Он жил со стариком Фошлеваном в глубине сада, в сторожке. Этот домишко, построенный из всяких строительных отходов и еще существовавший в 1845 году, состоял, как известно, из трех совершенно пустых, с голыми стенами, комнат. Самую большую Фошлеван отдал, несмотря на упорное, но тщетное сопротивление Жана Вальжана, г-ну Мадлену. Стена этой комнаты, кроме

двух гвоздей, предназначенных для наколенника и корзины, украшена была висевшим над камином роялистским кредитным билетом 1793 года, изображение которого мы здесь приводим.

КАТОЛИЧЕСКАЯ
Именем короля
Равноценно десяти ливрам.
За предметы, поставляемые
армии.
Подлежит оплате по установлении мира.
серия 3
№ 10390
Стоффле
И КОРОЛЕВСКАЯ АРМИЯ

Эта вандейская ассигнация была прибита к стене прежним садовником, умершим в монастыре старым шуаном, которого и заместил Фошлеван.

Жан Вальжан работал в саду ежедневно и был там очень полезен. Когда-то он работал подрезальщиком деревьев и охотно взялся снова за садоводство. Вспомним, что он знал множество разнообразных способов и секретов ухода за растениями. Он воспользовался ими. Почти все

деревья в саду одичали; он привил их, и они вновь стали приносить превосходные плоды.

Козетте разрешено было ежедневно приходить к нему на час. Так как сестры были всегда мрачны, а он приветлив, то ребенок, сравнивая его с ними, обожал его. В определенный час девочка прибегала в сторожку. С ее приходом там воцарялся рай. Жан Вальжан расцветал, чувствуя, что его счастье возрастает от того счастья, которое он дает Козетте. Радость, доставляемая нами другому, пленяет тем, что она не только не бледнеет, как всякий отблеск, но возвращается к нам еще более яркой. В рекреационные часы Жан Вальжан издали смотрел на игры и беготню Козетты и отличал ее смех от смеха других детей.

Ибо Козетта теперь смеялась.

Даже личико Козетты изменилось. Оно утратило мрачное свое выражение. Смех — это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица.

Когда по окончании рекреации Козетта убегала, Жан Вальжан глядел на окна ее класса, а по ночам вставал, чтобы поглядеть на окна ее дортуара.

Пути господни неисповедимы; монастырь, подобно Козетте, помог укрепить и завершить в Жане Вальжане тот переворот, доброе начало

которому положил епископ. Не подлежит сомнению, что одной из своих сторон добродетель соприкасается с гордыней. Их связывает мост, построенный дьяволом. Быть может, Жан Вальжан бессознательно был уже близок именно к этой стороне и к этому мосту, когда провидение забросило его в монастырь Малый Пикпюс. Пока он сравнивал себя только с епископом, он чувствовал себя недостойным и был полон смирения; но с некоторых пор он начал сравнивать себя с прочими людьми, и в нем пробуждалась гордость. Кто знает? Быть может, он незаметно для себя научился бы вновь ненавидеть.

На этой наклонной плоскости его задержал монастырь.

Это было второе место неволи, которое ему пришлось увидеть. В юности, в те времена, которые можно назвать зарею его жизни, и позже, еще совсем недавно, он видел другое место, — отвратительное, ужасное место, суровость которого всегда казалась ему несправедливостью правосудия, беззаконием закона. Ныне после каторги перед ним предстал монастырь, и, размышляя о том, что он жил жизнью каторги, а теперь стал как бы наблюдателем монастырской жизни, он с мучительной тоской мысленно сравнивал их

между собою.

Порой, облокотившись на заступ, он медленно, точно спускаясь по бескрайней винтовой лестнице, погружался в пучину раздумья.

Он вспоминал былых своих товарищей. Как они были несчастны! Поднимаясь с зарей, они трудились до глубокой ночи; им едва оставалось время для сна; они спали на походных кроватях с тюфяками не больше чем в два пальца толщиной, в помещениях, отапливаемых только в самые жестокие морозы; одеты они были в красные, ужасные куртки; из милости им позволяли надевать холщовые панталоны в сильную жару и шерстяные блузы в сильные холода; они пили вино и ели мясо только в те дни, когда отправлялись на особо тяжелые работы. Утратив свои имена, обозначенные лишь номером и как бы превращенные в цифры, они жили, не поднимая глаз, не повышая голоса, обритые, под палкой, заклейменные позором.

Потом мысль его возвращалась к тем существам, которые были перед его глазами.

И эти существа также были острижены, жили также не поднимая глаз, не повышая голоса, и если не позор был их уделом, то людские насмешки, если спина их не была изранена палкой, то плечи

истерзаны бичеванием. Их имена были также утрачены для мира; существовали они лишь под суровым условным прозвищем. Никогда не вкушали они мяса, никогда не пили вина; часто до самого вечера ничего не ели; одеты они были не в красные куртки, а в шерстяной черный саван, слишком тяжелый для лета, слишком легкий для зимы, и не имели права ничего от своей одежды убавить и ничего к ней добавить; не имели даже, в зависимости от времени года, ни холщового одеяния, ни шерстяной верхней одежды в запасе; и шесть месяцев в году они носили грубую шерстяную сорочку, от которой их лихорадило. Они жили не в помещениях, которые все же отапливались в жестокие морозы, а в кельях, где никогда не разводили огня; они спали не на тюфяках толщиной в два пальца, а на соломе. Наконец им даже не оставляли времени для сна; каждую ночь, когда, закончив дневные труды, изнеможенные, они, кое-как согревшись, начинали дремать, им надо было прерывать первый свой сон, чтобы молиться, преклонив колена, на каменном полу холодной темной часовни.

Бывали дни, когда каждое из этих созданий обязано было, поочередно, двенадцать часов подряд стоять коленопреклоненным на каменных

плитах пола или лежать, распростершись ниц на земле, крестом раскинув руки.

Те существа были мужчины; эти — были женщины.

Что сделали мужчины? Они воровали, убивали, нападали из-за угла, насиловали, резали. Это были бандиты, фальшивомонетчики, отравители, поджигатели, убийцы, отцеубийцы. Что сделали эти женщины? Они ничего не сделали.

Там — разбой, мошенничество, воровство, насилие, разврат, человекоубийство, все виды кощунства, все разнообразие преступлений; здесь же — только невинность.

Невинность чистейшая, почти вознесенная в таинственном успении, еще тяготеющая к земле своей добродетелью, но уже тяготеющая к небу своею святостью.

Там — признания в преступлениях, поверяемые друг другу шепотом; здесь — исповедание в грехах, во всеуслышание. И какие преступления! И какие грехи!

Там — миазмы, здесь — благоухание. Там — нравственная чума, которую неусыпно стерегут, которую держат под дулом пушек и которая медленно пожирает зачумленных; здесь — чистое пламя душ, возженное на едином очаге. Там —

мрак, здесь — тень; но тень, полная озарений, и озарения, полные лучезарного света.

Одно и другое — места рабства; но в первом — возможность освобождения, предел, всегда предопределенный законом, наконец, побег. Во втором — рабство пожизненное; единственная надежда — и лишь в самом отдаленном будущем — тот брезжущий луч свободы, который люди называют смертью.

К первому прикованы лишь цепями; ко второму прикованы своей верой.

Что исходит из первого? Неслыханные проклятия, скрежет зубовный, ненависть, отчаявшаяся злоба, яростный вопль против человеческого общества, хула на небеса.

Что исходит из второго? Благословение и любовь.

И вот в этих столь схожих и столь различных местах два вида существ, столь разных, совершали одно и то же дело — искупление.

Жан Вальжан хорошо понимал необходимость искупления для первых, — искупления личного, искупления собственного греха. Но он не мог понять искупления чужих грехов, взятого на себя этими безупречными, непорочными созданиями, и, содрогаясь, спрашивал себя: «Искупление чего?

Какое искупление?»

И голос его совести отвечал: «Самый высокий пример человеческого великодушия — искупление чужих грехов».

Собственное наше мнение по этому поводу мы оставляем про себя, ибо являемся здесь лишь рассказчиком; мы просто становимся на точку зрения Жана Вальжана и передаем его впечатления.

Перед ним была высшая ступень самоотверженности, высочайшая вершина возможной добродетели; невинность, прощающая людям их грехи и несущая за них покаяние; добровольное рабство, приятие мученичества, страдание, о котором взывают души безгрешные, чтобы избавить от него души заблудшие; любовь к человечеству, поглощенная любовью к богу, но в ней не исчезающая и молящая о милосердии; кроткие, слабые существа, испытывающие муки тех, кто несет кару, и улыбающиеся улыбкой тех, кто взыскан милостью.

И тогда Жан Вальжан думал о том, что он осмеливался еще роптать!

Нередко он вставал среди ночи, чтобы внимать благодарственному песнопению этих невинных душ, несущих бремя сурового устава, и холод

пробегал по его жилам, когда он вспоминал, что если те, кто был наказан справедливо, и обращали свой голос к небу, то лишь для богохульства, и что он, несчастный, тоже восставал когда-то против бога.

Его поражало то, что и подъем по стене, и преодоленные ограды, и рискованная затея, сопряженная со смертельной опасностью, и тяжелое, суровое восхождение — все усилия, совершенные им для того, чтобы выйти из первого места искупления, были им повторены, чтобы проникнуть во второе. Не символ ли это судьбы его? Он глубоко размышлял над этим, словно внимая тихому, предупреждающему голосу самого провидения.

Этот дом был тоже тюрьмой и имел мрачное сходство с другим жилищем, откуда он бежал, однако никогда он не мог себе представить ничего подобного.

Он увидел вновь решетки, замки, железные засовы; кого же должны были они стеречь? Ангелов.

Он видел некогда, как эти высокие стены окружали тигров; теперь он видит их опять, но вокруг овечек.

Это было место искупления, а не наказания;

между тем оно было еще суровее, угрюмее, еще беспощаднее, чем то, другое. Эти девственницы были еще безжалостней согнуты жизнью, чем каторжники. Студеный, резкий ветер, — ветер, леденивший когда-то его юность, пронизывал забранный решеткой, запертый на замок ястребиный ров; северный ветер, еще более жестокий и мучительный, дул в клетке голубиц. Почему?

Когда он думал над этим, то все существо его склонялось перед тайной непостижимо высокого.

При подобных размышлениях гордость исчезает. Он со всех сторон разбирал себя и, осознав свое ничтожество, не раз плакал над собой. Все, что вторглось в его жизнь в течение этих шести месяцев, возвращало его к святым увещаниям епископа: Козетта — путем любви, монастырь — путем смирения.

Порой, по вечерам, в сумерки, когда в саду никого не было, его можно было видеть в аллее, что возле часовни, стоящим на коленях под тем окном, в которое он заглянул в ночь своего прибытия, и повернувшимся в ту сторону, где, как он знал, лежала распростертой в искупительной молитве сестра-монахиня. И он молился, коленопреклоненный перед нею.

Казалось, перед богом он не осмеливается преклонить колена.

Все, что окружало его, — этот мирный сад, эти благоухающие цветы, эти дети, эти радостные возгласы, эти серьезные и простые женщины, этот тихий монастырь, — медленно овладевало им, и постепенно в душу его проникли тишина этого монастыря, благоухание этих цветов, мир этого сада, простота этих женщин, радость этих детей. И он думал, что то были два божьих дома, один вслед за другим приютивших его в роковые минуты его жизни: первый — когда все двери были закрыты для него и человеческое общество оттолкнуло его; второй — когда человеческое общество вновь стало преследовать его и вновь открывалась перед ним каторга; не будь первого, он вновь опустился бы до преступления, не будь второго, он вновь опустился бы в бездну страданий.

Вся душа его растворялась в благодарности, и он любил все сильнее и сильнее.

Так протекло много лет; Козетта подрастала.